

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> приятного чтения!

Избранное. Молодая Россия Михаил Осипович Гершензон

Предисловие

Предмет этой книги – эпизод из истории русской общественной мысли, и потому я должен начать с оправдания.

Едва ли найдется еще другой род литературы, который стоял бы у нас на таком низком уровне, как история духовной жизни нашего общества. Можно подумать, что законы научного мышления для нее не писаны. Ни однородность исследуемых явлений, ни строгая определенность понятий, ни единство метода – здесь ничего этого нет и в помине. Все свалено в кучу: поэзия и политика, творческие умы и масса, мысль и чувство, дело и слово, – и из всего этого силится выжать какую-то единую идею, которая должна представлять собой схему развития русской общественной мысли. Таковы в огромном большинстве наши «Истории русской литературы», «Истории русской интеллигенции», «Истории русской общественной мысли», и т. д. Нет спора: человек целен, и духовная эволюция общества может и должна быть сведена к единству; но до такого полного обобщения нам далеко; синтез – венец и конечная цель науки, а первый ее шаг – разделение.

При такой дикой неразборчивости понятия, материала и методов, нет ничего удивительного, что все усилия наших исследователей выяснить основные черты духовного развития русского общества не только остались в целом бесплодными, но и привели к ужасающему искажению картины нашего прошлого, к искажению фактов и перспективы, лиц и фазисов развития. Единственная заслуга этой «школы» заключается в том, что она уяснила нам ход развития русской политической мысли на протяжении XIX века. Заслуга, без сомнения, важная, но какой ценою куплен этот успех! Сколько умственных течений замолчано, сколько забыто высоких помыслов, светлых образов, глубоких исканий! И прежде всего, как подавлено, забито, варварски искалечено художественное чувство нашей читающей публики! И в итоге – все-таки без пользы, потому что даже эта картина развития политической мысли, взятая вне своей глубокой связи с общей историей русского общественного сознания (которая, повторяю, ни теперь, ни еще долго не может быть написана), оставалась как бы висящей в воздухе и воспринималась только умом, но не заражала читателя интуитивно, то есть теряла три четверти своей воспитательной ценности.

Пора сойти с этой широкой дороги, которая никуда не ведет, и поискать тропинок. С разделения мы должны начать и суживать наши задачи. Мы ни до чего не добьемся, пока не отделим историю общественной мысли от истории художественной литературы (то есть поэзии и критики), и в самой истории общественной мысли – историю преемственности творческих мировоззрений от истории массовых настроений. Это – грубейшие черты разделения, но они напрашиваются прежде всего, и именно с них надо начать. Первый принцип не нуждается в пояснениях, – он сам говорит за себя всякому мыслящему уму; искусство развивается в недрах общественной жизни по своим законам и имеет собственную сущность, как ребенок во чреве матери. О втором необходимо сказать несколько слов.

Во всяком общественном движении легко различить два элемента: его идейное или психологическое ядро, и ту форму, которую оно принимает в массе общества, как типичное умонастроение эпохи. Сущность движения всегда воплощается в немногих личностях, соединяющих в себе острую врожденную предрасположенность к очередной идее времени с недюжинной силой духа. Такой человек не всегда стоит во главе движения, не всегда даже сколько-нибудь заметно влияет на него, – да это и безразлично: важно то, что только в нем, в отдельной предрасположенной и одаренной личности зерно движения дает свой полный цвет, только в нем раскрывается вполне смысл очередной исторической задачи. Таким образом, изучить смену общественных идей в их сущности (а именно такую цель ставит себе история общественной мысли) – значит изучить эти идеи в их индивидуальной углубленности, в лице их типичнейших представителей. Соответственное умонастроение массы общества должно рассматриваться при этом только как почва, из которой выросла типическая индивидуальность и соками которой она питается. Сказанным несколько не умаляется важность изучения и массовых умонастроений, они составляют существенный элемент в общей истории народа, наравне с явлениями политического, социального, экономического быта; но они лишены самостоятельного идейного значения.

Нам нужно освободиться от привычки рационализировать понятие общества, как люди

XVIII века рационализировали понятие «человек». Общество, без сомнения, живет единой жизнью, но оно живет ею в людях. Исследуя его жизнь, забудем о нем на время; пусть образ его единства сам собою возникнет у нас из пристального изучения отдельных личностей и пусть красная нить его развития выступает наружу в живой преемственности личных стремлений. Общество – абстракция; общество не ищет, не мыслит, не страдает; страдают и мыслят только отдельные люди, и на известной глубине их сознание течет в одну сторону, по одному руслу: исследуем эту глубину отдельных сознаний, и мы узнаем направление общественной мысли. Этого требуют не только элементарные законы научности, но и та воспитательная задача, которую ставит себе всякое гуманитарное знание. В тяжелой работе духа. Стремящегося постигнуть мир и свое призвание в нем, знакомство с эволюцией человеческой мысли вообще и с умственным развитием родного общества в особенности, – могущественное и драгоценное подспорье. Но что могут дать юноше отвлеченные схемы, эта алгебра миропознания? Его собственные запросы и волнения – совершенно реального свойства, он весь – в чувственном, в конкретно-живом. Если вы хотите помочь ему, говорите ему его языком. Ему не нужен ваш синтез, конечные выводы ума. Приведите его к роднику, к одному, другому и третьему, туда, где из живого личного опыта рождалось кровное, органическое сознание, как оно с таким трудом рождается у него самого, – покажите ему строгую преемственность этого индивидуального нравственного творчества на всем протяжении развития его родного общества, где каждый силился решить только свою личную жизненную задачу, как вот он решает свою, и где, тем не менее, все таинственно влеклись по одному направлению, к одной далекой цели, – и вы действительно научите его: вы не только заразите его моральным пафосом этих личных исканий, но вы уясните ему и ход общего движения, которому невольно служит он сам в своем самочинном развитии. Каждый русский должен знать историю русской общественной мысли, – но это не внешняя обязанность: надо, чтобы он ощутил потребность в этом. Изобразите историю общественной мысли в ее живой конкретности, а не в схоластических схемах, – тогда, будьте уверены, каждый юноша сам, и с жадностью, припадет к ней устами.

Эта мысль положена в основание предлагаемой книги. Не ряд характеристик представляет она собою, а цельную картину известной эпохи в преемственной смене личных переживаний. Вот почему я назвал ее историей.

Я хотел изобразить в ней русское умственное движение 30–40-х годов, по духу близкое одновременному движению на Западе, и имя «Молодой России», которым я назвал эту эпоху по аналогии с «Молодой Италией» и «Молодой Германией», должно указать на эту связь. Тридцатые годы прошлого века – период бурного умственного обновления во всей Европе. Точно свежий ветер ворвался в душную атмосферу, бодростью повеяло в мире, и смелым, молодым дерзновением исполнились умы. Снова, как столько раз прежде, старое общество разрывает оковы традиции и на миг расправляет члены, пока быстро текущая жизнь не опутает его опять. Обновить жизнь – таков общий лозунг эпохи. В разных странах это движение приняло разные формы: в Италии – религиозно-политическую, в Германии – литературно-эстетическую; у нас оно носит нравственно-философский характер и приобретает значение, какого оно и отдаленно не имело на Западе.

Дело в том, что у нас оно явилось первой попыткой сознательно и жизненно решить основные вопросы морально-философского порядка. Молодое русское общество жило до тех пор готовым. В глубине его быта как-то сами собою слагались известные системы чувств и идей, видоизменялись самопроизвольно, и так, исподволь обновляясь, переходили от поколения к поколению, как духовная часть отцовского наследия. Внутренне никто не искал, никто не боролся, никто не болел вопросами миропознания. Даже когда в это традиционное мировоззрение вносилось нечто новое, какой-нибудь продукт западной жизни и западной мысли, его также брали готовым и без борьбы; таков был энциклопедизм на русской почве, таковы были еще наши масоны и мартинисты. Кровных нравственных исканий, трагедии духа, мы не встретим в нашем передовом обществе ни разу на всем протяжении XVIII и первой четверти XIX века. Как облако из морских испарений, так из быта рождалось мировоззрение, в общем одинаковое у всех и никем не выстраданное.

Это традиционное и однородное отношение к миру, к обществу и к собственной личности достигает наибольшей своей полноты и вместе самосознания у людей Александровского времени, в том поколении, к которому принадлежали декабристы. Тип декабриста – это, прежде всего, тип человека внутренне совершенно цельного, с ясным, законченным, определенным психическим складом, – человека, которому внутри себя нечего делать и который поэтому весь обращен наружу. Осознанное

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
мировоззрение настойчиво требовало участия в жизни, и, главным образом, разумеется, в общественной, которая так далеко отстала от него: вот почему эти люди психологически должны были стать политиками. Им лично, каждому в отдельности, эта психическая насыщенность сообщала удивительный нравственный закал, и потому, когда жизнь поставила на пробу их личное мужество, они во тьме рудников засияли, как драгоценные камни. Может быть, ни в чем так ясно не обнаруживается характер эпохи, как в раннем созревании людей того поколения: Пушкин, Чаадаев – в 16 лет зрелые люди; так всегда бывает в периоды господства законченных мировоззрений, когда юноше остается только усвоить готовые приемы и навыки мышления. Станкевич и его товарищи созревают гораздо медленнее.

Весьма вероятно, что и без того потрясения, которое произвела в русском обществе неудача декабрьского мятежа, старое Александровское мировоззрение продержалось бы недолго, но эта катастрофа должна была, разумеется, ускорить его падение. Она явилась как бы плотиною, запрудившей духовную энергию, которая рвалась наружу – перестраивать жизнь. Искусственно оторванная от всякого дела, мысль обращается теперь на самое себя. Громадную важность имел уже тот факт, что как раз лучшие представители старого психического склада – именно декабристы – были изъяты из общественной жизни: ими и в них он защищал бы свою позицию, они импонировали бы своей цельностью и гармонической красотой. Но старое общество было обезглавлено, и новое поколение выступило в жизнь без сильных руководителей и, значит, с большей свободой в выборе пути. И тут, на пороге, его подхватила волна западного движения, этот могучий ураган обновительных идей, нашедших свое высшее воплощение в философских системах Шеллинга и пр. Старое мировоззрение рухнуло – начался великий ледоход русской мысли. Начался период теоретической работы, глубоко неестественный этой своей односторонностью, но чрезвычайно плодотворный по своим результатам.

Изобразить этот ледоход – задача настоящей книги. Новое содержание общественной мысли рождалось в людях, и в людях оно должно быть изучено, во всей реальности, во всей полноте, во всей жизненной сложности личных, интимных переживаний. Моя задача состояла в том, чтобы в живой работе индивидуального сознания подслушать прозябание нового, того, что рождал век, и так как жизнь духа сложнее наших логических формул, то я старался воспроизвести каждую жизнь или каждый эпизод жизни по возможности вполне, не срезая с корней, напротив, и с теми комьями земли, которые пристали к корневым нитям. Особенный характер задачи требовал и соответственного материала, то есть такого, который позволил бы глубже заглянуть в интимную жизнь личности; поэтому большинство очерков основано на материале писем, большею частью неизданных.

Первый очерк – введение. Он должен познакомить читателя с душевным складом людей Александровского времени – декабристов. Так как истинной сферой проявления этих людей была именно жизнь, а не внутренняя работа духа, то мне хотелось перенести на эти страницы уголок жизни, где бы один из них был центральной фигурой, но где, вместе с тем, обрисовался бы целый узел жизненных отношений, так, чтобы стало видно, как чувствовали, как мыслили, как решались эти люди. Таким узлом является в моем очерке семья Раевских, такой центральной фигурой – Орлов. Для цельности и ясности людей Александровской эпохи, для их чуждости всякому внутреннему исканию, Орлов достаточно типичен; еще характернее его душевное состояние во вторую половину жизни, когда, отрезанный от всякого внешнего дела, он не знает, к чему приложить свои богатые силы, томится и медленно гаснет. А вокруг него – какая полнота типической жизни, какие фигуры, одна ярче и выразительнее другой! С одной стороны, старик Раевский, представитель того же насыщенного мировоззрения, но поколением раньше Орлова, когда оно еще само довлекло себе и не стремилось никуда, ни даже обновить жизнь согласно с собою; с другой – Александр Раевский, тоже цельный, тоже не ищущий, плоть от плоти своего времени, но с лицом, искаженным гримасой, разбитое зеркало своей эпохи; наконец, женщина тех дней, Мария Волконская, вся в данном круге идей и отношений, но в нем – сама решимость, подлинная дочь своего отца.

Второй очерк – картина переходной эпохи. В лице Печерина с удивительной ясностью воплотился тот первый фазис движения, когда внутренняя задача еще не заполнила всего внимания, когда новый мир еще только суммарно – и тем лучезарнее, тем опьянительнее – представлялся уму, так называемый период «абстрактного героизма». Печерин любопытен для нас не только тем, что в его лице эта пламенная мечта о «лучшем мире» достигла своего зенита, но и тем, что в нем она поглотила всего человека и пошла переделывать жизнь. В его сверстниках она оставалась мечтой, да и скоро, как, например, в Белинском, угасла совсем.

Остальные очерки изображают самое движение 30–40-х годов с его различных сторон, каждый раз на том примере, где данная сторона процесса выступала в наиболее жизненной своей форме, как трагедия индивидуального духа.

Это движение – колыбель русского идеализма. Значение Станкевича и его сверстников – не только в том, что ими впервые на русской почве были сознательно и при свете европейской науки поставлены основные вопросы бытия и выработаны первые сознательные критерии истины и добра; сущность движения – в самом характере их душевной жизни. Они первые искали свою правду жизненно, не в спокойной работе умозрения, а в трагическом опыте личных падений и побед, и самое знание, до которого они были так жадны, воспринималось ими нравственно, со всей болью и радостью личных переживаний. В этом их главное отличие от предшествовавших им поколений, и отсюда же их новое отношение к действительности. Стоит лишь сравнить Чацкого, Онегина, Печорина с любым идеалистом 30-х годов, чтобы оценить всю важность перемены: там, где первые только холодно и высокомерно презирали окружающую среду за ее пошлость и умственное ничтожество, там Станкевич и Белинский болеют сердцем или страстно ненавидят.

Другая особенность движения заключалась в объеме выставленного им идеала. Люди 30-х годов мечтали не о частичных усовершенствованиях человека и общества, а о полном преобразовании всей жизни. Они выставили идеал жизни радостной и прекрасной, они первые вывели это солнце на горизонт нашей общественности. С тех пор оно незакатно стоит над русской интеллигенцией; от него заимствовала свой свет и тепло и получила свои краски наша художественная литература.

Этими двумя чертами умственное движение 30–40-х годов предопределило дальнейший ход развития русской мысли. Те люди не жили вовне – они только думали и чувствовали. Оранжевое развитие их мысли не могло не отразиться на их конкретных построениях, и русское общество, впитавшее их идеологию в плоть и кровь, еще и теперь не освободилось от ее крайностей и ошибок. Но вся дальнейшая работа сознания, непрерывно продолжающаяся доньше, представляет собою развитие начал, впервые властно сказавшихся в исканиях «Молодой России».

Глава первая

М. Ф. Орлов

I

Когда в 1816 году М. Ф. Орлов окончательно вернулся в Россию, ему было всего 28 лет, но он успел уже сделать блестящую карьеру. Сын младшего брата екатерининских Орловых [2 – Отец Орлова, Федор Григорьевич, был братом Григория и Алексея Орловых, руководителей заговора 28 июня 1762 г., возведшего на престол Екатерину II.], он воспитывался в аристократическом пансионе аббата Николая, юношей вступил в Кавалергардский полк, быстро выдвинулся в Отечественной войне и уже в 1812 году был назначен флигель-адъютантом к государю. Александр полюбил его; ему поручил он в 1814 году заключить капитуляцию Парижа, его же послал затем в Данию для заключения договора о присоединении Норвегии к Швеции, назначил его генерал-майором своей свиты и держал в большой близости к себе [1 – Остаф. архив. Т. I. С. 457–59; Рус. Биограф. Словарь. Т. Об-Оч. 1905. Ст. г. А. Петрова.]. Дорога Орлова вела, казалось, круто вверх. У него было в избытке все, что нужно для успехов в свете: молодость, знатность, богатство, расположение царя, открытый и смелый характер, прекрасная, представительная наружность. Между тем все эти дары фортуны не пошли ему впрок и его дальнейшая жизнь сложилась, в смысле карьеры, вполне неудачно. По приезде в Петербург его звезда очень скоро идет на уклон, – и, надо заметить, это вовсе не было делом случайности, а произошло в силу естественной логики вещей.

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org

Дело в том, что Орлов, подобно большинству будущих декабристов, вернулся из французского похода обуянный самым пламенным патриотизмом и жадой деятельности на пользу родины. Он принадлежал, по-видимому, к числу самых нетерпеливых. Н. И. Тургенев, сблизившийся с ним за границей, характеризует его так: «Подобно всем людям с живой и пылкой душой, но без устойчивых идей, основанных на прочных знаниях, он увлекался всем, что поражало его воображение». Как раз сближение с Тургеневым в 1815 году в Нанси дало сильный толчок его либеральным стремлениям. У нас есть только очень смутные сведения об адресе к царю, который составил Орлов по своем возвращении в Россию[2 – Записки С. Г. Волконского. 1 изд. С. 407.]. Это была петиция об уничтожении крепостного права; кроме самого Орлова, ее подписали многие высшие сановники, в том числе Васильчиков, Воронцов и Блудов. Дальнейшая судьба этого адреса неизвестна, но для Орлова он, по-видимому, не имел никаких неприятных последствий: отношение к нему царя осталось дружественным по-прежнему. Более точные данные имеются о другой либеральной попытке Орлова, относящейся к 1817 году. Весною этого года, то есть через несколько месяцев по возвращении в Петербург[3 – Зиму и весну 1815–1816 гг. Орлов по болезни провел в Париже, лето – на водах в Барее и в Петербург вернулся в ноябре 1816 г.], он был выбран в члены беспечного и веселого литературного общества «Арзамас». По заведенному обычаю всякий новоизбранный должен был произнести надгробное слово одному из членов, конечно, живому. Вместо этого Орлов выступил с серьезной речью[3 – «Арзамасская» речь Орлова была произнесена 22 апреля 1817 г.], в которой указывал, что недостойно мыслящих людей заниматься пустяками и литературными препирательствами, когда кругом так много нужного дела, и умолял своих сочленов дать деятельности общества иное, более патриотическое направление. Он предлагал с этой целью две меры: во-первых, завести журнал, «коего статьи новостью и смелостью идей пробудили бы внимание читающей России», во-вторых, предоставить каждому из живущих не в столице членов учредить в месте его пребывания филиальное общество под руководством главного, и таким образом покрыть всю Россию сетью отделений[4 – Н. Тургенев. *La Russie et les Russes*. I. С. 172–73; Вигель. Нов. изд. Ч. V. С. 51–52.]. Этот широкий план не встретил достаточного сочувствия среди членов и остался втуне, но мысль о журнале получила ход и не была осуществлена только потому, что правительство отказало в разрешении. До нас дошла программа этого предполагаемого журнала. Первое место в нем должен был занимать политический отдел, который брали на себя Орлов, Н. Тургенев и Д. Северин; целью его ставилось «распространение идей свободы, приличных России в ее теперешнем положении, согласных со степенью ее образования, не разрушающих настоящего, но могущих приготовить лучшее будущее»[5 – Бумаги Жуковского, – см. Отчет Императ. Публ. Библиотеки за 1887 г. Приложение. С. 82.]. Как известно, все первые попытки совместной деятельности у будущих декабристов носили именно такой – просветительно-реформаторский, а не революционный характер.

Потерпев неудачу в «Арзамасе», Орлов решил действовать самостоятельно. Способ действия напрашивался сам собою, в соответствии с духом времени и примером Западной Европы. Позднее, на допросе 1826 года, Орлов показывал, что образцом ему служил Тугендбунд[4 – Тугендбунд (Союз Добродетели) – патриотическое общество в Пруссии. Деятельность Тугендбунда оказала определенное влияние на становление декабристских организаций.]: по примеру последнего он задумал образовать тайное общество, «составленное из самых честных людей, для сопротивления лихоимству и другим беспорядкам, кои слишком часто обличаются во внутреннем управлении России»[6 – «Записка о тайном обществе», представленная Орловым следственной комиссии 1826 г. Довнар-Запольский. Мемуары декабристов. 1906. С. 3 и 25.]. Следуя увлечению, овладевшему тогда передовым слоем русского общества, он хотел придать предполагаемому кружку полумасонский характер и с этой целью привлек к своему замыслу графа Дмитриева-Мамонова, сильно интересовавшегося русским масонством. К ним примкнуло еще несколько лиц, в том числе Н. И. Тургенев; союз должен был называться Обществом Русских рыцарей, и Орлов собирался представить его устав на утверждение царя. Известно, что завязавшиеся были переговоры между Орловым и Александром Муравьевым о слиянии этого общества с возникшим незадолго Союзом Спасения не привели ни к чему, да самое Общество Русских рыцарей в конце концов не состоялось[7 – Русская Старина. 1904, март. С. 491; апрель. С. 26. Тургенев, I. С. 222–224. Доклад следств. ком. по делу 14 дек.][5 – в настоящее время приведенные Гершензоном сведения могут быть уточнены. Орден Русских рыцарей (так правильнее!) был основан Орловым и М. Дмитриевым-Мамоновым в 1814 г. (а не в конце 1817 г., как полагал Гершензон). С этим тайным обществом, имевшим целью установление в России олигархически-аристократического конституционного правления, было связано около десятка человек (среди них – Н. Тургенев, М. Н. Новиков и, видимо,

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
Д. В. Давыдов). Хотя Орден и не заявил о принадлежит достаточно заметная роль в формировании декабристской идеологии.]

Все эти патриотические затеи Орлова, следовавшие одна за другой на кратком пространстве меньше чем в год (с конца 1816 по конец 1817 г.), свидетельствовали о таком кипучем усердии к общему благу, которое, при личной близости Орлова к императору, недолго могло оставаться безнаказанным. И действительно, скоро Орлов нарвался на крупную неприятность.

Подобно большинству позднейших декабристов, он соединял с просвещенным либерализмом горячее чувство национального достоинства, доходившее подчас до того, что Н. И. Тургенев, европеец до мозга костей, метко назвал патриотизмом рабов. Это чувство, заставлявшее Орлова сердиться на Карамзина [6 – Недовольство тем, что в «Истории...» Карамзина он не нашел «памятника славы нашей и благородного происхождения», Орлов высказал в письмах П. А. Вяземскому от 4 мая и 4 июля 1818 г.] за то, что он в начале своей «Истории» не поместил какой-нибудь гипотезы о происхождении славян, «лестной родословному чванству народа русского» [8 – Остаф. архив. I. С. 347 и 653.], было в 1817 году тяжело оскорблено дарованием конституции Польше и слухами о намерении Александра отделить от России Литву. Этот самый слух едва не довел Якушкина до цареубийства, а Орлов составил записку к государю, направленную против эмансипации Польши, и начал собирать подписи в кругу генералов и сановников. Император, узнав заблаговременно об этом предприятии, призвал Орлова и потребовал составленную им записку; Орлов, конечно, не желая выдавать тех, кто подписался под нею, отказался представить ее, заявив, по-видимому, что она у него пропала [9 – Русская Старина. 1904, март. С. 491–92; Тургенев, I. С. 86; Якушкин. С. 45. «Записка» Орлова, у Довнар-Запольского. Цит. соч. С. 3.]. Это было последнее свидание царя с его бывшим любимцем. Вскоре затем Орлов был удален в Киев на должность начальника штаба при 4-м корпусе [7 – Это назначение последовало 13 июля 1817 г.], которым командовал тогда Н. Н. Раевский. В Киеве он прожил с лишним два года, и следующий его служебный этап – назначение в Кишинев начальником дивизии в 1820 году – был новой почетной ссылкой, наполовину, впрочем, добровольной.

II

Его письма за киевский период представляют драгоценный материал для характеристики настроения и образа мыслей его сверстников об эту пору. Что представлял собою будущий декабрист около 1819 года, то есть в разгар деятельности Союза Благоденствия, об этом приходится судить вообще только по показаниям декабристов на следствии 1826 г., да по их воспоминаниям, записанным еще десятки лет позднее. И тот, и другой род свидетельств, конечно, не дают верной картины; в них надо учитывать забывчивость, сознательный и иногда тенденциозный подбор черт, наконец, неверное освещение в зависимости от иной, новой точки зрения на вещи. Здесь же пред нами современные и заведомо-непосредственные показания, субъективность которых только повышает их цену. «Живу спокойно, – пишет Орлов из Киева сестре (по мужу Безобразовой) [10 – Это, как и все дальнейшие письма, цитируемые в настоящей статье без указания источника, печатаются здесь впервые, с рукописных подлинников, и – где не оговорено противное – в переводе с франц. языка.], – а чтобы быть счастливым, ты знаешь, мне уже давно не нужно ничего другого, как не быть несчастным. Эта философия отнюдь не должна удивлять тебя во мне. Я вижу славу вдали, и, может быть, когда-нибудь я добуду немного ее. Жить с пользой для своего отечества и умереть оплакиваемый друзьями – вот что достойно истинного гражданина, и если мне суждена такая доля, я горячо благодарю за нее Провидение». – Тут все типично: и этот стоицизм при едва сдерживаемом избытке сил, и готовность принести себя в жертву общему благу, и мечты о славе, явно навеянные республиканскими героями Плутарха, и, может быть, более всего – потребность излияния всех этих чувств в человеке, уже давно вышедшем из юности (Орлову было в это время лет 30), в генерал-майоре и начальнике штаба. Еще характернее следующее его письмо к самому Безобразову, мужу сестры, от 26 марта 1819 г. Речь идет о борьбе, которую приходится вести Безобразову на его служебном посту в Тамбове. «Верю, – пишет ему Орлов по-русски, – верю, сколь трудно тебе бороться с устроенным неустройством нашего внутреннего правления, и что система злодеев,

соединенных тесно для избежания несчастья, сильнее, нежели порывы одного от всех оставленного гражданина... рано или поздно честность, ум и добродетель должны взять верх, и сие время, может быть, не так отдаленно, может быть, на закате наших дней увидим мы, любезный друг, сие дивное преобразование отечества нашего и ступим в гроб утешенной ногой (sic). Я о сем только и думаю и посреди разлития всех пороков вижу с упованием добродетельную молодежь, возрастающую с новыми правилами и без старых предрассудков».

«Я ленив немножко писать, – продолжает он, – да и к тому же редко пишу и по осторожности. Чем более близки ко мне и к сердцу моему те, с коими беседую, тем более льются мои мысли, и тем откровеннее я пишу. Сие стремление откровенности пред нынешним осторожным веком не есть добродетель. Она часто губит, да и сам я уже несколько раз страдал от себя. Мне друзья говорят: «Неужели ничто тебя не исправит?» Я им отвечаю: «Да где ж порок? докажите, что дурно, – я исправлюсь». Я думаю, что я прав. Может быть, я останусь долго, может быть, и всегда в моем ничтожестве, но, по крайней мере, ежели какой-нибудь благоприятный ветер поведет меня выше, то принесу в дар отечеству беспорочную жизнь и характер, чуждый всем подлостям нынешнего века». В конце письма он обращается к сестре. «Благодарю тебя, любезная сестра, за присланную попону. Я ею покрою любимого коня, а ежели бы открылось какое-нибудь средство стать грудью за Россию, то в минуты отдохновения под чистым сводом небес сам лягу на нее и буду вспоминать о любезной сестре. Пиши ко мне и поцелуй всех детей. Дай Бог вам счастья и покоя, а мне жизни бурливой за родную страну».

Воинственные нотки, звучащие в этих письмах, вовсе не были простой данью романтизму. Мы увидим сейчас, что все эти приготовления «стать грудью за Россию», это ожидание «благоприятного ветра» имели для самого Орлова совершенно реальный смысл: он вполне сознательно ставил свое будущее в зависимость от неминуемого и близкого общего переворота. За два года он успел далеко передвинуться влево; теперь его занимал уже не вопрос об искоренении, с одобрения верховной власти, лихоимства и прочих зол, а вопрос о коренном зле русской жизни – о бесконтрольности и произволе этой самой власти, и по свойственной ему пылкости он считал эту задачу разрешимой сейчас же, без всякой подготовки. В том же 1819 году Денис Давыдов, тогда начальник штаба по соседству, в Кременчуге, писал другому приятелю Орлова, знаменитому впоследствии П. Д. Киселеву: «Мне жалок Орлов с его заблуждением, вредным ему и бесполезным обществу; я ему говорю и говорю, что он болтовнею своею воздвигает только преграды в службе своей, которою он мог бы быть истинно полезным отечеству. Как он ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не стряхнуть абсолютизма в России». Еще рельефнее письмо Киселева к самому Орлову того же времени: «Все твои суждения, в теории прекраснейшие, на практике неисполнимы. Многие говорили и говорят в твоём смысле; но какая произошла от того кому польза? Во Франции распри заключились тиранством Наполеона... Везде идеологи – вводители нового в цели своей не успели, а лишь дали предлог к большему и новому самовластию правительств... Ты знаешь и уверен сколько много я тебя уважаю; но мысли твои неправильны и, конечно, с сердцем твоим не сходны. Неудовольствия, грусть, сношения с красноречивыми бунтовщиками и, сознаюсь, несправедливое бездействие, в котором ты оставлен, – вот тому причины. Скинь с себя тебе неприличное. Не словами, но делом будь полезен; оставь шайку крикунов и устреми отличные качества свои на пользу настоящую. Преобразователем всего не каждому быть можно; но я повторяю: каждому определено, каждому предназначено увеличивать блаженство общества, а ты, Орлов, от доброго отшельца быть не должен. В суждениях моих могу ошибаться, но цель моя благонамеренная, и потому одинакая с твоею. Разница в том, что ты даешь волю воображению твоему, а я ускромняю свое; ты ищешь средств к улучшению участи всех – и не успеешь, я же – нескольких только, – и успеть могу. Ты полагаешь, что исторгнуть должно корень зла, а я – хоть срезать дурные ветви. Ты определяешь себя к великому, а я – к положительному» [11 – Русская Старина. 1887, июль. С. 228 и сл.].

Тут было, конечно, очень много честолюбия, понятного при таком избытке сил; но оно безусловно подчинялось идее, то есть направлялось исключительно на цели общего блага, с презрением отвергая обычную мишуру чинов и почестей. Когда весной 1819 г. открылась вакансия начальника штаба гвардии, и друзья Орлова в Петербурге захотели выставить его кандидатуру на эту видную должность, он решительно отверг их предложение. «Что мне делать в Петербурге? – писал он по этому поводу А. Раевскому. – Как я возьму на себя должность, которую оставить можно только вследствие опалы, занимать – только по милости? Вы меня знаете: похож ли я на царедворца и достаточно ли гибка моя спина для раболепных

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
поклонов? Едва я займу это место, у меня будет столько же врагов, сколько начальников. Нет, милый друг, я охотно уступаю моим соискателям все почести, спасая свою честь. Да и то сказать: есть ли тут повышение? Ведь и место начальника штаба я взял не так, как делается столяром или каретником. Это не ремесло, и мне вовсе не хочется на всю жизнь замкнуться в узкий круг забот об изготовлении планов, задуманных другими или мною для других, смотря по характеру моих начальников. Конечно, лучше быть начальником главного штаба, чем начальником бригады, но еще лучше командовать дивизией. Поэтому я оставляю свое нынешнее место разве только для того, чтобы принять командование, а не для того, чтобы повиноваться другому, потому что из всех известных мне начальником я предпочитаю того, кому сейчас подчинен. Но оставим этот разговор о предмете, который меня вовсе не занимает. Желаю всякого благополучия старому и новому начальникам штаба гвардии, но предпочитаю мое ничтожество их величию...

«Я дал несколько лицам то же поручение, что вам, именно – узнать, начинают ли забывать меня. Вы один меня поняли и отвечали мне в смысле моего вопроса. Что вы пишете о моем положении при дворе, это я знал заранее и нисколько этому не удивляюсь. У меня хватает самолюбия верить, что я останусь ненужным до тех пор, пока направление внутренней политики не заставит призвать к делам людей благомыслящих и умеющих видеть дальше своего носа. Верьте мне: все, кто сейчас действуют, истощаются в бесплодных усилиях. Еще не настало время, когда старания будут вознаграждаться обильными последствиями. Пусть иные возвышаются путем интриг: в конце концов они падут при всеобщем крушении, и потому они уже не поднимутся, потому что тогда будут нужны чистые люди. Я понимаю, что мои слова несколько загадочны, но их смысл мне вполне ясен, и, может быть, когда-нибудь и вы признаете правильной мою точку зрения и всю мою систему. Может быть также, я не увижу даже зари того прекрасного дня, о котором мечтаю, но от того моя система не станет менее верной для тех, кто переживет меня.

«Так думают только немногие – и в этом-то наше несчастье. Найдись у нас десять человек истинно благомыслящих и вместе даровитых, все приняло бы другой вид. Что до меня, то я чувствую довольно силы в самом себе, чтобы служить не для карьеры, а из гражданского долга. Ведь чего я в сущности хочу? несколько более широкой сферы деятельности, потому что я чувствую в себе больше способностей, чем могу применить в моей обстановке. Что ж! я буду ждать, буду ждать, если нужно, и десять лет. Это будет мне только впрок, так как энтузиазма, основанного на любви к принципам, я не утрачу, и приобрету рассудительность, являющуюся всегда плодом опыта. Итак, больше не говорите со мною тем языком, каким написано ваше последнее письмо. Улыбка фортуны не значит для меня ничего, событие – все». В заключение – у него просьба к Раевскому: «Вы так хорошо выведали, что я значу при дворе; теперь узнайте, как относится ко мне общественное мнение. Лычу себя мыслью, что на этот раз ваши сведения окажутся более утешительными. Или, может быть, я ошибаюсь?».

III

Однако в ожидании «события» не приходилось сидеть сложа руки, и Орлов с первых же дней своего пребывания в Киеве деятельно принимается за общественную работу. Будучи по роду своей должности отрезан от непосредственного общения с солдатами, он не мог применять свои гуманные убеждения в пределах самой службы, как позднее в Кишиневе, и его усилия естественно направились, главным образом, на дело просвещения.

Уже в марте 1818 года он обращается к комитету «Общества начального образования в Париже» (*Societe d'instruction elementaire*) с любопытным письмом, текст которого дошел до нас [12 – Отчет Императорской Публ. Библиотеки за 1896 г. С. 192–95.]; оказывается, что 22 февраля 1816 г. он был выбран членом этого общества, цель которого заключалась в устройстве школ по способу взаимного обучения. Он пишет, что будучи назначен начальником штаба в Киеве, он застал здесь ланкастерскую школу на 40 кантонистов, учрежденную ген. Раевским. Теперь, приняв это дело в свои руки, он довел контингент учащихся до 600 человек. Обращаясь к комитету французского общества, он просит считать его и впредь членом последнего и не отказать ему в поддержке; он хотел бы завязать правильные сношения с комитетом, и на первый раз просит выслать ему все отчеты общества и

Орлов оказался пионером этого дела в России. Ланкастерская метода только тогда начинала прививаться у нас, – самое «общество учреждения училищ по способу взаимного обучения» было основано только в 1819 г., и киевская школа, созданная усилиями и личными затратами Орлова, послужила образцом для всех военно-сиротских училищ. В 1819 г. число учеников дошло в ней до 800 чел., и учебная программа, в отличие от других аналогичных школ, не ограничивалась уже чтением, письмом и счетом, а обнимала и грамматику, катехизис и священную историю. На посещавших ее школа производила самое выгодное впечатление. Анонимный корреспондент «Русского Инвалида» писал в № 85 за 1819 г., что стараниями генералов Раевского и Орлова это заведение приведено в такую степень совершенства, «что видеть его и не восхищаться оным были бы две совершенно несовместные идеи». Еще восторженнее отзывается о школе Орлова известный И.Р. Мартос, посетивший ее в 1820 г. Он нашел в ней уже 1800 учащихся, распределенных на 8 классов; по его свидетельству, сюда присылались для обучения кантонисты из многих других мест, и обученными здесь учителями уже были открыты такие же школы в Москве, Могилеве и Херсоне, так что эта школа, говорит Мартос, является, так сказать, «маткою взаимного обучения в России»[13 – Киевская Старина. 1897, июль – авг. С. 65 и сл. Записка Мартоса о школе Орлова любопытна и как показатель тех великих надежд, какие возлагало тогда наше общество на ланкастерскую систему в смысле быстрого просвещения масс. Он пишет: «Смотря на сей превосходнейший способ, в наш век юношеству доставленный, переходить скорыми шагами из тьмы во свет, открывающий великолепные виды к дальнейшему просвещению, нельзя не сказать: вот наступили последние времена невежества, которое стремглав падет в бездну, как Люцифер, со всеми темными легионами своими; а божественный Свет ума, коего все желают с несытостью, взыдет на верх круга народных смыслов и будет озарять всех и вся так удобно и легко, как озаряет вселенную свет солнца».]

Сохранился «рапорт» Орлова Закревскому от 10 октября 1817 года, не оставляющий ничего желать в смысле картинности изображения киевской школы. Привожу его целиком.

«Чсть имею донести вашему превосходительству о опыте, сделанном для образования воспитанников по ланкастеровой методе.

Взято было сорок воспитанников, не умевших ни читать, ни писать. Они разделены были на пять отделений, каждое из 8-ми человек, и размещены за пятью столами под надзором одного старшего, более знающего ученика, имеющего по сему случаю звание смотрителя.

Сии столики сделаны были в виде не весьма покатыстых пульпетов с возвышенными краями. Во внутренности насыпан песок, по которому ученики пишут пальцем литеры до тех пор, пока совершенно выучатся. У правого бока каждого столика поставлена линейка с гвоздем наверху. Впереди в малом расстоянии от первого стола поставлена черная доска с гвоздем наверху.

Смотритель классов имеет при себе литеры в большом виде, написанные просто на бумаге. Помощники его, стоящие каждый у линейки, числом пять, имеют каждый такие же литеры.

Глубочайшая тишина наблюдаема в классе. Смотритель по известному знаку вывешивает литеру. Помощники повторяют и также вывешивают каждый ту же букву у своей линейки, все воспитанники пишут оную на песке, после чего каждый помощник идет перед своим столом и поправляет написанную литеру. Тут делается по знаку помощника на каждом столе перемещение с места на место, то есть те, которые лучше писали, берут и высшее место.

Чтение букв таким же образом преподается, равномерно учение двойным и тройным складам. Сей класс называется первым или низшим классом.

Успех совершенно оправдал принятые труды для сего опыта. По прошествии четырех недель из числа 40 воспитанников 24 выучили весьма твердо читать всю азбуку не только тогда, когда покажут им какую-нибудь литеру, но знают ее на память и могут довольно хорошо написать пальцем и палочкою на песке всякую литеру без вывески оной. Они также научились складывать и выговаривать почти все односложные склады. Остальные 16 человек переходя с одного номера на другой, остались на двух последних столах. Половина их знает довольно твердо азбуку

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
читать и читать по вывешенным литерам, а другая еще знает слабо.

Второй класс или высший учрежден из 16 воспитанников, умеющих уже разбирать слова, но не знавших еще писать. К ним определено два частных и один главный смотритель из воспитанников же.

В сем классе на место пюльпетов восьмерных, как в первом, следует построить для каждого ученика особенный пюльпет со скамейкой. Расстоянием между каждым пюльпетом определяется место, достаточное, дабы воспитанник, который за пюльпетом сидит, мог бы по знаку идти вперед к черной доске, где вывешена пропись.

Смотритель класса дает сигнал и называет номер отделения. Помощник его по означенному отделению повторяет сигнал, все ученики того отделения встают с места, имея на шее повешенные аспидные дощечки, и идут в ногу до доски, становятся в полукружие и читают повешенную пропись, таким образом, что учитель называет только номера учеников того отделения, а сии подхватывают сказанное их товарищем слово или склад, дабы повсечасно примечательность учеников была бы напряжена на предлагаемый им предмет к чтению. Окончив таким образом чтение, отделение в таком же порядке возвращается на свои места и ученики севши приготавливаются списывать на аспидных досках ту же самую пропись, которая повешена была на доске и которую помощник смотрителя вывешивает на линейке во вверенном ему отделении. Другие отделения класса таким же образом подходят к доске и возвращаются на свои места.

Опыт доказал, что оные 16 учеников, еще не умеющих совсем писать и едва ли могущих разбирать склады, в течение четырех недель выучились хорошо и правильно складывать, читать и писать задаваемые прописи и даже изрядно читают книги гражданской печати, чему они вовсе не обучались.

Столь сильно влияние порядка и примечательности над умом молодых детей, еще не испорченных нескладным и вздорным учением».

В связи с ланкастерской методой стоит и деятельность Орлова в киевском отделении Библейского общества. В августе 1819 года, будучи избран вице-президентом отделения, он произнес в торжественном собрании общества обширную, тщательно составленную речь [8 – Речь Орлова, произнесенная 11 августа 1819 г., – попытка в духе Союза Благоденствия использовать легальное общество для пропаганды передовых идей.], которая по содержанию сделала бы честь и любому общественному деятелю нашего времени. Поблагодарив за избрание и с горячим сочувствием очертив просветительные заслуги Библейского общества, он выступил с предложением, которое открывало обществу совершенно новое поле деятельности: он предлагал устроить в Киеве бесплатную приходскую школу всеобщего обучения для сирот и детей бедных родителей, числом до 300 человек и содействовать возникновению таких же школ в других городах. Вся речь дышала искренним энтузиазмом к делу просвещения масс и смелым либерализмом. Говоря о противниках, которых, вероятно, встретит его предложение, Орлов мастерски изобразил нравственный облик обскуранта. Эти люди, говорил он, везде и всегда одинаковы. Любители не добродетелей, а только обычаев отцов наших, хулители всего нового, враги света и стражи тьмы, они – настоящие исчадия средневекового варварства. Во Франции они гонят свободомыслие и противятся введению представительного строя; в Германии они защищают остатки феодальных прав; в Испании они раздувают костры инквизиции; в Италии восстают против распространения св. писания; наконец, наша история полна их усилий против возрождения России. Они были личными врагами нашего великого преобразователя и бунтовали против него московских стрельцов; при Елизавете они порицали уничтожение смертной казни, при Екатерине хулили ее Наказ, и еще теперь, когда лучи просвещения начинают озарять наше отечество, они употребляют все старания, чтобы вернуть его к прежнему невежеству и оградить от вторжения наук и искусств. Эти политические староверы убеждены, что они – избранники, которым все остальные люди обречены в рабство самим Промыслом, и в этой уверенности они присваивают себе все дары небесные и земные, всякое превосходство, а народу предоставляют одни труды и терпение; отсюда родились все тиранические системы правления, начало которых следует искать не столько в честолюбии самих властелинов, сколько в изобретательности льстящих им и друзей невежества [14 – Речь Орлова напечатана в Сборнике Имп. Русск. Ист. Общества. Т. 78. 1891 г. С. 519–528.].

Для того времени речь Орлова была незаурядным явлением, и она имела большой

успех. Якушкин и И. И. Дмитриев рассказывают, что она распространилась во множестве списков. Вяземский был в восторге: «Ну, батюшка, оратор! – писал он А. И. Тургеневу. – Он и тебя за пояс заткнул: не прогневайся! Вот и пусти козла в огород! Да здравствует Арзамас! Я в восхищении от этой речи... Орлов недюжинного покроя. Наше правительство не выбирать, а удалять умеет с мастерской прозорливостью». Тургеневу речь показалась уж слишком смелой; отдавая должное пылкому патриотизму Орлова, он решительно осуждал его легкомысленный радикализм. «Лучшее в М. Орлове есть страсть его к благу отечества. Она сберегает в нем душу его, благородную и возвышенную. Но недостаток в учебном образовании везде заметен: вот школа аббата Николая! Ум и сердце в нем свои, а ученье, то есть недостатки в оном, принадлежат образу воспитания... Я отдаю справедливость его чувству, которое изливается из прекрасной души. Везде ищет он пользы отечества, везде мечтает о возможном благе его. Я бы держал его близ государя, но держал бы на привязи, ибо в нем нет ничего обдуманного, а опыт доказал уже нам, какой успех от незрелых планов, от желания обратиться в действие все, что сверкнет в голове, не озаренной светильником государственных познаний и наблюдений... Нет, пусть служит Орлов некоторое время внутри России, пусть узнает ее лучше нас – и тогда, если сохранит жар к добру, пусть придет сюда согреть оледенелые члены членов Государственного Совета et сопр.». Однако Вяземский упорно продолжал защищать речь Орлова, – и даже в литературном отношении, заявляя, что от пера, очиненного шпагою, большего требовать нельзя [15 – Остаф. архив. I. с. 299, 306, 297, 346.]

Если уже и до того Орлов представлял собою очень заметную величину в кругу либерально-настроенной молодежи, то эта речь, ходившая по рукам и в Москве, и в Петербурге, должна была еще увеличить его популярность. Около этого же времени немало толков вызвали два его письма к Д. Бутурлину [9 – Эти письма (ныне полностью опубликованные) датируются соответственно 2 ноября 1819 и 20 декабря 1820 г. Они широко разошлись в списках и имели большой общественный резонанс.] по поводу выхода в свет книги последнего о русских военных походах в XVIII столетии. Эти письма замечательны горячим протестом против крепостного права [16 – Письма Орлова к Бутурлину не напечатаны; за сообщение их приношу благодарность П. Е. Щеголеву.]. Так, осуждая общий дух славословия, проникающий все «Вступление» Бутурлина, он говорит: «Друг мой! Нет никого на свете, кто бы более меня привязан был чувством к славе Отечества! Но не время теперь самим себя превозносить. Ты видишь все с высокой точки умозрения – с поля сражения. Войди в хижину бедного Россиянина, истощенного от рабства и несчастья, и извлеки оттуда, если можешь, предвозвещение будущего нашего величия!» Та же мысль повторяется и во втором письме: «Россия подобна исполину ужасной силы и величины, изнемогающему от тяжелой внутренней болезни». Любопытны следующие строки, характеризующие политические взгляды Орлова: «Все твоё рассуждение (о датчанах) основано на ложном правиле. Датчане, вручив самовластие одному человеку, не исполнили сего, чтобы спасти независимость их от внешних врагов; но единственно, чтобы избавиться от самовластия многих. Они вольным переходом передались из рук нескольких олигархов в руки одного деспота. Я тут ничего великого не вижу, кроме великого непонятия о достоинстве народа вообще и о достоинстве человека в частном отношении. Хотя, говоря о сем предмете, ты старался зацепить все нежнейшие струны моего сердца, но правила моей жизни, которые заключаются в истинной и непреклонной ненависти к тиранству, не позволили мне вдаться в расставленные тобою сети. Я остался непоколебимым в своем мнении, и если б был датчанином, то проклинал бы то мгновение, в которое предки мои подвергли меня игу деспотизма, так точно, как Россиянин должен проклинать этот несчастный закон, который осудил на рабство большую часть наших сограждан».

Все эти речи и письма, и самая деятельность Орлова в Киеве доставили ему почетную известность. Мы увидим дальше, какое видное место он сразу занял в Союзе Благоденствия. Но уже в начале 1819 г., когда в «Вестнике Европы» появилась без подписи первая статья Каченовского, направленная против «Истории» Карамзина («Письма от Киевского жителя к другу»), ее не задумались в Москве приписать Орлову [17 – Остаф. архив. I. с. 192.]. Якушкин, познакомившийся с ним только в 1820 г., уже раньше много слышал о нем от своих друзей, как о человеке «высшего разряда», а Волконский называет его «светилом среди молодежи». В самом Киеве он быстро сосредоточил вокруг себя все, что было наиболее образованного и передового как в русском, так и в польском местном обществе. В его доме стал собираться замечательный кружок людей, которых объединяли увлечение европейской образованностью и свободными формами политического быта и страстные мечты об обновлении России. В эту атмосферу весной 1819 г. попал Волконский, приехавший на контракты в Киев и остановившийся по старой приязни у Орлова. Несколько

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org

недель, проведенных им здесь, по его словам, определили его дальнейшую участь: ежедневные общения с Орловым и его кружком, говорит он, «оказали сильное влияние на меня, развили во мне чувства гражданина, и я вступил в новую колею убеждений и действий. С этого времени началась для меня новая жизнь». Действуя в Киеве, Орлов вместе с тем, конечно не порывал связей и со столичными друзьями, вел переписку с Вяземским, Раевским, обоими Тургеневыми и др., и Н. И. Тургенев в середине 1819 года посылал ему на просмотр проспект задуманного им политического журнала[18 – Остаф. архив. I. С. 260.]

И все-таки он чувствовал себя неудовлетворенным, томился и рвался вон из этой обстановки; душа жаждала подвигов, – не этой медленной работы на общее благо, а именно «бурной жизни за родную страну». Надуманный стоицизм тут мало помогал. «Золотые дни моей молодости уходят, – пишет он А. Раевскому в том же 1819 году, – и я с сожалением вижу, как пыл моей души часто истощается в напрасных усилиях. Однако не заключайте отсюда, что мужество покидает меня. Одно событие – и все изменится вокруг меня. Дунет ветер, и ладья вновь поплывет. Кому из нас ведомо, что может случиться? на все готовый, я понесу в уединение или на арену деятельности чистый характер, – преимущество, которым немногие могут гордиться в нынешний век».

IV

Командиром 4-го корпуса, то есть ближайшим начальником Орлова в Киеве, был, как уже сказано, старик Раевский. Орлов был свой человек в его семье, и эта близость привела скоро к женитьбе молодого генерала на старшей дочери Раевского, Екатерине Николаевне. Со старшим сыном Раевского, Александром, служившим эти годы в Петербурге, Орлов был дружен еще по боевому товариществу и совместной жизни во Франции: мы видели выше, что между ними шла переписка уже в 1819 году. С другой стороны, Пушкина Орлов знал еще по Петербургу, а с младшим из Раевских, Николаем, Пушкин был уже до своей ссылки на юг в самых дружеских отношениях. – Так завязался узел, в котором жизнь Пушкина на некоторое время сплелась с жизнью Раевских и Орлова.

Когда будет написана биография Пушкина, Раевским и Орлову будет отведено в ней видное место. В течение четырех лет (1821–24) влияние разных членов этой семьи было доминирующим в его жизни. Сначала четырехмесячное путешествие со всеми Раевскими на Кавказ и в Крым, затем двухлетняя близость с Орловым в Кишиневе, наконец, тесная дружба с Александром Раевским в Одессе, и на придачу долгая влюбленность в одну из барышень Раевских[10 – Пушкинисты начала XX в. без достаточных на то оснований полагали, что М. Н. Волконская (урожд. Раевская) была предметом долгого и глубокого чувства Пушкина. Впоследствии это мнение неоднократно оспаривалось.], должны были ярко отразиться на развитии Пушкина, – и это как раз в те годы, когда окончательно складывались его характер и мировоззрение. Наибольшую важность представляет здесь, конечно, ряд личных влияний, а это были, каждая в своем роде, все богатые и самобытные индивидуальности; но важны и те общие идейные течения, с которыми он столкнулся в этом кругу. Только пять лет назад кончилась Отечественная война, где старик Раевский был одним из главных деятелей, где Орлов связал свое имя с капитуляцией Парижа, где и Александр Раевский получил свое боевое крещение; в них наверно еще не совсем остыло патриотическое и военное одушевление тех дней, и их рассказы были для Пушкина живою летописью той эпохи. Вместе с тем чрез них же в Кишиневе и Каменке он соприкоснулся непосредственно с тем общественным движением, которое привело затем к 14 декабря. Таким образом чрез эту семью шли оба главных влияния, которые определили политическую мысль Пушкина: монархический патриотизм 12-го года и революционная идеология декабристов. Если прибавить к этому, что и с Байроном Пушкин познакомился благодаря Раевским, то их важная роль в истории его жизни и творчества будет очевидна.[11 – В Петербурге, до ссылки, Пушкин знал Байрона только понаслышке; на юге вместе с Н. Н. Раевским-младшим он пробовал переводить Байрона с английского оригинала, обращаясь за справками к юной Елене Раевской, прекрасно владевшей английским языком.]

Центральной фигурой этого пушкинского кружка был, конечно, сам Раевский, человек выдающийся не только по военному таланту, но и по высоким душевным качествам,

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
прекрасный цельностью и прямою природы и полным отсутствием аффектации, очаровавший двух наших поэтов – Батюшкова в 1814 г. и Пушкина в 1820 [12 – К. Н. Батюшков был адъютантом Н. Н. Раевского во время европейской кампании 1813–1814 гг.; выразительный портрет Раевского создан Батюшковым в записной книжке «Чужое – мое сокровище». Восторженная характеристика Раевскому дана Пушкиным в письме к брату, Льву Сергеевичу, от 24 сентября 1820 г.]. Последний с восторгом отзывался о его ясном уме, свободном от предрассудков, сильном характере, простой и прекрасной душе, готовой на участие и дружбу. Мы увидим дальше, как много нежности таил в себе под суровой оболочкой этот знаменитый русский генерал, так похожий на античного полководца [19 – Сколько-нибудь сносно биографии Раевского нет; библиографию см. в Русском Вестнике. 1898, март.].

В середине мая 1820 г. Раевский с младшим сыном Николаем и двумя дочерьми-подростками, в том числе Марией, будущей декабристкой Волконской, пустился в путь из Киева на Кавказские воды, куда уже до них прибыл, чтобы лечить старую рану в ноге, его старший сын Александр. Как известно, этой скромной лечебной поездке суждено было стать исторической: в Екатеринославе, по пути из Киева на Кавказ, Николай Раевский младший (то есть сын) разыскал своего петербургского приятеля Пушкина, только что приехавшего в ссылку и лежавшего здесь в жестокой лихорадке, и с согласия Инзова Раевские увезли с собою молодого поэта на Кавказ и потом в Крым. Эта встреча в Екатеринославе едва ли была случайной. Раевские, без сомнения, знали, что в Екатеринославе найдут Пушкина: 7 мая одна из дочерей, Екатерина Николаевна, посылая из Петербурга письмо брату Александру в Киев, объясняет в P.S., почему оно идет почтой: «мама забыла послать его с Пушкиным», а из письма старика видно, что в Екатеринослав они приехали в 10 ч. веч. и уехали из него на другой день после завтрака; между тем молодой Раевский еще в тот же вечер успел разыскать Пушкина и к полудню уладил его поездку.

Четыре месяца, проведенные Пушкиным на Кавказе и в Крыму среди Раевских, принадлежат к счастливейшим дням его жизни. В сентябре, рассказывая в письме к брату об этой поездке он писал: «Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, – жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался; счастливое полуденное небо; прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение, горы, сады, море: друг мой, любимая моя надежда увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского».

В эти месяцы, когда Пушкин (как он вспоминал уже много позднее) подолгу сживал на берегах Подкумка с Александром Раевским, – у последнего шла деятельная переписка с Орловым, оставшимся в Киеве.

30 мая 1820 г. Орлов пишет [20 – По-русски, как и следующие письма.]: «Я обещал писать и посылать газеты. И то, и другое исполняю, в надежде, что твои обещания также исполнятся, любезный Александр Николаевич. Ожидать буду твоего ответа с нетерпением, помня, что он мне даст подробное понятие о положении того края, в котором ты основал свою жизнь на некоторое время». «Новостей политических мало, – пишет он далее. – Говорят, что в Риме открыт заговор и что по сему случаю 35 тыс. австрийцев выступили к сему городу... Везде огонь живет под пеплом, и я очень думаю, что XIX век не пробежит до четверти без развития каких-нибудь странных происшествий». На днях приятельские рассказы пояснили ему многое, но эти известия он не может доверить бумаге. «Когда увидишь Алексея Петровича (Ермолова) бей ему от меня челом. Поклон и простого римского гражданина не должен быть отвергнут римским проконсулом, какова бы ни была его слава». В конце письма характерная просьба – отвечать по-русски. О том же просит потом однажды Пушкин из Кишинева брата.

19 июня Орлов пишет: «Посылаю тебе несколько газет, в которых найдешь все то же, что и прежде, то есть бесконечные споры между гасителями, коих не должно пускать тушить, и светилами, коим не должно позволять жечь».

«Я, наконец, назначен дивизионным командиром. Прощаюсь с мирным Киевом, с сим городом, который я почитал сперва за политическую ссылку и с коим не без труда расстаюсь. Милости твоего батюшки всегда мне будут предстоять, и я едва умею выразить, сколь мне прискорбно переходить под другое начальство. Но должно было решиться. Иду на новое поприще, где сам буду настоящим начальником».

Последнее сохранившееся письмо, от 13 октября, любопытно, как свидетельство полной зрелости мысли в области конкретных политических вопросов.

«Любезный друг, благодарю за твое занимательное письмо из Крыма, которым я тем более был доволен, что оно писано по-русски и довольно чистым русским языком. Известия о Грузии и о подвигах или намерениях Ермолова весьма важны, но мне кажется, что со всем его умом он довершить общего успокоения той страны не в состоянии. Так же трудно поработить чеченцев и другие народы того края, как сгладить Кавказ. Это дело исполняется не штыками, но временем и просвещением, которого и у нас не избыточно. При падении листов сделают еще экспедицию, повалят несколько народа, разобьют толпу неустроенных врагов, заложат какую-нибудь крепостцу и возвратятся восвояси, чтобы опять ожидать осени. Этот ход дела может принести Ермолову большие личные выгоды, а России никаких. Впрочем, я не его виню. Обстоятельства и прежние меры начальников и предместников его сделали из Грузии в отношении нашего отечества, так сказать, политическую фистулу. Через оную Россия потеряла много крови и соков. Но со всем тем в этой непрерывной войне есть что-то величественное, и храм Януса для России, как для древнего Рима, не затворяется. Кто, кроме нас может похвастаться, что видел вечную войну?»

V

Когда Пушкин в сентябре, расставшись с семьей Раевских, приехал в Кишинев, куда его начальник Инзов тем временем перевел свою канцелярию из Екатеринослава, он уже застал здесь Орлова, который, наконец, после пятикратного отказа, получил дивизию, именно 16-ю пехотную дивизию второй армии, стоявшую в Кишиневе. Этим назначением он был обязан ходатайству главнокомандующего 2-ой армии, гр. Витгенштейна, и давней дружбе с Киселевым, который в то время состоял начальником штаба при Витгенштейне. Очевидно, ему с большой неохотой вручали активное командование, да и то лишь возможно дальше от центра, в далекой и некультурной окраине.

Как свидетельствуют письма, Орлов выехал из Киева в Кишинев 10 июля 1820 г. В Тульчине, по пути из Киева на место новой службы, он стал членом тайного общества^{[13} – Эти данные, основанные на тенденциозных показаниях Орлова, нуждаются в уточнениях. Судя по всему, Орлов стал членом Союза Благоденствия не в июле 1820 г., а в первой половине 1818 г.: его имя находится в списке так называемого Коренного Союза – группы членов-учредителей, игравших в обществе руководящую роль. В своих показаниях Орлов сознательно датировал вступление в Союз более поздним временем. Стремясь убедить Следственную комиссию в том, что его пребывание в обществе было весьма недолгим и почти случайным. Вывод Гершензона об отсутствии у Орлова «мысли об активной революционной деятельности» также нуждается в пересмотре: в свете сказанного становится ясно, что вся деятельность Орлова в Киеве и Кишиневе так или иначе служила целям Союза Благоденствия. Подробнее см.: Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 1. С. 181–184, 219–222 и др.]. Его приняли фон-Визин, Пестель и Юшневский. Позднее, на следствии по делу 14 декабря, он заявлял, что к вступлению в Союз Благоденствия его побудили их упреки, «что, зная все их тайны и имена многих, не великодушно мне не разделять их опасности»^{[21} – М. В. Довнар-Запольский. Мемуары декабристов. 1906. С. 6.]. Это звучит правдоподобно, – и во всяком случае несомненно, что он вступил в тайное общество без мысли об активной революционной деятельности. В одном из летних писем к А. Раевскому на Кавказ, сообщая о своей встрече с С. И. Тургеневым, он с большим сочувствием отзывался о перемене, происшедшей в Тургеневе: «Правила оставил те же, но скромность в выражениях, постепенность в желаниях, принятие плана жизни и службы доказывают, что наступило время зрелости и что рассудок взял перевес над пылкостью страстей». Эти слова характеризуют настроение самого Орлова. Конечно, и он остался тот же и все так же верил в неизбежность «события», но все ясней становилось ему, что надо запастись терпением, что для «события» нужно особенное стечение обстоятельств, которого, может быть, придется еще долго ждать; а пока нельзя же было жить все на бивуаках, надо было подумать о том, чтобы «принять план жизни и службы». Сюда присоединялось еще и личное соображение: он уже давно любил Екатерину Николаевну Раевскую и как раз теперь готовился просить ее руки. Итак, он ехал в Кишинев с мыслью о более прочном устройстве, и мы видели, как доволен он был своим новым назначением, которое открывало ему сравнительно широкий простор для мирной культурной деятельности. В том самом письме, которым он

извещал А. Раевского о своем переводе в Кишинев, он писал: «Политика запружена и Бог знает, когда потечет. Я также строю умственную насыпь, чтобы запрудить мысли мои. Пускай покоятся до времени».

Им пришлось покоиться недолго. Осенью этого же года, когда решен был вопрос о созыве на январь в Москву виднейших членов Союза Благоденствия, – в числе предполагаемых участников съезда был намечен и Орлов, и хотя он вступил в тайное общество всего несколько месяцев назад, его участие признали настолько важным, что Якушкин, ехавший по этому делу в Тульчин, должен был нарочито, с письмом от фон-Визина, захватить в Кишинев, чтобы пригласить на съезд Орлова.

В своих записках Якушкин подробно описал и это первое свое знакомство с Орловым, и роль последнего на московском съезде. Его правдивость стоит вне сомнений, но и здесь, как во всяких мемуарах, надо строго различать три вещи: 1) объективные факты, 2) отношение к ним автора в момент самого действия, и 3) его отношение к ним в момент писания. Записки свои Якушкин писал много лет спустя; его рассказ проникнут явным недружелюбием к Орлову, и это его отношение часто резко противоречит не только самим фактам, которые он передает, но и его собственному тогдашнему отношению к этим фактам, поскольку оно явствует из его же рассказа.

Так, его рассказ с совершенной очевидностью свидетельствует о том, что Орлов произвел на него как нельзя более выгодное впечатление, и не только как симпатичный человек, располагавший к себе добротой и ласковостью обхождения, но и как убежденный и крайне ценный член тайного общества. Он рассказывает, что на его увещания приехать в Москву. Орлов отвечал, что пока наверное обещать не может, и с своей стороны звал его к Давыдовым в Каменку, куда сам ехал с Охотниковым. Якушкину очень не хотелось, да и незачем было, ехать в Каменку, но когда Охотников шепнул ему, что, едучи с ними, он легче уговорит Орлова, – Якушкин решил ехать к Давыдовым и, приехавши, прожил у них все время, что и Орлов, – целую неделю; при прощании Орлов действительно дал ему слово приехать на съезд в Москву. Надо знать непоколебимую убежденность Якушкина и его твердый характер, чтобы понять смысл этого эпизода. Очевидно, узнав Орлова лично, он счел его присутствие на съезде делом исключительной важности.

О поведении Орлова на этом съезде существует два диаметрально противоположных показания. Одно принадлежит Якушкину, в другом совпадают три других участника съезда – Волконский, Граббе и Н. Тургенев. Якушкин рассказывает, что Орлов привез писанный проект условий, на которых он соглашался быть членом общества; именно, он предлагал перейти к крайним революционным действиям и прежде всего завести тайную типографию и фабрику фальшивых ассигнаций. Разумеется, его план вызвал только общее изумление; «но ему, – говорит Якушкин, того- то и нужно было. Помолвленный на Раевской, в угодность ее родным он решился прекратить все сношения с членами тайного общества; на возражения наши он сказал, что если мы не принимаем его предложений, то он никак не может принадлежать к нашему тайному обществу. После чего он уехал и ни с кем из нас более не видался».

О таком предложении Орлова ни одним словом не упоминают трое других участников съезда. Волконский, – как мы видели, старый друг Орлова, – съехался с ним (и Охотниковым) в Тульчине, чтобы вместе ехать на съезд в Москву. Проездом чрез Киев, рассказывает он, Орлов решился сделать давно задуманный шаг – просить руки Екатерины Николаевны Раевской. Переговоры шли через А. Н. Раевского, и последний поставил ему коренным условием выход из тайного общества, так что, выезжая из Киева, Орлов был в нерешительности, что ему делать. Обстоятельства указали ему выход. На съезде с самого начала получено было извещение от петербургской думы, что правительство следит за действиями тайного общества и что поэтому благоразумнее будет формально закрыть общество и действовать каждому в одиночку. Так и было решено, и к этому решению примкнул Орлов. То же самое рассказывают о съезде и роли Орлова Тургенев и Граббе, при чем первый сообщает, что Орлов с самого начала заявил о своем намерении выйти из общества, а второй добавляет, что предложений, приписываемых Якушкиным Орлову, последний не делал, иначе их слышали бы все – «тем более, что его слова непременно принимались с напряженным вниманием» [22 – Сравн. показание Комарова, – Довнар-Запольский. Цит. соч. С. 34–35.]

Показание Якушкина настолько противоречит духовному облику Орлова и всем фактам его дальнейшей жизни (между прочим, и позднейшим отношением к нему таких непреклонных революционеров, как Охотников или В. Ф. Раевский), что его приходится совершенно отвергнуть [23 – В письме к редактору Колокола по поводу

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org

выхода в свет записок Якушкина Н. И. Тургенев говорит, между прочим: «я нахожу также несколько неосновательных и неверных рассказов о других лицах, кроме меня, и именно о Мих. Орлове» (Колокол. № 155, от 1 февр. 1863 г.).]. На такое низкое лицемерие Орлов был неспособен, да ему и не простили бы его. Ошибка объясняется просто: Якушкин, очевидно, запямятовав, следовал в этом месте своих воспоминаний записке тайного агента Грибовского, составленной, конечно, на основании доносов и сплетен[24 – См. Записки И. Д. Якушкина. С. 53, и Русскую Старину. 1872. VI. С. 602. Кроме того: Тургенев. La Russie... I, 118. Волконский С. С. 410–12. Русская Старина. 1873, март. С. 374 и 1872, май, С. 775 сл.]. Дело было, без сомнения, так, как изобразил его Волконский[14 – В настоящее время ни версия Якушкина, ни опровержения его оппонентов не могут быть приняты безоговорочно. Большинство современных исследователей полагают, что Орлов действительно выступил на московском съезде Союза Благоденствия с крайне радикальными предложениями. Однако эти предложения были выдвинуты вовсе не для того, чтобы вызвать заведомо негативную реакцию сочленов и создать благоприятный предлог для выхода из общества (версия Якушкина). Предстоящий брак – слишком сомнительная причина для отхода Орлова от активной политической деятельности: об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что наиболее смелые приказы Орлова по дивизии, его покровительство агитационной деятельности В. Раевского, участие в ложе «Овидий», связанной с Кишиневской управой тайного общества, приходится на время после женитьбы. Выдвигая свои «условия» Орлов был вполне искренен. Участвовавшие крестьянские восстания, волнения на Дону, серия европейских революций 1820 г. – все это создавало «зажигательную» атмосферу, могло вселять надежду на успех активных революционных действий. «16 тысяч под ружьем» (орловская дивизия) давали, казалось, этим действиям надежное обеспечение. Неудача предложения Орлова обусловлена тем, что осторожные теоретики-пропагандисты не могли в принципе принять дерзкий, несколько авантюрный план, включающий элемент риска и азарта – в духе военных переворотов XVIII в. Важнейшая литература, посвященная «орловскому инциденту» на московском съезде, указана в кн.: Павлова Л. Я. Декабрист М. Ф. Орлов. М., 1964. С. 86.]. Перед нами письмо Орлова к сестре от 12 февраля (1821 г.) из Киева; извещающая сестру о своей помолвке с Раевской, он извиняется, что из Москвы не заехал к ней в Ярославль: «нетерпение узнать исход моего предложения заставило меня спешить обратно». Очевидно, по пути в Москву он сделал предложение чрез А. Раевского, который обещал приготовить ему ответ к обратному проезду; значит, дело было за согласием Екатерины Николаевны и ее родителей.

VI

Свадьба состоялась 15 мая 1821 года. В Кишиневе молодые зажили на широкую ногу, заняв два смежных дома и держа свой стол открытым для всей военной молодежи. Орлов был не только самое важное после наместника лицо в городе и не только большой барин и аристократ, но и человек высоко стоявший над толпою по образованности, характеру и убеждениям. Вигель в нескольких злобных строках очень живо изображает кишиневскую обстановку Орлова: «Прискорбно казалось не быть принятым в его доме, а чтобы являться в нем, надобно было более или менее разделять мнения хозяина... Два демагога, два изувера, адъютант Охотников и майор Раевский, с жаром витийствовали. Тут был и Липранди... На беду попался тут и Пушкин, которого сама судьба всегда совала в среду недовольных. Семь или восемь молодых офицеров генерального штаба известных фамилий... с чадолюбием были восприняты. К их пылкому патриотизму, как польнь к розе, стал прививаться тут западный либерализм. Перед своим великим и неудачным предприятием нередко посещал сей дом с другими соумышленниками князь Александр Ипсиланти... Все это говорилось, все это делалось при свете солнечном, в виду целой Бессарабии». Вигель не преувеличивает: все, что мы знаем о Кишиневской жизни Орлова, показывает, что он действительно был здесь центром политического вольнодумства, а его дом – как бы либеральным клубом. О степенях этого вольнодумства можно судить по тому, что всех ближе к Орлову были в Кишиневе два крайних радикала – его адъютант Охотников и известный В. Ф. Раевский[25 – Биография В. Ф. Раевского написана П. Е. Щеголевым и издана отдельно в 1905 г. О рано умершем Охотникове известно мало; вот его любопытная характеристика, сделанная М. Ф. Орловым в письме к жене (Орлов пишет из своей калужской деревни в апреле 1823 г.): «Охотников пробыл здесь два дня и, все раскритиковав, все разбранив, изложив все свои философские воззрения, увозит теперь это письмо, с тем, чтобы сдать его на

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
почту в Козельске или Мещовске. Не знаю ничего несноснее этого воплощенного нравственного совершенства, которое оговаривает всякий чужой поступок и берет на себя роль ходячей совести своих друзей. В сущности он прекраснейший и достойнейший человек, и я люблю его от всей души, но у него привычка говорить другому в лицо самые грубые истины, не догадываясь, что каждая из них бьет того словно обухом по голове». Сравн. отзыв Липранди. – Русский Архив. 1866. № 8–9. С. 1252.]

В этом доме Пушкин был едва ли не ежедневным гостем[26 – Что Орлов знал его еще из Петербурга, доказывается письмом Орлова к А. Н. Раевскому на Кавказ, от 8 июля 1820 г., где есть «поклон юному Аруету Пушкину».]

«У нас, – пишет Екатерина Николаевна брату Александру (конец 1821 г.), беспрестанно идут шумные споры – философские, политические, литературные и др.; мне слышно их из дальней комнаты. Они заняли бы тебя, потому что у нас немало оригиналов». «Пушкин, – пишет она в другой раз (12 ноября 1821 г.), – больше не корчит из себя жестокого, он очень часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждает или болтает очень приятно. Он только что кончил оду на Наполеона, которая, по моему скромному мнению, хороша, сколько я могу судить, слышав ее частью один раз». «Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конек – вечный мир аббата Сен-Пьера[15 – французский писатель Сен-Пьер (1658–1743), считался родоначальником широко обсуждавшейся в те годы идеи возможности установления всеобщего мира на началах разума. Изложение концепций Сен-Пьера Пушкин почерпнул у Ж.-Ж. Руссо (См. подробнее: Алексеев М. П. Пушкин и проблема «вечного мира» // Алексеев М. П. Пушкин. Л., 1972)]. Он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир, и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия. Я хотела бы видеть, как бы ты сцепился с этими спорщиками (23 ноября 1821 г.). Во время одной отлучки жены из Кишинева Михаил Федорович, рассказывая ей в письме, как проходит его день, писал: «К обеду собираются мои приятели. После обеда иногда езжу верхом. Третьего дня поехал со мною Пушкин и грохнулся оземь. Он умеет ездить только на Пегасе, да на донской кляче». 8-го декабря 1822 г. Екатерина Николаевна пишет брату: «Посылаю тебе письмо кажется от Пушкина; его принесла г-жа Тихонова... Пушкин послал Николаю отрывок поэмы, которую не думает ни печатать, ни кончать. Это странный замысел, отзывающийся, как мне кажется, чтением Байрона. – Его дали Муравьевым, которые привезут его тебе». Это были, конечно, «Братья-разбойники». В Кишинев приезжали к Орловым родные – Раевские, Давыдовы, все люди уже близкие Пушкину, и сам он ездил с Орловыми в Киев и Каменку к их родным; словом, он стал как бы приемным членом семейства[27 – Екатерина Николаевна Орлова послужила Пушкину прообразом для его Марины в «Борисе Годунове». В сентябре 1925 г. он писал Вяземскому из Михайловского: «Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова! знаешь ее? Не говори однако ж этого никому». (Соч. Пушкина. Изд. Академии Наук. Переписка. Под ред. В.И. Саитова. Т. I, СПб. 1906. С. 289)].

VII

Однако вернемся к Орлову. Мы видели, с какими мыслями он ехал в Кишинев: новая должность открывала ему большой простор для гуманитарной деятельности и, главное, ставила его в непосредственное общение с «народом» в лице серой солдатской массы. На эту массу и направилось теперь все его внимание. Его первой заботой по принятии начальства над 16-й дивизией было категорически запретить употребление на ученьях палок, шомполов и тесаков, его вторым делом – призвать В. Ф. Раевского к управлению уже раньше учрежденной при дивизии ланкастерской школой. И затем в продолжение всего двухлетнего времени своего командования дивизией он широко и энергично действовал в этих двух направлениях. Он не только совершенно искоренил жестокость в обращении с солдатами, но и всеми мерами старался пробуждать в них чувство человеческого достоинства, – например, принимал жалобы относительно наказаний, которым они подвергались со стороны их ближайшего начальства, и наряжал следствия по таким делам. Дивизионная ланкастерская школа под руководством В. Ф. Раевского развилась блестяще, и то,

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org

что делалось в ней и что вскоре погубило Раевского, делалось, конечно, с ведома и одобрения Орлова. Не ограничиваясь Кишиневым, Орлов основал ряд таких же училищ в тех городах и местечках дикой тогда Бессарабии, где были расположены отдельные части его дивизии, и тратил на них немало собственных денег.

Военные нравы в тогдашней России были жестоки. В той же Бессарабии, кроме 16-й, Орловской, дивизии, стояла другая – 17-я, которою командовал Желтухин. Чтобы получить наглядное представление о положении русского солдата в то время, достаточно прочитать небольшую «записку» о происшествии, случившемся в этой дивизии в 1822 году, хранящуюся в военно-ученом архиве. В мае этого года корпусный командир Сабанеев, обратив внимание на участвовавшие побеги из 17-й дивизии, где из одного только Екатеринбургского полка за шесть недель бежало 28 человек, поручил майору Липранди и аудитору Маркову произвести следствие. Допросив пять человек дезертиров, Липранди так излагал их показания:

1- е. Жители продовольствовали их так дурно, что солдаты терпели даже голод.

1- е. Ученье слишком изнурительное производится два раза в день, во время коего всегда по несколько человек падают во фронт от сильной затыжки на груди ранцевых ремней, и за малейшую ошибку, начиная от дивизионного командира до последнего унтер-офицера, бьют. Один из них показал, что, когда зашли по отделениям направо, унтер-офицер заметил его в ошибке и бил до тех пор по шее и лицу, пока упал без чувств; вообще, унтер-офицеры дают по несколько сот палок. Сверх всего этого, по вечерам учат их пунктикам из рекрутской школы.

2- е. Содержание амуниции в требуемой чистоте, разоряя их, затрудняет до невероятности. Ранцы во всей дивизии выворочены и лакируются сапожною ваксою за собственный счет солдат; перевязи и портупел натирают белым воском после мелу. В случае же невыполнения по неимению денег и иных средств таковых требований, наказывают жестоко, как например, 2-й гренадерской роты капитан за невычищение воском перевязи наказал одного из них 300 ударов палок.

3- е. Сии самые причины вынудили их бежать; к чему 1-й гренадерской роты рядовой, служащий 12 лет, бывший уже в двух войнах и имеющий три раны, прибавил, что он хотел застрелиться, но как христианин предпочел умереть от руки басурманов и потому бежал, зная, что они режут головы; но, имея несчастье быть пойманным, просит, чтобы его расстреляли.

4- е. Бежавших 17-й дивизии за границей в Молдавии очень много, так что почти в каждом селении встречаешь русского – многие из них турками взяты и будут доставлены.

5- е. Второй батальон Екатеринбургского полка содержит караул в Липканах и Хотине, что, отстоявши сутки в карауле в Липканах, идут в Хотин, и, придя после полуночи, начинают чистить амуницию и утром вступают снова в караул. В этот же день делают и ученье, для того, что генерал Желтухин, несмотря ни на какие обстоятельства, требует, чтобы резервные батальоны равнялись в учении действующим.

На этом черном фоне деятельность Орлова выделяется ярким пятном. Читатель не посетует на нас, если мы приведем здесь два образчика Орловских приказов по дивизии [16 – Приказы Орлова по дивизии, призванные искоренить палочную дисциплину, создали ему исключительную популярность среди солдат. Тем самым обеспечивалась безоговорочная поддержка Орлову со стороны «нижних чинов» в случае революционного выступления. В настоящее время, помимо приказов, впервые напечатанных Гершензоном, опубликованы еще три приказа и две инструкции Орлова.]; с той поры прошло 80 лет, но и теперь военные нравы еще далеко не достигли того уровня человечности, какой ставил себе целью Орлов. Вот один из его первых приказов, изданный 3-го августа 1820 года, то есть через неделю или две по его прибытии в Кишинев:

«Вступив в командование 1-ю пехотную дивизию, я обратил первое мое внимание на пограничное расположение оной и на состояние нижних чинов. Рассматривая прежний ход дел, я удивился великому числу беглых и дезертиров. Устрашился, увидев, что начальство для прекращения побегов принуждено было приступить к введению смертной казни в сей дивизии, тогда как она казнь в мирное время целой России

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
неизвестна. Сие должно доказать каждому и всем, сколь велико то зло, для
искоренения которого принята правительством столь строгая мера, противная столь
общему обычаю Отечества нашего.

Побеги в войсках могут случиться от многих разных причин, из коих главнейшие
суть:

1) Недостаток в пище и пропитании. Я не думаю, чтоб нашелся хотя один чиновник в
дивизии, который осмелился не допустить солдату следуемую ему пищу, положенную
правительством, но ежели сверх чаяния моего таковые злоупотребления существуют
где-либо в полках вверенной мне дивизии, то виновные недолго от меня скроются, и
я обязуюсь перед всеми честным моим словом, что предам их военному суду, какого
бы звания и чина они ни были, все прежние их заслуги падут пред сею
непростительною виною, ибо нет заслуг, которые могли бы в таком случае отвратить
от преступного начальника тяжкого наказания.

2) Послабление военной дисциплины. Сим разумею я некоторый дух беспечности и
нерадения, в частных начальниках тем более предосудительный, что пример их
действует быстро на самих солдат, порождает в сих последних леность и от лености
все пороки. Я прошу г.г. офицеров заняться крепко своим делом, быть часто с
солдатами, говорить с ними, внушать им все солдатские добродетели, пещись о всех
их нуждах, давать им пример деятельности и возбуждать любовь к Отечеству,
поручившему им свое хранение и свою безопасность.

Когда солдат будет чувствовать все достоинство своего звания, тогда одним разом
прекратятся многие злоупотребления, а от сего первого шага будет зависеть все
устройство дивизии. Большая часть солдат легко поймут таковые наставления, они
увидят попечение начальства и сами почувствуют свои обязанности. Я сам почитаю
себе честного солдата и другом и братом.

Слишком строгое обращение с солдатами и дисциплина, основанная на побоях. Я
почитаю великим злодеем того офицера, который, следуя внушению слепой ярости,
без осмотрительности, без предварительного обличения, часто без нужды и даже без
причины употребляет вверенную ему власть на истязание солдат. Я прошу г.г.
офицеров подумать о следующем: от жестокости и несправедливости в наказаниях
может родиться отчаяние, от отчаяния произойти побег, а побег за границу
наказывается смертью; следовательно, начальник, который жестокостью или
несправедливостью побудит солдата к побегу, делается настоящим его убийцею;
строгость и жестокость суть две вещи разные, одна прилична тем людям, кои
сотворены для начальства, другая свойственна тем только, коим никакого
начальства поручать не должно. Сим правилом я буду руководствоваться, и г.г.
офицеры могут быть уверены, что тот из них, который обличится в жестокости,
лишится в то же время навсегда команды своей.

Из сего приказа моего легко можно усмотреть, в каком духе я буду командовать
дивизию. В следующих приказах я дам на сей предмет положительные правила, но я
желаю, чтобы прежде всего г.г. начальники вникнули в мое намерение и, убедившись
в необходимости такового с солдатами обращения, сделались бы мне сподвижниками в
учреждении строгой, но справедливой дисциплины.

Предписываю в заключение прочитать приказ сей войскам в каждой роте самому
ротному командиру, для чего, буде рота рассеяна по разным квартирам, то сделать
общий объезд оным. Ежели при объезде полков солдаты по спросе моем скажут, что
им сей приказ не извещен, то я за сие строго взыщу с ротных командиров.
Подлинный подписал генерал-майор Орлов 1-й.»

Другой приказ Орлова относится к январю 1822 г., то есть к последним дням его
командования 16-й дивизией.

«Думал я до сих пор, что ежели нужно нижним чинам делать строгие приказы, то
достаточно для офицеров просто объяснить их обязанности, и что они почтут за
счастье исполнять все желания и мысли своих начальников; но, к удивлению моему,
вышло совсем противное. Солдаты внемлют одному слову начальника; сказал: побеги
вас бесчестят, и побеги прекратились. Офицеров, напротив того, просил неотступно
укротить их обращение с солдатами, заниматься своим делом, прекратить
самоправные наказания, считать себя отцами своих подчиненных; но и по сих пор
многие из них, несмотря на увещания мои, ни на угрозы, ни на самые строгие
примеры, продолжают самоправное управление вверенными им частями, бьют солдат, а

не наказывают, и не только пренебрегают исполнением моих приказов, но не уважают даже и голоса самого главнокомандующего.

В Охотском пехотном полку г. майор Вержейский, капитан Гимбут и прапорщик Понаревский жестокостями своими вывели из терпения солдат. Общая жалоба нижних чинов побудила меня сделать подробное исследование, по которому открылись такие неистовства, что всех сих трех офицеров принужден представить я к военному суду. Да испытывают они в солдатских крестах, какова солдатская должность. Для них и им подобных не будет во мне ни помилования, ни сострадания.

И что ж? Лучше ли был батальон от их жестокости? Ни частной выправки, ни точности в маневрах, ни даже опрятности в одеянии – я ничего не нашел; дисциплина упала, а нет солдата в батальоне, который бы не почувствовал своими плечами, что есть у него начальник.

После сего примера, кто меня уверит, что есть польза в жестокости и что русский солдат, сей достойный сын отечества, который в целой Европе почитаем, не может быть доведен без побоев до исправности? Мне стыдно распространяться более о сем предмете, но пора быть уверенным всем г.г. офицерам, кои держатся правилам и примерам Вержейского и ему подобных, что я им не товарищ и они заблаговременно могут оставить сию дивизию, где найдут во мне строгого мстителя за их незаконные поступки.

Обратимся к нашей военной истории: Суворов, Румянцев, Потемкин, все люди, приобретшие себе и отечеству славу, были друзьями солдат и пеклись об их благосостоянии. Все же изверги, кои одними побоями доводили их полки до наружной исправности, все погибли или погибнут; вот примеры, которые ясно говорят всем и каждому, что жестокое обращение к нижним чинам противно не только всем правилам, но и всем опытам. В заключение сего объявляю по дивизии: 1-е, г. майору Вержейскому отказать от батальона, а на место него назначаю 32-го егерского полка майора Юмина, 2-е, г. капитану Гимбуту отказать от роты; 3-е, прапорщику Понаревскому отказать от всякого рода команды; 4-е, всех сих офицеров представляю к военному суду и предписываю содержать на гауптвахте под арестом впредь до разрешения начальства.

Кроме сего, по делу оказались менее виноватыми следующие офицеры, как-то: поручику Васильеву в уважение того, что он молодых лет и бил тесаками нижних чинов прежде приказов г. главнокомандующего, г. корпусного командира и моего, майорам Карчевскому и Данилевичу, капитану Парчевскому, штабс-капитанам Станкевичу и Гнилосирову, поручикам Калковскому и Тимченке и подпоручику Китицыну за самоправные наказания, за битье из собственных своих рук, делаю строгий выговор. Объявляю им две вещи: первую, что так как многие из них не спрошены комиссией, то могут они, если чувствуют себя невинными, рапортами прямо на мое имя требовать суда, но тогда подвергнутся всем последствиям онога, и 2-е, что ежели за ними откроются таковые поступки, то подвергнутся участи Вержейского, Гимбута и Понаревского.

Предписываю приказ сей прочесть по ротам и объявить совершенную мою благодарность низшим чинам за прекращение побегов в течение моего командования.»

Когда позднее над Орловым было наряжено следствие, ему, между прочим, был поставлен в вину случай с рядовым Суярченкой, и вот как сам Орлов излагал это дело в своем ответном донесении. Во время смотра 31-го егерского полка при опросе 9-й роты рядовой Алексей Суярченко заявил ему, что ротный командир, поручик Турчанинов, ударил его эфесом в бок так сильно, что он долго не мог дышать. Орлов вызвал Турчанинова в круг роты и пригрозил, что отнимет у него команду; Турчанинов извинился, прося приписать свой поступок минутной вспыльчивости, а не обычаю обращаться жестоко с нижними чинами. Чтобы удостовериться в этом, Орлов, отослав поручика, опросил роту, и когда все солдаты единогласно подтвердили ему, что не имеют никакой другой жалобы на своего ротного командира, он снова призвал Турчанинова в круг роты и сказал ему:

– Вы счастливы, что командуете честными солдатами, которые не хотели воспользоваться гневом моим против вас. Ваша участь зависела от них. Ежели б один рядовой еще пожаловался на вас, то после примера вашей вспыльчивости, в коем вы сами предо мною сознались, я был бы принужден отдать вас под следствие и отнять роту. Помните мое снисхождение и старайтесь на будущее время не употреблять законопротивных наказаний.

VIII

Не прошло и года, как имя командира 16-й пехотной дивизии сделалось как бы нарицательным. Разумеется, о нем пошла двойная слава. Как смотрели на него подчиненные и солдаты, об этом, можно сказать, художественно свидетельствует донесение тайного агента из Кишинева, 1821 года. В ланкастерской школе, сообщает он, учат «кроме грамоты» «и толкуют о каком-то просвещении». «Нижние чины говорят: дивизионный командир (то есть Орлов) наш отец, он нас просвещает. 16-ю дивизию называют орловщиной... Липранди (подполковник, член тайного общества) говорит часовым, у него стоящим: «не утаивайте от меня, кто вас обидел, я тотчас доведу до дивизионного командира. Я ваш защитник. Молите Бога за него и за меня. Мы вас в обиду не дадим, и как часовые, так и вестовые, наставление сие передайте один другому» [28 – Русская Старина. 1883, декабрь. С. 657–58.]. Здесь характерно и отношение к Орлову Липранди. Еще более, интимнее был ему предан Охотников, а В. Ф. Раевский в марте 1822 года из Петропавловской крепости писал кишиневским друзьям:

Скажите от меня Орлову,
Что я судьбу мою сурову
С терпением мраморным сносил,
Нигде себе не изменил.

Очевидно, ему еще и тут было нужно и дорого одобрение Орлова.

А начальство Орлова, ближнее и дальнее, смотрело на него косо и позаботилось учредить за его дивизией секретный надзор. Прежде всего, его дивизия сильно отставала от фронтовой части, потому что без смертного боя нельзя было вдолбить знаменитые три учебных шага; а затем, в штабе 2-й армии, к которой принадлежала дивизия Орлова, уже знали о неблагонадежности В. Ф. Раевского. Начальником этого штаба был Киселев, искренно любивший и уважавший Орлова, но державшийся правила, что в «службе нет дружбы».

Надо думать, что Сабанеев, корпусный командир, то есть ближайший начальник Орлова, ждал только первого случая, чтобы освободиться от него. Таким случаем и явился небольшой бунт в Камчатском полку [17 – 3 декабря 1821 г. четверо рядовых Камчатского полка, по договоренности с фельдфебелем, вырвали из рук унтер-офицеров своего товарища, подвергавшегося экзекуции по приказу ротного командира Брюхатова. Орлов не только не пресек «бунта», но отстранил капитана Брюхатова от командования.], входившем в состав Орловской дивизии. Узнав об этом происшествии от самих ослушников, Орлов приказал бригадному командиру Пущину произвести следствие, а сам в тот же день, как и предполагал заранее, выехал к больной жене в Киев. Тайно извещенный Сабанеев нагрянул из Тирасполя на следующий день, когда Пушин еще и не начинал следствия, и, не застав Орлова, поднял шум [29 – Воспоминания Липранди. – Русский Архив. 1866. № 10. С. 1438–41.]. Это было в декабре 1821 года, всего через полгода после женитьбы Орлова. В высших военных сферах началось против него дело, еще более осложнившееся после того, как в феврале следующего года Киселев решился наконец, арестовать В. Ф. Раевского по обвинению в преступной пропаганде среди солдат.

Орлова обвиняли в том, что распустил дисциплину в своей дивизии, потакает солдатам, ведет панибратство с подчиненными, вверил учебные заведения первому вольнодумцу в армии. Ему ставились в вину, между прочим, и приведенные выше два его приказа, а также чтение их перед ротами. Разобрать дело было поручено Киселеву. Он не приписывал Орлову преступных замыслов, – он только обвинял его в слабости и чрезмерной доброте, которую-де пользовались люди, как Раевский, для достижения своих целей; и еще более он осуждал «фальшивую филантропию» Орлова, утверждающего, «что нравственные способы приличнее и полезнее тех, которые невеждами употребляются». Все хорошо в меру, говорил Киселев: не надо калечить людей, но и палки у унтер-офицеров незачем отнимать, да и вообще «мечтания Орлова хороши в теории, но на практике никуда не годятся». Сабанеев и слышать не хотел об оставлении Орлова дивизионным командиром, и сам Киселев соглашался, что Орлову 16-й дивизией более командовать нельзя [30 – Сборник Императорского Русского Историч. Общества. Т. 78. С. 90–118; Заблоцкий-Десятовский. Граф

Киселев предлагал Орлову почетный выход – проситься в отпуск, «на воды», а там ему дадут другую дивизию; но Орлов заупрямился и требовал формального суда. Дело тянулось почти полтора года и получило большую огласку, по-видимому даже за пределами России. «Сабанеев думал, что одним ударом меня сшибет, – писал Орлов А. Раевскому. – Ударил и подул в пальцы: сам себя ушиб. Он надеялся, что при первом случае я отклонюсь от командования дивизии и испугаюсь, но я сам требовал исследования, и тогда он взялся за клевету». Орлов жил в это время то в Кишиневе, то в Киеве, то в своей калужской деревне. Он чувствовал себя совершенно правым. Вскоре после происшествия в Камчатском полку и тотчас после ареста Раевского, он писал жене из Тульчина, куда поехал для разговора о своем деле с главнокомандующим 2-й армии гр. Витгенштейном: «Мой план защиты совсем готов у меня в голове, и если только разум способен одерживать верх над слепым, неразумным и своекорыстным усердием, – я думаю, что настоящий случай докажет мою правоту с полной ясностью и что Сабанеев своей опрометчивостью лишил себя всякого права на расположение наших общих начальников» (16 февр. 1822 г.). А в ноябре он писал кн. Вяземскому: «Дело мое идет и продолжается. Чужие края и отечество наполнились странными слухами и посреди общего вранья трудно постичь настоящий ход дела. Об оном я распространяться не буду, но вообрази себе собрание глупой черни, смотрящей на воздушный шар. Одни говорят – это черт летит, другие – это явление в небе, третьи – чудеса, и пр. и пр. Спускается балон, и что ж? Холстина, надутая газом. Вот все мое дело. Когда шар спустится, вы сами удивитесь, что так много обо мне говорили. Впрочем, все сие дело меня крепко ожесточило и тронуло до крайности. Ежели я достиг равнодушия, то через сильную борьбу» [31 – Русский Архив. 1884. 4. С. 391.]

Он не сдавался на увещания Киселева, настаивал на суде, требовал вопросных пунктов, а тем временем Киселеву пришлось по семейным делам внезапно уехать за границу, где он пробыл до начала 1823 года, – и дело Орлова было решено уже, по-видимому, без его участия: приказом от 18-го апреля Орлов был лишен дивизии и назначен состоять по армии – «то есть по фабрике и заниматься своими делами. Это самое, – писал он жене, – они могли бы сделать уже год назад». Фактически он командовал дивизией только полтора года. Его военная карьера, так блестяще начавшаяся, была кончена. Нового назначения ему не дали, и ближайшие три года, до ареста в конце 25-го года, он занимался приведением в порядок своего имения и стеклянno-фарфорового завода в Масальском уезде, жил то в деревне, то в Москве, ездил в Крым и т. д. [32 – Вот кстати любопытные цифровые данные о его состоянии и о тогдашних ценах. В июле 1822 г. он сообщает жене расчет, по которому хотел бы продать это имение с заводом, если бы нашелся покупатель: 230 заводских рабочих – по 1 тыс. руб., 500 крестьян – по 300 руб., 23 000 десятин – по 30 руб., постройки – 70 000 руб., инструменты – 50 000, материал – 100 000, а всего 1 290 000, но если бы дали миллион, то взял бы.] Он был, по-видимому, на самом дурном счету в смысле политической благонадежности, и его не спускали с глаз. В собственноручной записке Александра I, найденной после его смерти в его кабинете, среди шести видных генералов, наиболее зараженных пагубным духом вольномыслия и являющихся как бы главными очагами заразы в армии назван и Орлов [33 – Русская Старина. 1883, дек. С. 659.], а позднее, в конце 1825 г., Дибич доносил, что Орлов, содействуя распространению тайного общества в армии, старался, но тщетно, заодно с сыновьями генерала Раевского, заразить черноморский флот [34 – Шильдер. Николай I. Т. I. С. 238.]. Этот глупый донос основывался, без сомнения, на том, что летом 1825 г. Орлов ездил в Крым с целью купить участок земли на Южном берегу. Там, между прочим, он в Симферополе свиделся с давним приятелем – Грибоедовым.

IX

Александр Раевский жил эти годы в Одессе, куда в середине 1823 г. переехал и Пушкин. Они прожили здесь вместе год в теснейшей дружбе, если только можно назвать дружбой взаимное тяготение двух противоположных натур. Раевский заслуживает того, чтобы на нем остановиться подробнее.

Один из людей, знавших его в те годы, говорит: «Этот Раевский действительно имел в себе что-то такое, что придавливало душу других. Сила его обаяния заключалась

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org

в резком и язвительном отрицании». Другой – Вигель, ненавидевший его страстно и глубоко, как только и может человек ненавидеть самого себя в своем прообразе, – называет его адским смешением самолюбия, коварства и злобы, говорит о его презрении к людям и глубочайшем эгоизме, о его твердом уме, лишенном благородства. И даже родной отец, этот прекрасный, цельный и умный человек, нежно любивший всех своих детей, с болью свидетельствовал, что у Александра «холодное, себялюбивое сердце». Вот отрывок из его письма к старшей дочери, писанного в 1820 году: «С Александром живу в мире, – но как он холоден! Я ищу в нем проявления любви, чувствительности, и не нахожу их. Он не рассуждает, а спорит, и чем более он неправ, тем его тон становится неприятнее, даже до грубости. Мы условились с ним никогда не вступать ни в споры, ни в отвлеченную беседу. Не то, чтобы я был им недоволен, но я не вижу с его стороны сердечного отношения. Что делать! таков уж его характер, и нельзя ставить ему это в вину. У него ум наизнанку; он философствует о вещах, которых не понимает, и так мудрит, что всякий смысл испаряется. То же самое с чувством: он очень любит Николашку [35 – Ребенок-черкес, приемный А. Н. Раевского, который вывез его 3-х лет раненого с Кавказа и на коленях привез в Киев.] и беспрестанно его целует, но он так же любил и целовал Аттилу [36 – Собака.]. От него зависит, чтобы я его полюбил или, вернее, чтобы я открыл ему мою любовь. Я думаю, что он не верит в любовь, так как сам ее не испытывает, и не старается ее внушить. Я делаю для него все, когда только есть случай, но я скрываю чувство, которое побуждает меня к этому, потому что он равнодушно принимает все, что бы я ни делал для него. Я не сержусь на него за это. Делай и ты так, Катенька; он тебя любит настолько, насколько способен любить. Говорю тебе это для того, чтобы тебе не пришлось страдать от ошибки, тягостной для нежного сердца. Николай будет, может быть, легкомыслен, наделает много глупостей и ошибок; но он способен на порыв, на дружбу, на жертву, на великодушие. Часто одно слово искупает сто грехов». – В этом портрете недостает одной существенной черты: старик не мог знать того сарказма, которым обычно дышала речь Александра, – для этого он слишком импонировал сыну. Но вот две мимоходом брошенные заметки, которые дополняют портрет. В 1823 году Орлов пишет А. Н. Раевскому из Москвы: «Я не видел здесь никого, кроме моих родных, и все мои сношения с ними представляли собою одно непрерывное излияние нежных чувств – вещь, я знаю, тошнотворная для твоего стоического сердца»; а в 1841 г. тот же Орлов пишет жене, что только что был с Эвансом у Александра и что его девочке лучше: «Он осыпал нас обоих сарказмами; это хороший знак: если к нему вернулись его сарказмы, это показывает, что к его дочке возвращается здоровье».

Любопытно, что этот друг Пушкина и прототип пушкинского «Демона» и наружностью удивительно походил на того гетевского друга Мерка, который послужил моделью для Мефистофеля: он был высок и худ, почти костляв, с небольшой головой, длинным и острым носом, очень широким с тонкими губами ртом и маленькими изжелта-карими глазами, которые блеснули сквозь очки наблюдательным и слегка насмешливым взглядом; «он всегда, – прибавляет очевидец, – (я думаю, даже когда спал) сохранял саркастическое выражение» [37 – Русская Старина. 1899, май. С. 241.].

Раевский был, конечно, очень умен. Пушкин, после первого сближения с ним на Кавказе, писал о нем, что он будет «более, нежели известен», а на словах, как передавали слышавшие, выражался еще решительнее: «при тогдашнем всеобщем ожидании политических перемен во всех углах Европы Пушкин говорил об А. Раевском, как о человеке, которому предназначено, может быть, управлять ходом весьма важных событий» [38 – Анненков. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. – Вестник Европы. 1874, янв. С. 8.]. Это был ясный, холодный и твердый ум, гордый и независимый, казавшийся на первый взгляд непобедимым. Его сила заключалась в необыкновенной остроте взгляда, с которой он подмечал иррациональное. Никакое противоречие, никакая туманность мысли, никакой каприз воли не ускользал от него; он мгновенно вскрывал невинную хитрость бедной души человеческой и безжалостно казнил ее самообман одним словом, одной язвительной насмешкой. Он не знал иллюзий, был недоступен им и по злему инстинкту неутомимо охотился за ними в других. И так как всякое чувство – иллюзия и каприз, то перед его взором не могло уцелеть ни одно нравственное чувство: он обдавал холодом энтузиазм и, шутя, показывал элементарный эгоизм на дне всякого благородства. Пушкин так изображает Раевского-демона:

Неистошимою клеветою
Он Провиденье искушал,
Он звал прекрасное мечтою,
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе,

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
На жизнь насмешливо гляде
– ли ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

Но ум, лишенный способности чувствовать силу и красоту иррационального в мире, – плоский и скудный ум, и таков, при всей своей остроте, был ум Раевского. Высшие сферы человеческого духа были для него закрыты. Вигель говорит по поводу его отношений к Пушкину: «Поэзия была ему дело вовсе чуждое, равномерно и нежные чувства, в которых видел он одно смешное сумасбродство». То подтверждается документально. В марте 1825 года, когда Раевский страдал бессонницей, сестра прислала ему для развлечения рукопись «Горе от ума» (он был приятель с Грибоедовым), и вот что он писал ей затем: «Твоя глупая пьеса, которую я читал всю эту ночь, отвратительна во всех отношениях: две-три меткие черты не составляют картины и не могут искупить ни отсутствие плана, ни нелепость характеров, ни жесткость и беспорядочность версификации, достойной Тредьяковского. Меня всегда удивляет, как Грибоедов, с его острым умом, становится тяжел и нелеп, лишь только возьмет в руки перо».

В атмосферу этого-то ума, как раскаленное железо в холодную воду, погрузился Пушкин. Это были два человеческих типа в необыкновенно ярких проявлениях, две противоположные нравственные стихии: наивысшая полнота переживаний и скудность рассудочной мысли, нераздельность порыва – и чувство, парализованное в корне, наивное ясновидение – и жалкая пронизательность рассудка. Но глубокая мудрость Пушкина была безоружна, как голый ребенок, а трезвый ум Раевского был вооружен всем оружием логики; и случилось то, что всегда случается в таких случаях: умный покорило мудрого, и, как всегда, – на минуту. Пушкин ясно говорит:

Но, одолев мой ум в борьбе,
Он сочел меня невольню
Своей таинственной судьбе.

Иначе и не могло быть. На стороне Раевского были два великих преимущества: первое – та непоколебимая уверенность, которая всегда присуща абсолютному скептицизму; эта уверенность сообщала его отрицанию неотразимую убедительность, его сарказму – страшную остроту. Второе – то, что та стихия, которой Раевский был олицетворением, жила и в самом Пушкине. Потому что холодная расчетливость ума присуща поэту даже в большей степени, чем средним людям: без нее как мог бы он мерить, отбрасывать, шлифовать формы? Она обуздана в нем высокой настроенностью духа и несет лишь служебную роль, но в ней – опасное искушение.

Пушкин сам в чудесных строках описал свою дружбу с Раевским [39 – «Демон», черновые наброски этого стихотворения и варианты XLV строфы I гл. «Онегина»]. Во власти, которую приобрел над ним Раевский, было какое-то наваждение, и самому Пушкину чудились здесь дьявольские чары. От него веяло на Пушкина дыханием смерти:

Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу холодный яд.

Юзефович рассказывает, что Пушкин, ходивший к Раевскому обыкновенно по вечерам, выговорил себе право тушить свечи, чтобы разговаривать с ним свободнее впотьмах. И в то же время Пушкин жадно слушал эти речи, он упорно повторяет:

Непостижимое волнение
Меня к лукавому влекло...
Я неописанную сладость
В его беседах находил...

В чем же была тайна этого очарования? Что сообщало такую сладость беседам?

Пред Пушкиным открывалась здесь новая, неожиданная точка зрения на мир. В своей наивной мудрости он ощущал до сих пор мир, как неразгаданную увлекательную тайну, и жадно смотрел вокруг и вглядывался в бездонную глубину бытия, ища разгадать эту тайну; а Раевский давно разгадал ее и знал все с полной ясностью:

Он обещал...
Истолковать мне все творенье

Каждой своей улыбкой, каждым мимолетным сарказмом он говорил поэту: все твои мысли о жизни – вздор; ты видишь в ней глубину и тайну, потому что одурочен романтическим бредом. Взгляни трезво, и ты увидишь, что вся она – смесь немногих простых и в сущности дрянных элементов.

Эта плоская мудрость была бы безвредна для Пушкина, если бы в нем самом не было задатков того же рационализма, да если бы еще ранние страдания не ожесточили его самого и не научили презирать людей. Но голос внутри его сочувственно откликнулся на цинизм Раевского: «Я стал взирать его глазами», говорит Пушкин:

С его неясными словами
Моя душа звучала в лад.

И казалось, секрет действительно разгадан; но, Боже мой, как жалко было то, что открылось, и с какой бесконечной грустью Пушкин говорит: Мне жизни дался бедный клад!

Но и сам Раевский был глубоко несчастлив. Где-то за семью замками эгоизма и холодной рассудочности в его душе жила большая острая нежность, и я думаю, когда он спал, его лицо не сохраняло саркастического выражения, а принимало отпечаток скорби, и еще резче становилась морщина между бровей, унаследованная им от отца. Во время его близости с Пушкиным в Одессе ему было 28 лет; с 15-ти лет он вел походную жизнь, сначала при отце, потом адъютантом при Воронцове во Франции, в 1818 году служил на Кавказе и жил в одной палатке с Ермоловым, в 1820 году товарищем Чаадаева по адъютантству при Васильчикове[18 – Ошибка Гершензона: адъютантом у Васильчикова был Н. Н. Раевский-младший.]. Теперь он полковником празднично жил в Одессе. Он переехал туда вслед за Воронцовым, назначенным на пост Новороссийского генерал-губернатора, – переехал потому, что любил жену Воронцова. Она была ему сродни и давно близка: она была дочерью графини Браницкой, приходившейся ему, кажется, троюродной теткой и не чаявшей в нем души. Он часто гостил у Браницкой в ее царственных поместьях (ей принадлежала Белая Церковь и в трех верстах Александрия с чудным дворцом), и как раз в 1822 году долго жил у нее одновременно с Воронцовой. В это время, по-видимому, он и полюбил ее. Летом этого года он писал сестре из Александрии, что среди царящей там скуки его единственное утешение – Воронцова: «Она очень приятна, у нее меткий, хотя и не очень широкий ум, а ее характер – самый очаровательный, какой я знаю. Я провожу с нею почти весь день». Будучи издавна близок и с мужем, он в Одессе занял в их доме родственное положение. О происходившем здесь существуют только смутные сведения. Вигель, как очевидец, и П. Капнист – по рассказам современников[40 – Русская Старина. 1899, май. С. 143.] передают, что Раевский для прикрытия своего чувства к графине воспользовался Пушкиным: Пушкин не замедлил влюбиться в Воронцову, и на него-то обратилась вся подозрительность, а потом и ненависть мужа. Вигель прибавляет, что, не довольствуясь этим, Раевский еще разжигал безнадежную страсть Пушкина и с дьявольским злорадством тешился его восторгами и мукой. Но достоверно то, что Раевский сам глубоко страдал. В сентябре 1825 года он писал сестре: «Милый друг, я все так же печален, как всегда, мое существование бессмысленнее, чем когда-нибудь, и я не вижу никакой утешительной надежды ни с какой стороны». И в позднейших своих письмах к ней он беспрестанно повторяет то же.

От Пушкина не ускользнула удивительная красота чувства, овладевшего Раевским, этого нежного цветка, расцветшего в безводной пустыне. Уже несколько лет он по-своему рассказал эту историю, возведя в перл создания и демона – Раевского и Воронцову – молодую, счастливую мать, чей быстрый, нежный взгляд и улыбку уст с удивлением вспоминал потом даже Вигель, и чью всегда несколько склоненную вниз головку Пушкин так часто чертил пером в своих тетрадах.

В дверях Эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон мрачный и мятежный
Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомнения
На духа чистого взирал,
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.

Прости, он рек, тебя я видел,
И ты не даром мне сиял:
Не все я в мире ненавидел,
Не все я в мире презирал.

X

В январе 1825 года в Киеве состоялась свадьба будущего декабриста кн. С. Г. Волконского с Марией Николаевной Раевской, сестрой Александра. В своих записках Волконский рассказывает, что, будучи давно влюблен в М.Н. и решив, наконец, сделать предложение, он повел дело чрез своего друга Орлова, при чем категорически заявил, что если его принадлежность к тайному обществу будет признана помехою в получении руки М.Н., то он, хотя с болью, предпочтет отказаться от своего счастья, нежели изменить своим убеждениям. Однако согласие было дано. Раевской было 17 лет, ему 36. Она с грустью шла под венец, покоряясь отцовской воле. «Мои родители, – говорит она, – думали, что обеспечили мне блестящую по светским воззрениям будущность».

Известие о 14 декабря застало Орлова в Москве. Принимал ли он последние 2–3 года какое-нибудь прямое участие в делах тайного общества, об этом ничего неизвестно. По-видимому, от активной деятельности он держался в стороне. Но нет никакого сомнения, что он поддерживал самые тесные отношения с некоторыми виднейшими членами общества, был осведомлен, так сказать, об ежедневном ходе дел в московском кружке и в Южном обществе и пользовался большим престижем среди заговорщиков.

События, разыгравшиеся в московском кружке 16–18 декабря, доказывают, что московские, а отчасти и петербургские заговорщики придавали большое значение участию Орлова, и что первые, идя к нему, были заранее уверены в его полном сочувствии их делу.

Из неясного рассказа Якушкина можно извлечь следующие фактические сведения, подтверждаемые и другими показаниями[41 – Общественное движение в России. Т. I, – статья В. И. Семевского. С. 46 и сл.; Якушкин. С. 74 и сл.; Доклад следственной комиссии, и пр.]

Когда получено было в Москве Семеновым письмо от Пущина с известием о том, что в Петербурге решено сделать попытку восстания, на первом предварительном совещании между Якушкиным, фон-Визинным, Шереметьевым и Митьковым (в ночь с 15 на 16 декабря) условлено было созвать назавтра (или на 18) московских членов к Митькову и пригласить на это собрание Орлова. Между тем Нарышкин выпросил у Семенова письмо Пущина, чтобы показать его Орлову, «как принимавшему участие в делах общества и по своей скромности ему известному»; притом, и сам Пущин писал, чтобы его письмо показали Орлову. Вечером 17 декабря фон-Визин приехал к Орлову и показал ему это письмо. На утро, рассказывает Якушкин, фон-Визин просил его (Якушкина) непременно побывать у Орлова и привести его вечером к Митькову. В это время в Москве уже все знали о неудачном исходе события 14 декабря. Приехав к Орлову под Донской, Якушкин вошел к нему со словами: «Eh bien, general, tout est fini[42 – Итак, генерал, все кончено (франц.)]». Орлов протянул ему руку и с уверенностью отвечал: «Comment fini? Ce n'est que le commencement de la fin[43 – Как кончено? Это только начало конца (франц.)]». Тут вошел незнакомый Якушкину Муханов, который, рассказав подробности о многих петербургских заговорщиках, арестованных после 14 числа, сказал, что надо во что бы ни стало выручить их и что он поедет в Петербург и убьет императора. При этих словах Орлов встал, подошел к Муханову, взял его за ухо и поцеловал в лоб. Якушкин уговаривал Орлова поехать к Митькову, где все его ждали, но Орлов отвечал, что не может приехать, так как сказанся больным, чтобы не присягать сегодня; «а между тем, – пишет Якушкин, – он был в мундире, звезде и ленте, и можно было подумать, что он возвратился от присяги». Совещание у Митькова прошло без толку, и в ближайшие дни московские заговорщики начали присягать; так, 20 декабря принес присягу фон-Визин. 21 декабря первым в Москве был арестован Орлов и тотчас отвезен в Петропавловскую крепость; прочих московских взяли только погодя, Якушкина, например, лишь спустя три недели.

27 декабря был арестован в полку младший Раевский Николай, 29-го в Белой Церкви – Александр, 7 января в Умани взят Волконский, жена которого родила пять дней назад, и к числу этих арестованных надо присоединить еще В. Л. Давыдова из Каменки, брата по матери старику Раевскому. Таким образом, из одной этой семьи взято было пять человек. 5 января, еще не зная об аресте Орлова, и до ареста Волконского и Давыдова[44 – кн. П. В. Долгоруков в своем некрологе кн. С. Г. Волконского (Колокол. № 212, от 15 янв. 1866 г.) говорит, что после 14-го декабря старик Раевский уговаривал Волконского бежать за границу, но тот не послушался его и 7 января поехал в Умань, где и был взят.], старик Раевский писал другому брату, П. Л. Давыдову, что оба его сына взяты и увезены в Петербург. «Если сие происшествие и огорчительно, по крайней мере, не нарушает моего спокойствия: на сыновей моих я не имею надежду, – ты знаешь, брат Петр, что я без основания утверждать не стану, но отвечаю за их невинность, за их образ мыслей и за их поступки... Вот, брат милый, несчастливые обстоятельства. Меры правительства строги, но необходимы, говорить нечего; со всем тем, время для всех вообще чрезвычайно грустное»[45 – Записки кн. Волконской. Приложения. С. 124.].

14 января 1826 г. оба брата Раевские из заключения написали сестре Екатерине Николаевне (то есть Орловой). Александр писал ей: «Мы спокойны и здоровы и тревожимся только о тебе. Ради Бога, береги себя, не поддавайся отчаянью... У нас есть книги, помещение хорошее, и мы ждем отца, который должен теперь скоро приехать». Это письмо из-за разных формальностей было отправлено только 16-го; в промежутке Раевские получили от сестры часы и деньги. 18-го А.Н. уже опять писал сестре: «Спасибо, милый друг, за твое письмо от 13-го. Только через тебя мы и получаем известия о нашей семье. Я очень рад, что отец решил остаться на контракты; это доказывает, что он не беспокоится о нас больше, чем следует; это с его стороны знак доверия к нам. Удивляет меня только, что до сих пор от него нет прямых известий... Что до нас, то мы здоровы и терпеливо переносим свое заключение, так как у нас есть книги, удобная комната, деньги и хорошая пища, которую нам приносят из трактира». На следующий день, 19 января, А. Раевский уже извещал сестру, что и он, и брат свободны.

Они, действительно, не были ни в чем замешаны, и их арестовали только по огульному доносу, основанному, конечно, на их родственной близости с Орловым, В. Л. Давыдовым, Волконским и другими обвиняемыми. Следствие обнаружило их полную непричастность к заговору, и их отпустили. В записках Лорера есть любопытный рассказ о допросе Раевских Николаем. Призвав их к себе, царь сказал Александру Раевскому: «Я знаю, что вы не принадлежите к тайному обществу: но имея родных и знакомых там, вы все знали и не уведомили правительство; где же ваша присяга?» Александр Раевский, один из умнейших людей нашего времени, смело отвечал государю: «Государь! Честь дороже присяги; нарушив первую, человек не может существовать, тогда так без второй он может обойтись еще»[46 – Русский Архив. 1874. I. С. 389.].

Мы знаем, что обычно такие ответы приводили Николая в ярость. Как бы то ни было, Раевских он решил помиловать, как ввиду их невинности, так и ради заслуг, высокого положения и заведомой лояльности их отца. Но в то же время он захотел использовать и это помилование; оправдание Раевских должно было путем соответственной инсценировки получить характер публичного назидания, стать как бы отрицательной казнью. И вот, 20 января оба Раевских были удостоены чрезвычайно любезного приема на аудиенции; царь поручил Александру написать отцу об их освобождении и о готовящемся на его имя указе, обнадежил их насчет Орлова и предложил Александру, который уже несколько лет не служил, вновь поступить на службу или быть камергером. Раевский, поблагодарив, отговорился плохим состоянием здоровья, а в письме к отцу, где он на следующий день описывал эту аудиенцию, он признается, что не желал бы воспользоваться «никакой милостью до тех пор, пока участь мужей моих сестер не будет окончательно решена». 23 января был подписан и затем опубликован в газетах высочайший рескрипт на имя старика Раевского: «С особенным удовольствием могу уведомить вас, что следственная комиссия, рассмотрев поведение сыновей ваших, нашла их совершенно невинными и непричастными к обществу злоумышленников, и что я первый душевно радуюсь, что дети столького достойного отца совершенно оправдались. Пребываю, впрочем, всегда к вам благосклонным. Николай». Сверх того, от следственной комиссии был выдан А. Н. Раевскому «Аттестат» о его невинности[47 – Рескрипт и аттестат напечатаны в «Приложениях» к Запискам кн. Волконской. С. 128.].

XI

Теперь Александр Раевский настойчиво звал отца в Петербург, потому что дела Орлова и особенно Волконского принимали очень серьезный оборот. Николай, конечно, издавна знал о политическом вольнодумстве Орлова и о влиянии, которым он пользовался в оппозиционных кругах общества. Имя Орлова встретил он и в той собственноручной записке Александра I, которая нашлась в кабинете покойного императора[19 – При разборе бумаг Александра I была обнаружена его записка (около 1824 г.), в которой Орлов был упомянут в числе возможных влиятельных «миссионеров» тайного общества.]; а следствие на первых же порах дало веский фактический материал для обвинения. Открылось, что однажды, говоря о Пестеле, властолюбие которого внушало заговорщикам, как известно, большие опасения, Трубецкой сказал:

- Должно будет послать Орлова во 2-ю армию, и сила Пестеля исчезнет.
- Да разве Орлов наш? – спросил Рылеев.
- Нет, – отвечал Трубецкой, – им владеют Раевские; но тогда поневоле будет наш.

Далее было дознано, что накануне мятежа, 13-го, диктатор-Трубецкой послал Орлову в Москву письмо с кавалергардским офицером Свистуновым, который в пути, узнав о событии 14 декабря, сжег это письмо. По показанию Трубецкого, он в этом письме, не упоминая о причинах, звал Орлова в Петербург, но прибавлял: «Если быть чему-нибудь, то будет и без вас, как при вас». Это показывало, что заговорщики во всяком случае имели основание считать Орлова своим единомышленником и придавали большое значение его поддержке. О том же свидетельствовала открывшаяся на допросах история Пушинского письма. Сам Трубецкой на вопрос следственной комиссии, чем была обусловлена его решимость сделать такое предложение Орлову, отвечал: «Решился я сделать столь опасное предложение ген.-м. Орлову по причинам, кои я уже и прежде объяснял: то есть, что ген.-м. князь С. Г. Волконский сказывал мне по приезде моем в Киев, что хотя ген.-м. Орлов теперь и не вмешивается ни во что и от всех обществ отстал, но в случае нужды можно на него надеяться, и что я и сам полагал, что ген.-м. Орлов, которого образ мыслей столь гласен был прежде, по каким-нибудь причинам только притаился, но образа мыслей своего не переменил»[48 – Довнар-Запольский. Цит. соч. С. 311.]. Но главное обвинение против Орлова состояло в том, что, когда Никита Муравьев сообщил ему о решении Якубовича убить императора, он не донес властям.

Орлов был привезен в Алексеевский равелин 29 декабря, а на следующий день Николай велел Сукину перевести его на офицерскую квартиру, «дав свободу выходить, прохаживаться и писать, что хочет, но не выходя из крепости»[49 – Собственноручные повеления Николая на имя ген.-м. Сукина. – Былое. 1906, май. С. 202.]. 31 декабря Бенкендорф наедине снял с него допрос в крепости. 4 января Орлов по требованию Николая представил в следственную комиссию обширную записку о своем отношении к Союзу Благоденствия и к членам тайного общества. Это была чрезвычайно искусная апология, где все фактически верно, но все так сопоставлено и освещено, что получается картина, очень далекая от истины. Она написана в тоне отвращения и ужаса перед безумством заговорщиков; самое неприятное в ней – ее аффектированное чистосердечие и благородство, подчеркиваемое на каждой странице. Из дополнительных запросов, поставленных Орлову следственной комиссией в ближайшие дни, видно, что она не придала большой веры его записке[50 – Эта записка, как и дополнительные показания Орлова, напечатаны в сборнике: М. В. Довнар-Запольский. Мемуары декабристов. 1906. С. 1–26. В предыдущем изложении мы пользовались ею с величайшею осторожностью.].

9 января статс-секретарь Вилламов, фактотум[20 – фактотум – доверенное лицо.] императрицы и свой человек во дворце, записал в своем дневнике, со слов шталмейстера Самарина, сцену допроса М. Ф. Орлова царем[51 – Воцарение императора Николая I (из дневника Г. И. Вилламова). – Русская Старина. 1899, март. С. 670–671.].

Позвав Орлова в свой кабинет, Николай сказал ему:

– В этот момент с тобой говорит не император, но Николай Павлович.

Они уселись.

– Ты любил моего покойного брата; ты знаешь, что он тебя любил также; ты ему обещал оставить это сообщество. Что же ты сделал? Вот письмо, которое ты писал после своего обещания. Что ты можешь ответить? Честный человек сдерживает свое слово, и т. д. Говори, что можешь сказать!

Орлов не дал никакого ответа, несмотря на дружественные увещания императора, который, наконец, поднялся и сказал ему:

– Теперь император приказывает тебе: иди прочь! – При этом государь показал Орлову дверь. Сконфуженный Орлов хотел что-то пробормотать, но император, показывая дверь, сказал ему:

– Император не повторяет; теперь ты станешь отвечать в крепости на вопросы комиссии.

Этот неудавшийся допрос мог бы сильно повредить Орлову, но дело скоро разъяснилось, как видно из следующего письма А. Н. Раевского к сестре Орловой. «Милый друг, – писал он, – теперь я могу подробнее рассказать тебе историю Михаила. Дело в том, что он принадлежал к первому обществу, которое по своим замыслам было гораздо менее преступно, нежели второе, так, что большая часть тех, кто принадлежал к нему, уже освобождены. Но против него было еще другое обвинение, более тяжкое, – это сообщения, сделанные ему в Москве Никитой Муравьевым, и письмо, которое должен был показать ему фон-Визин. В последней вине его оправдало простое сопоставление дат; что же касается первого обвинения, то тут его вполне оправдывает то моральное освещение, в котором представил ему дело Никита. История Мемнона совсем его не касается – тут он чист. Главная ошибка Михаила та, что он нехорошо вел себя с императором, не отвечал как следовало на его дружеские увещания; он оскорбил его лично. Но потом Михаил объяснился: причиной его молчания было присутствие Левашева. Теперь это дело поправлено».

«Моральное освещение» заключалось в том, что, сообщая Орлову о намерении Якубовича, Муравьев настойчиво-де говорил о необходимости всячески помешать этому безумию[52 – Так показал на следствии и сам Муравьев.], так что Орлов, будто бы, и весь разговор принял за хитрость с целью снова завлечь его в тайное общество, чтобы посредством его влияния предотвратить злодейства и несчастья. Это было хорошо придумано, но, конечно, ни этот отвод, ни разъяснение причины своего молчания на царском допросе не спасли бы Орлова: мало ли людей, гораздо менее заподозренных, чем он, ушли в Сибирь по делу 14 декабря! Но он имел могущественного заступника в лице своего брата Алексея.

А. Ф. Орлов был года на два старше Михаила, такой же из себя богатырь и красавец, такая же открытая и талантливая натура, но уже умом и жестче сердцем. Не портя своей карьеры вольнодумством, напротив – искореняя его и в подчиненных, он, в противоположность брату, быстро и без задержек шел в гору, давно уже был генерал-адъютантом и пользовался дружеским расположением великих князей. Мятеж 14 декабря застал его командиром конногвардейского полка. Известно, как много Николай был обязан своей победой в этот день преданности и решимости Орлова: он первый из полковых командиров явился со своим полком на Сенатскую площадь и первый повел его в атаку на карре мятежников. 25 декабря Алексею Орлову пожаловано было графское достоинство, и с этих дней в течение всего царствования Николая он был, как известно, ближайшим другом и доверенным последнего.

Нет сомнения, что он с первой же минуты следствия начал действовать в пользу брата. Выпросил себе у Николая разрешение посещать брата в тюрьме невозбранно[53 – Это разрешение было ему дано на следующий день после водворения М. Ф. Орлова в Алексеевском равелине, 30 декабря (Былое. Там же. С. 202).] и будучи непрерывно осведомлен о ходе допросов, он мог, во-первых, сообщать Михаилу нужные сведения о поведении других подсудимых и руководить его показаниями; кроме того, он, без сомнения, и прямо просил за него Николая. Этим было сразу обусловлено благоприятное отношение царя к М. Ф. Орлову, выяснившееся уже на аудиенции братьев Раевских 20 января, так что в том письме, уже цитированном выше, где А. Н. Раевский описывал отцу эту аудиенцию, он уже мог сообщить успокоительные известия об Орлове: «Его величество велел мне передать тебе относительно Орлова,

что хотя он и виновен и был одним из первых соучастников этого общества, но не разделял его преступных замыслов, и вся его вина заключается в том, что он не открыл того, что знал по этому поводу. Его величество отозвался о нем весьма милостиво, сказав, что сделает все возможное, дабы облегчить его участь; я не имею более никаких опасений относительно нашего дорогого Михаила; приехав сюда, ты довершишь остальное».

«Что до Волконского, – продолжает тут же Александр Николаевич, – то его дело гораздо хуже. Его величество сказал мне, что он даже не достоин того участия, которое ты, вероятно, оказываешь ему, и велел мне предупредить тебя об этом». В конце письма он опять с явной тревогой возвращается к положению Волконского и опять просит отца приехать: «ты можешь своими просьбами много облегчить участь Волконского, а следовательно и Маши» [54 – Письмо А. Н. Раевского к отцу от 21 янв. 1826 было впервые напечатано (в русском переводе) в Русской Старине, 1884 г., май, и затем перепечатано в «Приложениях» к Запискам кн.

М. Н. Волконской, в обоих случаях – с пропуском приводимых здесь в тексте слов Николая I о Волконском; перед нами подлинник письма.] [21 – С. Волконский был отправлен в Сибирь 23 июля 1826 г.]

XII

А Мария Николаевна лежала в это время, тяжело больная после родов, в усадьбе отца, Болтышке, Киевской губ. Она ничего не знала; когда, приходя в себя, она спрашивала о муже, ей говорили, что он уехал по делам службы в Молдавию. Старик Раевский не решался оставить ее одну с матерью, и в то же время рвался в Москву, чтобы успокоить Екатерину Николаевну, которой в ее состоянии (она была беременна) и при ее постоянной нервозности тревога за мужа могла причинить серьезный вред, – и оттуда в Петербург, чтобы выяснить положение дел и, если надо, хлопотать за Орлова и Волконского. Наконец, в 20-х числах января мы видим его уже в Петербурге; по пути он, конечно, останавливался в Москве. Как видно, ему тотчас была дана аудиенция, и он спешил успокоить Екатерину Николаевну: «Милый, бесценный друг мой Катенька, – писал он, – ничего тебе нового еще не скажу, но в полной надежде на хороший конец, кроме брата Василия (Давыдова) и Волконского. Прочти письмо мое к матери, запечатай и отправь по почте. Завтра надеюсь увидеть твоего мужа. Волконскому будет весьма худо, он делает глупости, запирается, когда все известно. Что будет с Машенькой! Он срамится. Государь сказал мне: «в первый раз, как я буду ими доволен (то есть Давыдовым и Волконским), в награждение им позволю тебя видеть».

Чтобы не оставлять долго женщин одних, старик 3 февраля отправил прямо к ним в Болтышевку младшего сына, Николая. Царь позволил ему (как и А. Н. Раевскому) навестить Орлова в тюрьме. Видел ли он и Волконского, мы не знаем. В столице он пробыл недолго; он уехал, по-видимому, 7 февраля, но не к себе, а к дочери в Москву, оставив в Петербурге Александра, который должен был следить за ходом дел и осведомлять о них семью. Александр сам был очень мрачно настроен: его мучил страх за судьбу сестры Маши, мучил вообще разгром, постигнувший столько родных и друзей, мучила разлука; в его письмах к сестре Орловой за это время то и дело встречаются такие строки: «Сам я все еще болен, страдаю скукой и очень печален», или: «Что до меня, то я болен и несчастен больше, чем могут выразить слова».

Орлов писал жене из крепости 3–4 раза в неделю и получал столько же писем от нее; А. Н. Раевский пишет ей каждые четыре дня, с экстрапочтой. Екатерина Николаевна, сначала собиравшаяся в Петербург, довольно скоро успокоилась насчет мужа и осталась в Москве; да и для всей семьи, оглушенной на первых порах, уже в конце января было ясно, что тяжелый удар грозит только Маше, 18-летней, больной Маше. И в письмах А. Н. Раевского к Орловой – на первом плане дело Волконского и участь Маши. 12 февраля, вернувшись от А. Ф. Орлова, через которого он добывает сведения, Александр Николаевич пишет: «Дело Михаила будет кончено чрез четыре недели наверное; стало быть, тебе незачем приезжать сюда. Что до Маши, то ее дела отчаянно плохи, как и дела Василия; для них нет никакой надежды». Через несколько дней после этого Александр Николаевич представлялся при дворе, и 16-го он сообщает сестре: «Государь велел мне передать тебе его привет, императрица также. Все это хорошие предзнаменования для Михаила, потому что для бедной Маши мне ничего не было сказано». Два дня спустя он пишет ей длинное письмо, полное

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
подробностей о деле: «Михаил не в ведении следственной комиссии; он был допрошен только раз, в своей комнате Бенкендорфом. Карюю ему послужит его заключение и, вероятно, отставка. Как видишь, тебе не о чем тревожиться; его не отпускают только потому, что есть и другие члены, как, например, Александр Муравьев, замешанные не более Михаила, но нужные для очных ставок, почему их и держат до окончания следствия, а если освободить Михаила, то пришлось бы освободить и остальных. Что касается Волконского, то нет такого ужаса, в котором он не был бы замешан; к тому же, он держит себя дурно – то высокомерно, то униженнее, чем следует. Его все презирают, каждую минуту в нем открывают ложь и глупости, в которых он принужден сознаваться. Бедная Маша!»[55 – Мы знаем теперь, на что намекает последними словами А. Раевский: это, во-первых, история вскрытия Волконским пакета, адресованного Киселеву, которую передает в своих Записках кн. Волконская, во-вторых, ложь, в которой уличала его следственная комиссия. В «Донесении» последней читаем: «По всему видно, что и деятельнейшие в тайном обществе, точно не стыдясь, обманывали друг друга. Так г.-м. кн. С. Волконский сообщал Пестелю, что он подговорил многих офицеров из всех полков 19-й дивизии... называл некоторых, будто бы, принятых им... и после должен был признаться, что все было им вымыслено из тщеславия, для доказательства его преступного усердия»]. 12 марта Александр Николаевич пишет: «Насчет Волконского не могу сообщить тебе ничего хорошего; теперь он ведет себя, по слухам, как фанатик идеи; но я не ручаюсь, что завтра он опять не начнет хныкать». И беспрестанно в своих письмах он повторяет: «Бедная Маша!» «Мне страшно подумать, что ждет бедную Машу» и т. п. И Орлов 1 апреля писал жене: «Нынче день рождения бедной Маши. Что я могу прибавить к этому, кроме того, что в страхе за нее я повторяю эту короткую молитву: «Умилосердись, Господи, над участью Машеньки!»[56 – Эти слова написаны по-русски.]. Один Бог может дать ей довольно душевной силы, чтобы стать выше своей участи».

Старик Раевский вернулся в Болтышку в последних числах февраля, когда Мария Николаевна уже начала поправляться. Как раз в отсутствие отца ей, наконец, решилась сказать правду. Узнав, где муж, она тотчас решила ехать в Петербург и, несмотря на свою болезнь и весеннюю распутицу, пустилась в дорогу с двухмесячным ребенком; оставив его по пути у гр. Браницкой в Александрии, она прямым путем, минуя Москву, двинулась дальше, а следом за нею поспешала мать. 6 апреля А. Раевский писал Орловой: «Мама приехала сегодня утром, Маша здесь со вчерашнего вечера. Ее здоровье лучше, чем я смел надеяться, но она страшно исхудала и ее нервы сильно расстроены. Бедная, она все еще надеется. Я буду отнимать у нее надежды только с величайшей постепенностью: в ее положении необходима крайняя осторожность». А отец из Болтышки 14-го писал ей вдогонку (по-русски): «Неизвестность, в которой о тебе, милый друг мой Машенька, я нахожусь, мне весьма тягостна. Я знаю все, что ожидает тебя в Петербурге.

Трудно и при крепком здоровье переносить таковые огорчения. Отдай себя на волю Божию! Он один может устроить судьбу твою. Не забывай, мой друг, в твоём огорчении милого сына твоего, не забывай отца, мать, братьев, сестер, кои все тебя так любят. Повинуйся судьбе; советов и утешений я никаких более тебе сообщить не могу».

XIII

И вот началась та изумительная борьба, где слабой женщине-полуребенку был противопоставлен целый заговор мужской хитрости и настойчивости, и где в конце концов, воля сердца все же одержала верх. Наши письма дают возможность проследить перипетии этой борьбы. Все нити заговора держал в своих руках Александр Раевский; отец и старшая сестра, Орлова, действовали с ним заодно, следуя его указаниям. Их цель была – не дать Марии Николаевне последовать за мужем в ссылку; а для этого нужно было, во-первых, устроить так, чтобы она узнала о приговоре как можно позже, по возможности – когда осужденные уже будут отправлены в ссылку, во-вторых, оградить ее от влияния мужниной семьи, так как легко было предвидеть, что Волконские как раз станут внушать ей решимость разделить судьбу мужа. В начале апреля, когда она приехала в Петербург, уже все знали, что большую часть подсудимых ждет Сибирь, и некоторые жены уже готовились последовать за своими мужьями.

В этой борьбе Мария Николаевна стояла совсем одна, ни от кого не встречая дружеской поддержки или совета. Обе семьи – и мужнина, и своя – действовали корыстно, и корысть делала их жестокими, устраняла простоту и тепло отношений. Свекровь, обер-гофмейстерша Волконская, была «в полном смысле слова придворная дама»; она ни разу не съездила к сыну в тюрьму, боясь, что это свидание ее «убьет». Приехав в Петербург, Мария Николаевна сразу почувствовала себя во враждебной среде. Ее первой мыслью было, конечно, просить свидания с мужем. Волконский понимал и отчасти знал, что между ним и женою стали ее родные; недаром он не получил от нее до сих пор ни одной весточки: значит, от нее все скрывают. Еще до приезда жены в Петербург он писал из Алексеевского равелина сестре Софье Григорьевне: «Уже некоторые из жен просили и получили разрешение следовать за своими мужьями к месту их назначения, о котором они будут предуведомлены. Выпадет ли мне это счастье, и неужели моя обожаемая жена откажет мне в этом утешении? Я не сомневаюсь в том, что она со своим добрым сердцем всем мне пожертвует, но я опасаясь посторонних влияний, и ее отдалили от всех вас, чтобы сильнее на нее действовать. Если жена приедет ко мне на свидание, то я бы желал, чтобы она приехала без своего брата, иначе ее тотчас же увезут от меня. Врач был бы при этом нужнее» [57 – «Записки» кн. С. Г. Волконского. Приложение. С. 453.]

По воле императора, А. Ф. Орлов сам отвез ее в крепость на свидание с мужем, и при ней действительно был врач. Это свидание было единственным. Инстинктивно ища в ком-нибудь опоры, Мария Николаевна хотела дождаться любимой сестры мужа, Софьи, с которой не была знакома и которая на время отлучилась из Петербурга. Но А. Раевский стал убеждать ее, что ей необходимо ехать назад к сыну: следствие кончится еще не скоро – можно ли оставлять ребенка так долго на чужих руках? что же касается Софьи Волконской, то они несомненно встретят ее в дороге (С. Г. Волконская ехала из Белева, сопровождая тело императрицы Елизаветы Алексеевны).

Ничего не подозревая, Мария Николаевна сдалась на эти увещания и решила ехать, с целью привезти ребенка в Петербург. Раевский поехал с нею; отныне он уже не отпустит ее ни на шаг. Они поехали на Москву, чтобы повидаться с сестрой, Орловой; здесь Мария Николаевна была принята императрицей. Раевский устроил так, что с Софьей Волконской они разъехались. В Александрии они застали ребенка бледным и слабым после привития оспы. Теперь Александр становится форменно тюремщиком сестры. В Александрии для нее потянулись долгие месяцы ожидания и неизвестности. При ней находилась еще сестра София, гр. Воронцова с детьми тоже была здесь. Раевский удерживал Марию Николаевну под тем предлогом, что теперь незачем ехать, что надо подождать решения дела, а сам скрывал от нее все получаемые письма, из которых она могла бы узнать что-нибудь о ходе следствия. 18 мая он пишет Орловой: «Маша здорова, а ее сын прелестен... Хотя она и ни о чем не догадывается, однако большую часть времени она проводит при своем ребенке, а когда есть чужие, то выходит только к завтраку или обеду; я не мешаю ей в этом, потому что нахожу это удобным. При ней все время Соня; ты знаешь, какой я плохой утешитель, благодаря моему резкому характеру. Графиня Браницкая относится к ней с трогательной добротой. Нового нет ничего. Жду известий от Бенкендорфа или Алексея насчет духовного завещания, как мы условились». «Пиши для меня одного, – просит он 1 июня. – Впрочем, я вскрываю все письма, адресованные Маше, потому что письма тетушки иной раз так зажигательны, что я не могу отдавать их ей». 9 июня он пишет другой сестре, Елене, которая жила при Орловой в Москве: «Спасибо за твои письма, милый друг; только скажи Кате, чтобы она не писала Маше ничего, относящегося до приговора и суда; она забывает, что если бы только Маша подозревала близость суда, то не было бы возможности удержать ее здесь. Необходимо, чтобы она узнала все как можно позже. Последние дни она очень грустна; не знаю, что делать с этим, потому что подавать ей ложные надежды было бы жестоко. Я решил вообще не говорить с нею обо всей этой грустной истории. Ее сын здоров, – это большое счастье». «Маша с каждым днем грустнее, – пишет он неделю спустя. – Она сердится на меня за то, что я не говорю с нею о деле ее мужа, и жалуется на это Соне; но я предпочитаю навлекать на себя ее несправедливые упреки, нежели внушать ей ложные надежды... Со дня на день ждем гр. Воронцова, который привезет нам известия». 22 июня он пишет отцу: «Дорогой отец, в своих письмах ко мне ты говоришь о приговоре, о категориях и пр., и Катя тоже, поэтому я не могу показывать ваших писем Маше, которая, по моему мнению, не должна ничего знать до окончательного решения. Пожалуйста, пишите ей отдельно, не говоря ничего, а мне – со всеми возможными подробностями. До сих пор я получал достоверные сведения благодаря письмам Воронцова к его семье, но теперь он приехал, и мы уже ничего не будем получать из Петербурга. Браницкая уезжает в

Москву в первой половине июля. Маше не хочется оставаться здесь без графини, и я ей ничего не говорю об этом, исключая того, что ты к тому времени, вероятно, вернешься... Вот письмо Бенкендорфа. Предупреждаю тебя, что это – человек грубый и наглый со своими подчиненными; поэтому нельзя вполне доверять его словам. Когда ты будешь ближе к Одессе, ты сам сможешь гораздо лучше уладить дело».

Наконец суд был кончен, и 12 июля подсудимым объявлен приговор. 24 июля А. Раевский писал сестре: «Видишь, как я был прав, решив остаться с Машей, потому что она каждую минуту может узнать о своем несчастье и о всех прискорбных обстоятельствах, которыми оно сопровождалось... Хотел писать тебе много, но моя голова пуста. Я не думал, что разжалование и ссылка Волконского так расстроят меня; я был готов к этому, да и никогда не любил этого человека, а между тем мне больно и за него, не говоря уже о Маше. Не забудь напомнить отцу о денежных делах сына Маши. Волконский написал завещание, оно должно быть у министра юстиции; для этого надо обратиться к Бенкендорфу».

Раевский не торопился сообщать сестре о приговоре; он ждал, конечно, пока Волконского отправят в ссылку. Во всяком случае, главное было сделано; теперь надо было обдумать вторую половину дела, именно – дальнейшее положение Маши и ее сына. И этот вопрос он считал нужным решить также не справляясь о ее собственных желаниях, с той же деспотической непреклонностью воли, с какой он раньше решил, что ей не следует ехать за мужем. 31 июля он пишет Орловой: «Только что получил письмо от несчастного Волконского, копию которого прилагаю здесь. Я принимаю ответственность, которую он возлагает на меня, принимаю не столько ради него и его доверия ко мне, сколько ради Маши, потому что, несмотря на несчастье, постигшее этого человека, я чувствую к нему только жалость. Теперь нам надо внимательно обсудить вопрос о том, что должна делать Маша. Покажи мое письмо отцу и попроси его взвесить мои доводы без предубеждения». Тут он подробно разбирает несколько планов устройства Марии Николаевны на зиму с точки зрения удобства для нее и присутствия надлежащей медицинской помощи для ее ребенка; затем он продолжает: «Не отнесись легко к вопросу о месте жительства Маши и о врачах для ее ребенка. Помни, что в этом ребенке все ее будущее, помни о страшной ответственности, которая падет на нас, если мы не примем всех мер предосторожности, какие в нашей власти. Мы должны строго руководиться наиболее благоприятными вероятностями, а они все или за кн. Репнину, или за Одессу. Что касается ее самой, ее воли, то, когда она узнает о своем несчастье, у нее, конечно, не будет никаких желаний. Она сделает и должна делать лишь то, что посоветуют ей отец и я. Заклинаю тебя показать мое письмо отцу целиком и не поступать по собственному усмотрению; если ты не сделаешь этого, я напишу прямо отцу. Надо действовать рассудительно и оставить в стороне все мелкие соображения».

Итак, Мария Николаевна и теперь еще ничего не знала, хотя со времени приговора прошло уже три недели. Наконец, 26 июля Волконский был отправлен в ссылку. Теперь больше не было смысла скрывать от нее правду, и, вероятно, в начале августа Раевский сообщил ей все сразу – и приговор, и ссылку. Но как грубо он обманулся в своем уверенном предвидении! Он был убежден, что, узнав о своем великом горе, она истает в слезах и впадет в полное бессилие, – а случилось обратное: горе не только не парализовало ее воли, но, напротив, вдруг, как это всегда бывает с женщинами, стянуло в одну точку все тайные силы ее существа, и она явила зрелище такой непреклонной энергии в достижении своей цели, какой невозможно было ожидать от 18-летней избалованной женщины.

В своих «Записках» М. Н. Волконская рассказывает, что, узнав о приговоре, она тотчас объявила брату, что последует за мужем; Александр Николаевич, которому нужно было ехать в Одессу, сказал ей, чтобы она не трогалась с места до его возвращения, но она на другой же день после его отъезда уехала с ребенком в Петербург. Она поехала не прямо в столицу, а в Яготин, Полтавской губ., к брату мужа Репнину; этот брат, Николай Григорьевич, был в детстве переименован высочайшим указом по деду, за прекращением рода Репниных, в князя Репнина. Мария Николаевна нашла шурина больным; как только он поправился, все, то есть он с женою и Мария Николаевна с ребенком, пустились в Петербург [58 – Русская Старина. 1878, июнь. С. 337.].

Раньше ее прибыл туда ее отец, старик Раевский. 23 октября он писал Орловой [59 – По-русски, как и дальнейшие его письма.]: «Государь принял меня милостиво вместе с императрицей; они ехали гулять. Государь хотел уведомить, когда ему угодно будет пожаловать аудиенцию, чего и дожидаюсь. – Я жду Машеньку с сыном вместе с

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
княгиней Репниной всякую минуту. Буду ее удерживать от влияния эгоизма Волконских». А 5 ноября он сообщает брату, П. Л. Давыдову: «Вчера съехала дочь моя Машенька. Ее Репнина обманом склонила отправиться сюда, будто старуха Волконская [60 – У Раевского здесь описка: «Репнина».] едет к сыну; но я все это привел в порядок». Последняя записка старика помечена 20 ноября: «дела мои приводятся к концу, но все еще дней пять пробыть должен, pour toucher un peu d'argent [61 – Чтобы получить немного денег (франц.).] для Машенькиного путешествия, которое будет, как я думаю, в январе. Государь утвердил духовную Волконского, итак ничто меня более не задержит».

Из «Записок» М. Н. Волконской мы знаем, при каких условиях она уезжала в Сибирь, как черство относились к ней родные мужа, не позаботившиеся даже снабдить ее всем необходимым для страшного путешествия. Она уехала, оставив ребенка на попечение свекрови и невесток и дав слово отцу, что вернется через год. Она поехала через Москву, и пробыла здесь два дня; здесь 26 декабря Зинаида Волконская устроила для нее музыкальный вечер, на котором был и Пушкин и который так трогательно описан другим присутствовавшим поэтом, Веневитиновым. По немногим строкам в ее «Записках» Некрасов создал чудную картину ее свидания с Пушкиным на этом вечере:

Печальна была наша встреча. Поэт
Подавлен был истинным горем.
Припомнил он игры ребяческих лет
В далеком Юрзуфе над морем.
Покинув привычный насмешливый тон,
С любовью, с тоской бесконечной,
С участием брата напутствовал он
Подругу той жизни беспечной.
Со мной он по комнате долго ходил.
Судьбой озабочен моею,
Я помню, родные, что он говорил,
Да так передать не сумею:
«Идите, идите! Вы сильны душой,
Вы смелым терпением богаты;
Пусть мирно свершится ваш путь роковой,
Пусть вас не смущают утраты!
Поверьте, душевной такой чистоты
Не стоит сей свет ненавистный.
Блажен, кто меняет его суеты
На подвиг любви бескорыстной!»

и т. д., – но кто не помнит этих строк?

Она ехала с лакеем и горничной. 1 января Александр Раевский писал сестре Орловой: «Путешествие Маши довольно плохо обставлено; при ней нет ни одного надежного человека. Не понимаю, как можно было не принять всех надлежащих мер; кажется, стоило позаботиться. Кроме того, она едет с взвинченной головой; я предпочел бы, чтобы она предприняла эту поездку только из сознания долга, а не по чувствительному порыву. Теперь Бог знает, когда она вернется».

Глубоко и сильно было горе отца. Оно сломало его крепкую натуру, и он недолго пережил разлуку с Машей. Уцелели два его письма к старшей дочери, писанные вскоре после отъезда Волконской. Их нельзя читать без волнения.

«Ты не совсем справедливо судишь, мой друг Катенька, – пишет он 20 марта 1827 г. – И ты также несколько подвержена экзальтации, но энтузиазм в некоторых случаях, до некоторой степени, есть дар Божий, переступая же черту, обращается в сумасшествие».

Если бы я знал в Петербурге, что Машенька едет к мужу безвозвратно и идет от любви к мужу, я б и сам согласился отпустить ее навсегда, погresti ее живую; я б ее оплакал кровавыми слезами, и не менее отпустил бы ее. Если б ты была в ее несчастном положении, я б сделал то же.

Возвратясь из Петербурга, я узнал от брата твоего и сестер, что М. им говорила, что муж бывает ей несносен. Муж и отец, погубив жену, как погубил Волконский, теряет все свои права на сердце жены своей; священные и светские законы уничтожают справедливо брак. Но если из-за этого сердце жены влечет ее к мужу,

как я полагал М., тогда никто не должен препятствовать ей в исполнении ее желаний. Я то и сделал, но полагал не без причины после, что она знала, что она едет навсегда, и что она меня обманывала. – Письмо ее, вчера полученное, доказывает мне противное, – но не менее она не чувству своему последовала, поехав к мужу, а влиянию волконских баб, которые похвалами ее героизму уверили ее, что она героиня, – и она поехала, как дурочка. Нельзя мне не негодовать на нее: она должна иметь более доверенности ко мне и к моему рассудку, чем к скверным В-м; мне и спокойствие, и слава ее должны быть драгоценны. Если б я мог надеяться, что ее заблуждение не исчезнет, тогда б я не жалел о ее поступке; но это не в существе вещей, а между тем она единородного своего сына оставила без слезинки!

Мой друг! сердце отца не может сохранить долго огорчения своего на детей своих, и источник оного доказывает привязанность мою к ней. Я не показал ей ни капли оного и никому не дал подозревать его, кроме тебя. Адресуясь с оным к тебе, я выбрал того, кто не будет возбуждать его. Мой друг, если бы ты знала, что мне стоит Машенька здоровья, ты б извинила мою чувствительность.

Письмо ее от 29-го января, писанное из Иркутска, принесло не малое утешение. Или она не знает, что ей не позволено будет возвратиться, или сие запрещение существует только для удержания жен несчастных от поездки в Сибирь. Милосердый Государь наш не будет наказывать несчастных и невинных жертв своей любви к мужьям за оную, и, конечно, через некоторое время им позволено будет возвратиться. Дай Бог мне дожить до этого! Я тебе говорю, мой друг, что письмо ее усладило мою горечь, и в самую нужную для сего минуту, ибо за час до получения оного я писал к Машеньке, и писал в первый еще раз по ее отъезде».

Второе письмо писано месяцем позже, 17 апреля.

«Неужто ты думаешь, мой друг Катенька, что в нашей семье нужно защищать Машеньку, Машеньку, которая, по моему мнению, поступила хотя неосновательно, потому что не по одному своему движению, а по постороннему влиянию действует, но не менее она в несчастии, какого в мире жесточе найти мудрено, мудрено и выдумать даже. Неужто ты думаешь, что могут сердца наши закрыться для нее? Но полно и говорить об этом. В письмах своих она все оправдывает свой поступок, что доказывает, что она не совсем уверена в доброте оного. Я сказал тебе, мой друг, один раз: ехать по любви к мужу в несчастии – почтенно. Не будем возвращаться к этому предмету. Дай Бог, чтобы наша несчастная Машенька осталась в этом заблуждении, ибо опомниться было бы для нее еще большим несчастием» [62 – Последняя фраза написана по-французски.]

И точно для того, чтобы довершить свой портрет, он пишет в конце этого письма по поводу отставки А. П. Ермолова: «Ермолов заслужил свое огорчение, но не могу не жалеть об нем. Он не великодушен, поэтому будет несчастлив: привыкши быть видным человеком, ничтожность его будет ему мучительна». Сам Раевский не любил громких почестей и всего охотнее, по словам его биографа, «терялся в сельском убежище среди семейства своего».

XIV

Орлов отделался легко: полугодичным комфортабельным заключением в крепости да увольнением со службы, Лорер рассказывает, что А. Ф. Орлов выбрал для ходатайства за брата ту минуту, когда царь шел приобщаться. Сначала Николай отказал ему, но А. Ф. Орлов просил, умолял, обещал за прощение брата посвятить Николаю всю свою жизнь, – и царь, наконец, уступил. «Ночью, – говорил Лорер, – приехал за М. Орловым возок, и так как он недалеко от меня сидел в каземате, то я видел, как Подушкин сильно суетился, как одели генерала в шубу, как его с низкими поклонами усаживали и увезли» [63 – «Из записок декабриста». Русское Богатство. 1904, март. С. 55.]

Герцен, без сомнения, был прав, сказав позднее, что если Орлов не попал в Сибирь, то это была не его вина, а его брата. Не будь Николай I так обязан Алексею Орлову, и, главное, не нуждайся он и дальше в нем, он не выпустил бы из своих рук Михаила. Есть веские основания думать, что он считал М. Ф. Орлова

одним из главных закулисных виновников заговора. Это, конечно, о самом Николае рассказывает Розен, что по окончании суда над декабристами «одно очень важное лицо сказал своим приближенным: «Орлова следовало бы повесить первого»[64 – Барон А. Е. Розен. М. Н. Муравьев. – Русская Старина. 1884, янв. С. 69.][22 – Возможно, подобная сентенция принадлежит не Николаю, а его брату, великому князю Константину Павловичу (ср. запомнившиеся современникам слова Константина Павловича, обращенные к А. Ф. Орлову во время коронационных торжеств: «А жаль, что твоего брата не повесили!»). В устах Николая публичное сожаление по поводу «помилования» Орлова звучало бы как неуместный упрек самому себе.]. Точно так же думал вел. кн. Константин Павлович: когда Николай написал ему, что Орлов знал о намерении Якубовича, он отвечал 14 июня 1926 г.: «Одна вещь удивляет меня – говорю тебе это прямо: именно, поведение Орлова, и как он сумел выйти сухим из воды и избежать суда»[65 – Шильдер. Николай I. Примеч. № 519.]. И еще много позднее, в декабре 1832 г., когда был открыт в Тифлисе заговор, имевший целью вернуть Грузии независимость, Николай писал Паскевичу: «Г.-м. кн. Чавчавадзе был всему известен и, кажется, играл в сем деле роль, сходную с Михайлою Орловым по делу 14-го декабря»[66 – Русский Архив. 1897, янв. С. 9.].

16 июня 1826 г. относительно М. Ф. Орлова последовала высочайшая резолюция: «во уважение прежней отличной его службы и вменяя в штраф шестимесячное содержание в крепости», приказано отставить его от службы с тем, чтобы и впредь никуда не определять, и с обязательством безвыездно жить в деревне; местному же начальству иметь за ним бдительный тайный надзор[67 – Остаф. архив. I, С. 459; Шильдер. Николай I. С. 447.]. 19 июня Орлов был уже в Москве, в объятиях своей жены. Она родила через несколько часов после его приезда. 30 июня, извещая свою сестру о своем освобождении и о благополучном рождении дочери, он пишет: «Следственно, все мои несчастья кончились, славу Богу, и могу я надеяться на спокойную и счастливую жизнь в семейственном круге. Что же касается до помыслов о службе и блестящем состоянии в обществе, вы знаете так же, как и я, что в душе моей все таковые мысли давно уже исчезли. Спокойствие и счастье в умеренности, вот мой удел. Он не хуже удела прочих для благоразумного».

Спокойствие и счастье в умеренности – как это было далеко от мечтаний о бурной жизни за родную страну, от надежд на «событие»! Правда, в эту минуту Орлов ошибался: как человеку, спасшемуся из кораблекрушения, ему казалось, что на свете нет ничего желаннее тихой пристани и семейного очага. Но он не догадывался, как скудно окажется это счастье в умеренности и как будет он томиться до конца. Лучше бы ему было не спастись так удачно!

Ближайшие годы он жил в своей калужской деревне, занимаясь хозяйством, заводом и политической экономией. В 1831 году он сделал попытку выйти опять на сцену: он обратился к Николаю с просьбой позволить ему вступить в военную службу рядовым. Николай велел сообщить ему, что ему разрешается жить в Москве и чтобы прислал своего сына для воспитания в Пажеском корпусе. На это Орлов отвечал, что с благодарностью принимает разрешение жить в Москве, сына же своего хочет воспитать сам[68 – Из писем Кристина. – Русский Архив. 1884. № 6. С. 148.].

И вот он переехал в Москву, где купил и великолепно отделал себе большой дом на Пречистенке[23 – Ныне Кропоткинская ул., 10.]. Здесь он и прожил до смерти, все время под тайным надзором; лишь незадолго до смерти, в 1841 г., ему был дозволен и въезд в Петербург. Он занял видное место среди московского общества, войдя в круг тех передовых людей, которые собирались в салонах Свербеевой, Елагиной или у него самого. Всех ближе он был с Чаадаевым; их связывали долготелая дружба и общность положения. Орлов пользовался большим уважением молодежи, как либерал и западник. У него бывал молодой Герцен, и Пушкин, наезжая в Москву, знакомился у него с литературной молодежью из «Московского Наблюдателя»[24 – Гершензон не вполне точен: в 1836 г. Пушкин действительно встречался в доме Орлова с издателями «Московского наблюдателя» (см. его письмо к жене от 11 мая 1836 г.), однако познакомился с ними значительно раньше.].

Герцен художественно изобразил Орлова в последний период его жизни[69 – Соч. Герцена. Русск. изд. Т. VI. С. 4 сл. Т. II. С. 131.]. Герцен познакомился с ним в начале 30-х годов. «Тогда он был еще красавец: «чело, как череп голый», античная голова, оживленные черты и высокий рост придавали ему истинно что-то мощное. Именно с такою наружностью можно увлекать людей. Возвращенный из ссылки, но не прощенный, он был в очень затруднительном положении в Москве. Снедаемый самолюбием и жадой деятельности, он был похож на льва, сидящего в клетке и не смеявшего даже рычать. Faute de mieux[70 – За неимением лучшего (франц.).] он

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
около себя небольшим кругом знакомых и проповедывал там свои теории; главное лицо по талантам и странностям занимал в этом кругу Чаадаев. Подавленное честолюбие, глубокая уверенность, что он мог бы действовать с блеском на высших правительственных местах и воспоминание прошедшего, желание сохранить его как нечто святое, ставило Орлова в непрерывное колебание. «Стереть прошедшее» и явиться какою-либо Магдалиной, говорил один голос; «не сходить с величественного пьедестала, который дан ему прошедшим интересом, и оставаться окруженным ореолом оппозиционности», говорил другой голос. От этого Орлов делал непрерывные ошибки, вовсе без нужды и без пользы громогласно иной раз унижался и приобретал один стыд. Ибо те, перед которыми он это делал, не доверяли ему, а те, которые были свидетелями, теряли уважение... И в самом деле, неприятно было видеть на московских гуляньях и балах Михаила Федоровича в то время, как все его товарищи ныли и уничтожались на каторге. Орлов не умел носить траур, который ему повелевала благопристойность высшая».

«От скуки Орлов не знал, что начать. Пробовал он и хрустальную фабрику заводить, на которой делались средневековые стекла с картинками, обходившиеся ему дороже, чем он их продавал, и книгу он принимался писать: «О кредите» [71 – книга Орлова «О государственном кредите» вышла анонимно в 1833 г. и позднее (1840) была переведена на нем. яз.: см. Русский Архив. 1899. I. С. 633–34.], нет, не туда рвалось сердце, но другого выхода не было. Лев был осужден праздно бродить между Арбатом и Басманной, не смея даже давать волю своему языку».

Герцен оставил Орлова в 1834 г и снова увидел уже незадолго до его смерти, в 1841 г.: «Он на меня сделал ужасное влияние: что-то руинное, убитое было в нем. Работавши 7 лет и все по пустому, чтоб получить поприще, он убедился, что там никогда не простят, что ни делай. А юное поколение далеко ушло и с снисхождением (а не с увлечением) смотрело на старика. Он все это чувствовал и глубоко мучился, занимался отделкой дома, стеклянным заводом, чтоб заглушить внутренний голос, но не выдержал».

Орлов умер в Москве в 1842 г., 18 марта, в день сдачи Парижа.

«Он умер спокойной, величаво, – говорит Герцен. – Все путное в Москве показало участие к больному, даже незнакомые. Оценили, поняли, благословили в путь. Толпа народу была на отпевании и проводила его. После его смерти полиция опечатала бумаги и отослала в Петербург».

Внуки Орлова хранят листок бумаги, где рукою Чаадаева написан проект надгробной надписи другу: «Здесь покоится прах ген.-м. М. Ф. Орлова. Современники помнили, что он участвовал в достославном увенчании всенародной войны против Франции, подписав 1814 года, марта 18, сдачу Парижа. Друзья любили его добрую душу. Боже, помилуй эту добрую душу! Родился 1788 года, скончался 1842 года, марта 18» [72 – Шевырев в 1843 г. написал некролог Орлова и послал его для прочтения Чаадаеву. В Императорской Публ. Библиотеке находится рукописное письмо последнего к Шевыреву без даты: «Покорнейше благодарю вас, милостивый государь Степан Петрович, за сообщение вашей статьи умной, благородной. Все друзья и ближние нашего доброго Орлова вам за нее скажут спасибо. Без вас он бы пропал без вести. От всей души желаю, чтоб с вами цензура обошлась милостиво. Душевно вам преданный П. Чаадаев». Цензор не пропустил этой статьи, назвав Орлова «каторжным». – Остаф. архив. IV. С. 232.]

Иного рода эпитафию написал ему Герцен в «Былом и Думах»:

«...В Люцерне есть удивительный памятник; он сделан Торвальдсеном в дикой скале. Во впадине лежит умирающий лев; он ранен на смерть, кровь струится из раны, в которой торчит обломок стрелы; он положил молодецкую голову на лапу, он стонет, его взор выражает нестерпимую боль; кругом пусто, внизу пруд, все это задвинуто горами, деревьями, зеленью; прохожие идут, не догадываясь, что тут умирает царственный зверь».

«Раз как-то долго сидя на скамье против каменного страдальца, я вдруг вспомнил мое последнее посещение Орлова...»

А остальные наши герои?

Гроза 14-го декабря убила их всех, но по-разному. Если Орлова она отравила ядовитыми газами, которые медленно убивали его в продление 16-ти лет, то старика

Раевского она контузила на смерть. Он умер в сентябре 1829 г. Он давно простил свою Машеньку. Он делал выговоры сыну Николаю, который в своих письмах к сестре никогда не посылал поклона Волконскому [73 – Воспоминания М. В. Юзефовича. – Русский Архив. 1880. III. С. 432.]; а накануне смерти он сказал одному из своих друзей, указывая на портрет Марии Николаевны, висевший в его комнате: «Вот самая удивительная женщина, какую я видел» [74 – Русская Старина. 1878, июнь. С. 338.].

Александр Раевский так и не вернулся больше на службу и всю свою остальную жизнь проходил «отставным камергером». Он вернулся в Одессу и жил то здесь, то у Браницкой, смотря по тому, где жила Воронцова. В 1828 г. эта история кончилась: ее кончил Воронцов, и так же грубо, как четыре года назад с Пушкиным. Что собственно произошло, мы не знаем, но в один прекрасный день граф Воронцов послал письменное заявление полицеймейстеру одесскому о том, что Раевский, встретив его супругу на загородной прогулке, преследовал ее своими любезностями; он жаловался, как частный человек (а он был местным генерал-губернатором), угрожая в то же время прибегнуть к высшей власти, если не получит удовлетворения. – Получив эту бумагу, полицеймейстер лично отправился к Раевскому, который счел нужным дать письменный отзыв. Он отвечал, что не говорил графине ничего дерзкого. «Мне весьма прискорбно, – писал он, – что граф Воронцов вмешивает полицию в семейственные свои дела и через то дает им столь неприятную гласность. Я покажу более умеренности и чувства приличия, не распространяясь далее о таковом предмете. Что же касается до донесений холопий его сиятельства, то оные совершенно ложны» [75 – Рассказывают, что перед своим вынужденным отъездом из Одессы А. Н. Раевский нашел случай встретиться с гр. Воронцовой на улице или на бульваре, и при свидетелях сказал ей: «Je pars. Soignez bien vos enfants!» (или «ma fille») (я уезжаю. Хорошо заботьтесь о наших детях (или «моей дочери») (франц.).].

В это время старик Раевский еще был жив. О дальнейшем ходе дела красноречиво повествует его письмо на имя Николая I от 12 июля 1828 г.:

«В. и. в., всемилостивейший государь, граф Воронцов извещает меня письмом, что сын мой, по высочайшему вашему повелению, выслан из Одессы в Полтаву за разговоры его против правительства и военных действий, оправдываясь предо мною, что он сему не причиною.

«Тридцать с лишним лет я знаю графа Воронцова.

«Несчастливая страсть моего сына к графине Воронцовой вовлекла его в поступки неблагоприятные, и он непростительно виноват перед графинею.

«Графу Воронцову нужно было удалить моего сына, по всей справедливости, что мог он сделать образом благородным: графиня Браницкая могла о сем просить вас для спокойствия семейного. Но он не рассудил сего. Граф Воронцов богат, военный генерал-губернатор, может деньгами и другими награждениями найти кого донести и присягнуть в чем угодно графу Воронцову.

«Всемилоостивейший государь, сын мой не в состоянии говорить ни мыслить против правительства; накажите его за его неблагоприятие, но не по клевете, на него взнесенной; первое может его ввести в рассудок, а последнее – погубить; если же я обманул вас, я преступник, накажите меня по вине моей.

«Имею счастье быть и проч. Николай Раевский, генерал от кавалерии» [76 – Русская Старина. 1885, ноябрь. С. 402–403.].

В Полтавской губ. Александр Николаевич оставался заточенным довольно долго; еще год с лишним спустя он только по специальному разрешению мог съездить оттуда к умирающему отцу. После смерти отца, когда его мать и сестры уехали жить в Италию, он заперся в Болтышке, чтобы привести в порядок расстроенное хозяйство и исправно посылать им деньги на жизнь. Из экономии он не завел своего стола, а ел то, что ела застольная, и одевался почти так же. Это продолжалось года три. За это время Болтышку посетила холера, и он сделал все возможное, чтобы облегчить бедствие, не жалея трудов и нимало не думая о себе; он всегда интересовался медициною. Самоотвержение, выказанное им при этом, могло быть обусловлено не столько альтруизмом, сколько известным складом характера; но в то время, говорят, один из его знакомых выразился по этому поводу: «Пушкин его демоном зовет, а люди в Болтышке ангелом». – Потом он получил право жить в столице, поселился в Москве, женился, скоро овдовел и затем весь отдался воспитанию своей

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
малютки- дочери. Потом и дочь выросла и вышла замуж (за гр. Ностица), и уже не на что было тратить остаток так бесцельно растроченных душевных сил. Зная его рассказы о сильном впечатлении, которое произвела на него книга Бокля; он прочитал ее всю сразу, – а увлекшись какой-нибудь книгой, он имел обыкновение ложиться в постель и приказывал затворить ставни в комнате, зажечь лампы и никого не впускать. Последние несколько лет он жил в Ницце, где и умер на 74-м году, 23 октября 1868.

И отца, и мужа, и братьев, и всех сестер пережила Екатерина Николаевна Орлова, умершая только в 1885 году.

Глава вторая

В. С. Печерин [77 – Глава вторая, занимающая важное место в «Истории молодой России», здесь опускается, так как полностью входит в книгу «Жизнь В. С. Печерина», публикуемую в данном томе [Ред.]].

Глава третья

Н. В. Станкевич [25 – Глава третья. Н. В. Станкевич. Глава создана на основе статьи – Гершензон М. Н. В. Станкевич (1813–1840). – Новый путь. 1904. № 11. С. 51–82. В Отделе рукописей РГБ в фонде М. О. Гершензона хранятся «Библиографические заметки о Н. В. Станкевиче и выписки из его сочинений и писем», 1904. Автограф, 14 лл. (ОРРГБ. ф. 746. М. О. Гершензон, 6, 4), а также «Заметки о Н. В. Станкевиче», 1900-е гг. Автограф, 1 л. (ОРРГБ. ф. 746, 6, 5). 16 ноября 1904 г. Гершензон писал по поводу статьи «Н. В. Станкевич», что уже получил корректуру, а ее объем будет составлять два листа (Гершензон М. О. Письма к брату. 1927. С. 166).] [78 – Письма Станкевича изданы впервые П. В. Анненковым в 1857 г. Они обнимают время с 1831 по 1840 г. и составляют том в 353 страницы. Его Сочинения (стихи и проза) изданы А. И. Станкевичем в Москве, в 1890 г. Настоящий очерк основан преимущественно на материале писем; кроме цельных выдержек, отмеченных кавычками, мы очень часто пользуемся в тексте отдельными выражениями писем, не указывая этого. [724 – Гершензон имеет в виду книгу: Станкевич Николай Владимирович. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. М., 1857, а также: Н. В. Станкевич. Стихотворения. – Трагедия. – Проза. М., 1890.]]

I

Станкевичу идет 20-й год (он родился в 1813-м). Он мил, изящен, умен и беззаботен. Со стороны глядя, можно подумать, что он счастлив и живет непосредственно всем существом. Но это не так: едва заметная трещина уже бороздит его ясный образ. Ему чего-то недостает, какое-то неясное чувство томит его минутами. Что же это? – Это избыток душевной энергии, не находящей исхода, не тяжкая мука душевного страдания, а светлая опьяняющая грусть, от которой сердце ширится и на глазах выступают слезы.

Душа полна через край, хочется перелить в чужую душу избыток чувства, но люди или не понимают, или скажешь совсем не то, что хотел сказать, «потому что человек, которому говоришь, как-то самым видом своим сбивает сказать не то, что чувствуешь, а другое» [26 – Станкевич Н. В. Неверову Я. М. 26 марта 1833 г. – Станкевич Н. В. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. М., 1857 (далее – Переписка...). С. 8. В тексте «... ибо человек, которому говоришь... как-то видом уже сбивает сказать не то, что чувствуешь, а другое»]. Пришел с лекций,

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
подурачился, поболтал с товарищем, послал Ивана в книжную лавку за книгой, а сам, переодевшись, сел к столу, раскрыл Коха и... задумался; что-то проскользнуло по душе, что-то в ней зашевелилось, и быстро, как летнее облако, надвинулось знакомое чувство – полу-грусть, полувдохновение. Невыносимо! Пробишь излить душу в стихах – стихи не клеятся, возьми аккорда два на фортепиано, но звуки режут слух, – а сердце сильно бьется, на глазах слезы, и, кажется, одно небольшое напряжение, и чувство хлынет наружу. Станкевич определяет это душевное состояние, как безнадежность соединиться с тем, к чему душа стремится; а что это, к чему стремится его душа, он не знает. Счастлив, кто в такие минуты сильно полюбит, еще более счастлив художник, который разрешает это хаотическое чувство, воплотив его в стройном создании. А Станкевич не поэт и не любит; оттого его волнение бесплодно перегорают внутри и мучит.

Станкевич сам спрашивает себя, почему на него часто находят эта тоска, и перебрав разные причины – болезнь, заботу об экзаменах и пр. – решает положительно: потому, что он живет

Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви[27 – Пушкин А. С. К*** («я помню чудное мгновенье»), 1827 г. Из письма Станкевича Н. В. Неверову Я.М. 26 марта 1833 г. – Переписка... С. 9.]

Его жизнь кажется ему сухой, скучной, досадной: «душа просит воли, ум пищи, любовь предмета, жизнь деятельности»[28 – Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 18 мая 1833 г. – Переписка... С. 13. В тексте издания 1857 г. «жизнь деятельности!»]. Иначе сказать, избыток чувства ищет овеществиться: ему нужно из смутного волнения превратиться в определенное упоение.

Для человека, который, как Станкевич, лишен творческого дара, упоение вне любви достижимо лишь пассивным путем: он неспособен внутри доводить свое чувство до гармонического аккорда, ему нужен для этого внешний стимул. Наилучшим таким стимулом является искусство. Переживая вслед за поэтом или его героем волнующие их ощущения, душа живет полною жизнью, избыток чувства неопределенного, хаотического, выливается в реальные, хотя и чужие, формы, мучительная своей бесформенностью Sehnsucht[79 – Страстное желание, томление (нем.)] уступает место стройной, осмысленной полноте чувства. Он советует Неверову прочитать два стихотворения Козлова: «На отъезд» и «Новые стансы»[29 – Козлов И. И. На отъезд («Когда и мрак, и сон в полях...») <1825 г.>, Новые стансы («Прости! уж полночь; над луною...») <1826 г.>]. «Когда душа твоя будет в неопределенном грустном состоянии, прочти их: ты сосредоточишься, и тебя обнимет грустное, гармоническое чувство. Я вчера сидел неподвижно, повторяя стихи гладкие и задумчивые!»[30 – Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 1 июня 1833 г. – Переписка... С. 32.] Он – не Миньона, его не обманула любовь, безнадежность не воскрешает пред ним детских воспоминаний об Италии, – но, ведь слушая песнь Миньоны, он глубоко переживает ее страдания и тоску, он готов схватить друга за руку и сказать:

Dahin, dahin

M?cht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn[80 – Туда, туда, хотела б я, о, мой любимый, устремиться (нем.)][31 – Гете И. В. Годы учения Вильгельма Мейстера (1795–1796), слова из первой песни Миньоны (1784), книга третья, глава первая. Из письма Станкевича Н. В. Неверову Я.М. 11 июня 1833 г. – Переписка... С. 35.]

Действительность не дает никакого удовлетворения его повышенному чувству, и он отворачивается от нее, чтобы всецело погрузиться в искусство или задушевную беседу с другом: здесь полный простор мечтам о такой жизни, где все – красота и упоение. «Приходи ко мне – пофантазируем»[32 – Близкая фраза встречается в записке: Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 6 апреля 1832 г. «...я уже исповедался, завтра будут у нас служить очень поздно, в 8 часов, а во время ее ты посидишь хоть у меня, – а до нее и после нее мы пофантазируем». – Там же. С. 5; и в письме: Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 18 мая 1833 г. «Ты любил побегать по двору в эту погоду. Когда бы здоровье, и я бы не отказался (сейчас только заметил я, что у бумаги поля загнуты, и что письмо надобно писать не так, как лекции С-а). Теперь бы мы с тобой пофантажировали...» – Там же. С. 14.], такие записочки он пишет Неверову. Оттого же он любит театр: «Излить свои чувства некому – там, в храме искусства, как-то вольнее душе... Театр и музыка располагают душу мечтать об искусстве, о его совершенстве, о прелести изящного, делать планы эфемерные, скоропреходящие... но тем не менее занимательные»[33 – Станкевич Н. В. Неверову

Так это напряжение, бесформенное чувство, не находя себе объекта в жизни, питается мечтами. Станкевич сам хорошо знает, что «прекрасное» его жизни – не от мира сего. И то, что он это знает, есть, наряду с избытком бесформенного чувства, его вторая отличительная черта. Он сильно чувствует – и тонко анализирует себя в самый момент волнения; в нем столько же рефлексии, сколько непосредственности. В результате получается такого рода двойственность: он живет мечтами, но в то же время смотрит на них со стороны. Он знает, что они призрачны, но он любит их, ему сладко с ними, и он играет ими, как дитя игрушками, и не хочет с ними расстаться, потому что вне их – скучная проза жизни. 1 января 1834 года, перед тем как ехать на бал в Благородном собрании, он в разговоре с одной знакомой жаловался на долгое молчание Неверова; та вздумала утешить его предположением, что Неверов, может быть, в дороге – едет в Москву. Предположение было нелепо, и Станкевич совершенно не верил ему, но оно было так соблазнительно, а Красов, склонный верить всему чудесному, так горячо доказывал его вероятность, что Станкевич был увлечен. Рассказывая об этом на следующий день в письме Неверову, он пишет: «Я видел, что это мечта, но она мне нравилась, очищала мне душу своей торжественностью» [34 – Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 2 января 1834 г. – Там же. С. 79.], и ему стало грустно, когда тлетворный воздух бала спугнул его мечту. Вспоминая стих немецкого поэта: Nur der Irrtum ist das Leben [81 – Жизнь есть только заблуждение (нем.)] он проговаривается: «А может быть, то только и есть Wahrheit [82 – Истина (нем.)], что мы называем Irrthum [35 – фраза из стихотворения Ф. Шиллера «Кассандра» (1802)]. – Из письма Станкевича Н. В. Неверову Я.М. 20 мая 1833 г. – Переписка... С. 27.]. Впрочем, если и нет, то наше мечтательное счастье лучше действительного уже и потому, что мы, вероятно, наслаждения в этом так называемом счастье не нашли бы». Любопытное признание и верное пророчество: оно не замедлит оправдаться на самом Станкевиче.

Та, если так можно выразиться, платоническая полнота чувства, которую давали искусство, фантазирование и дружба, разумеется, не могла насытить алчущей души, тем более, что развитое сознание безошибочно определяло сравнительную ценность мечты и жизни. Здоровый инстинкт минутами внушал отвращение к бесплотным теням, населявшим душу; хотелось живой, определенной, личной страсти, в которой перегоравшее внутри чувство нашло бы себе полное воплощение, – хотелось любви. Он мечтает о разгульной грозе, которая пронеслась бы над жаждущей душой, о страсти пламенной и бурной: «Пускай бы опустошительный огонь ее прошел по всему ничтожному бытию моему, разрушил слабые узы, которыми оно опутано, испепелил томительное горе и рассеял беспокойные призраки, блуждающие во мраке душевном! Я бы воскрес, я бы ожил! Если б эта любовь была самая несчастная... кажется, все я был бы лучше» [36 – Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 15 сентября 1833 г. – Там же. С. 51.].

Как раз в это время у него завязывается «деревенский роман». Девушка, по-видимому, искренно любит, да и сам Станкевич увлечен. Но странное дело, вместо того чтобы отдаться страсти, как можно было бы ожидать, он с первой же минуты враждебно настораживается против нее. Он начинает испытывать девушку: «решается на всякий случай сначала переменить обращение», чтобы определить, не есть ли ее чувство – простой интерес; ради искуса он удаляется от нее и тем доводит ее до слез, но и слезы не побеждают его скептицизма, потому что они могут быть следствием раздраженного самолюбия. Наконец он кладет резолюцию: она мила, но не имеет глубоких чувств, и, значит, он не может ее любить. Но девушка увлечена и страдает, спрашивается, что же он должен сделать? «Теперь, – пишет он другу – два крайних вопроса метафизических решены: was kann ich wissen, was darf ich hoffen; остался средний: was soll ich thun? [83 – «что могу я знать, на что смею надеяться... что я должен делать?» (нем.)] [37 – Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 8 августа 1833 г. – Там же. С. 45–46.] Принять ее любовь он не считает себя в праве, порвать отношения – значит причинить ей сильную боль. После долгих колебаний и нескольких мучительных сцен он решается кончить роман мирным разрывом.

В этом эпизоде для нас важно не то, что Станкевич не полюбил своей знакомки, – в этом человек не волен, – а то, что, ощутив приближение действительного чувства, он поспешно ретировался. Вся его хитрая расчетливость – не что иное, как средство замаскировать собственную трусость; очевидно, любовь манила его лишь в отвлечении, реальная же страсть пугает его пуще всего. Дело в том, что «мечты», как ни ясна ему их призрачность, уже успели стать той атмосферой, вне которой ему трудно дышать. Только в них он находит ничем не возмущаемую красоту и

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
безграничный простор, действительность же давит его грубой законченностью своих форм и оскорбляет примесью прозы во всяком проявлении красоты. Поэтому, едва коснувшись жизни, он бежит от нее назад, в привольный мир неопределенных чувств, смутного волнения, мирных и красивых фантазий, где нет ни уз, связывающих навеки, ни резких очертаний. И он оправдывает это бегство сознательно: прилепиться к чему-нибудь единичному и реальному представляется ему изменой высшему назначению человека; как ни сладко, «исторгшись из скуки жизни, отдохнуть в объятиях тихого существа»[38 – Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 14 октября 1833 г. – Там же. С. 55.], он должен бежать этого счастья, чтобы не сбиться с пути. Два цветка, говорит Шиллер, манят человека: надежда и наслаждение; кто сорвал один из них, тот не получит другого[39 – Шиллер Ф. Отречение. 1784. Из письма Станкевича Н. В. Неверову Я.М. 24 июля 1833 г. – (Переписка... С. 41.) Ср.: Милюков П. Любовь у «идеалистов тридцатых годов». – Из истории русской интеллигенции. Сборник статей и этюдов. СПб., 1902. С. 80.]. А для него без надежды нет счастья, ибо надежда есть сознание своего права на счастье, своей правоты; значит, он должен навсегда отречься от наслаждения. Это сознание наполняет гордостью его сердце: он – мученик за идею, ему суждено, отказавшись от пошлого счастья толпы, всю жизнь стремиться к идеалу без надежды достигнуть его. Станкевичу, вероятно, не слишком трудно было расстаться с той девушкой, но он чувствует себя героем: «Как отрадно разбить упоительный сосуд, поднесенный любовью, и сказать: я выше толпы счастливых, я имею право сделать упрек судьбе...». И он наивно прибавляет: «Есть прелесть в отчаянии, с которым сморишь на прелестное создание, с которым никогда, никогда не соединишься, с которым разлучила тебя твоя мысль, высокая, благородная!»[40 – Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 14 октября 1833 г. – Переписка... С. 55–56.].

Эта искусная апология, очевидно, в принципе освящала бегство от действительности. Сейчас речь шла только о любви и личном счастье, но принцип допускал приложение ко всякому факту жизни. С этой точки зрения, на которую становится здесь Станкевич, принятие любого реального момента оказывается изменой идеалу и, стало быть, единственное достойное человека призвание заключается в том, чтобы растить и холить в себе самодовлеющие идеалы. Еще до «деревенского романа» он так изображал «подвиг жизни»:

Когда любовь и жажда знаний
Еще горят в душе твоей,
Беги от суетных желаний,
От убивающих людей.

Себе всегда пред всеми верен,
Иди, люби и не страшись!
Пускай твой путь земной измерен –
С непогибающим дружись!

Пускай горенье света взывает
Звездой злосчастья над тобой
И мир тебя возненавидит;
Отринь, попри его стопой!

Он для тебя погибнет дольний;
Но спасена душа твоя!
Ты притечешь самодовольный
К пределам страшным бытия.

Тогда свершится подвиг трудный:
Перешагнешь предел земной
И станешь жизнью повсюдной –
И все наполнится тобой.[41 – Станкевич Н. В. Подвиг жизни,

1833 г.]

Но если так, во что же обращается жизнь? Что такое действительность?

В его глазах она лишена самостоятельного значения; она – не что иное, как поставщик сырого материала, из которого дух творит свои идеалы. Минутная любовь, пережитая Станкевичем, сослужила ему свою службу: в его фантазии «невольно составилась» чудный идеал, «прототип женщины»[42 – Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 8 августа 1833 г. и 14 октября 1833 г. – Переписка... С. 46, 56.], сосредоточивший в себе все, что мир представляет светлого, божественного. Если голод сердца и не

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
совсем утолен этим призраком – что делать! Надо терпеть и не унижаться до примирения со скудной действительностью.

Теперь Станкевич сам определяет свое состояние, как разрыв с миром. Его идеализм скрывает в себе внутреннее противоречие: это не победа над жизнью, а только ссора с нею. Станкевич сознает, что жить всей полнотой чувства в реальном он не способен, потому что слишком привязался к своим призракам, не может не прикидывать жизни на их мерку и, значит, не может не видеть ее несовершенств; но он готов проклинать этот свой скептицизм, делающий для него невозможным блаженство. Неискоренимое чувство, помимо всяких рассуждений, говорило ему, что здоровое, человеческое, истинно радостное – только в одном: в бодром наслаждении действительной жизнью, в реальном личном упоении, то есть в том именно, что стало для него уже невозможным. С горечью говорит он о своем демоне-мучителе, о враждебном духе, льющем отраву на лучшие дни его жизни. Его душа, говорит он, была расположена все любить, все обнимать, но, странствуя, еще недолго, по миру, она, огорченная, вернулась и заперлась в себе: скучно без мира, скучно и в мире! [43 – Из письма Станкевича Н. В. Неверову Я.М. 19 октября 1833 г. – Переписка... С. 58.] Если бы не прекрасные призраки, ласкающие его порою, ему нечем было бы жить; но это не призраки желаний, а просто игра души с самой собою: это – жажда чего-то высшего, не знающая определенной цели, она спасает душу от усыпления, но не может дать ей крыльев.

Из этой коллизии нужно было во что бы то ни стало найти выход, потому что она грозила моральной смертью. Очевидно, что отречься от одного из двух элементов в пользу другого для Станкевича было невозможно: он слишком сжился с мечтой, чтобы удовлетвориться пошлой действительностью, какова она есть, и слишком ясно сознавал бесплотность мечты, чтобы, отвернувшись от жизни, всецело замкнуться в мире своих призраков. В этой разорванности между двумя мирами нельзя было жить. Нормальный ход развития неизбежно должен был привести к синтезу, в котором идеальное и реальное органически претворилось бы в одно целое, и Станкевич хорошо понимал это. Стремление выработать в себе цельность духа, без которой для человека немислима никакая разумная жизнь, становится для него вскоре главной задачей. Ему придется истратить на эту работу немало лет, понадобится для исцеления еще одно тяжелое столкновение с действительностью, и цели он достигнет иным путем, чем думал, – но основной вопрос уже теперь ясно стоял перед его сознанием. Мало того: в теории все элементы положительного мировоззрения уже были у него налицо, – оставалось только оформить идеал, а главное, превратить его из мысли в прочное регулирующее чувство. Туманные идеалистические «призраки» недаром так долго обитали в душе Станкевича: они взрастили на благодатной почве высокие помыслы; и нам надо теперь узнать, что это была за почва и каковы были эти помыслы.

II

Религиозное чувство неискоренимо в душе Станкевича. Его переписка не дает материала для определения отличительных признаков его веры, но главное ее свойство выступает с полной ясностью: это была религия оптимистическая, светлая и радостная. В основе ее лежало врожденное чувство гармонии бытия.

По своему инстинктивному отношению к вселенной все люди, от неграмотного простолыдина до ученого, делятся на два типа – гармоничный и дисгармоничный. Первый характеризуется врожденным чувством законности мирового порядка, полным согласием собственного разума с закономерностью, господствующей в природе; это – души абсолютно акклиматизированные. Если это человек, одаренный творческим гением, то его творчество представляет собою положительный полюс мировой гармонии, точку, где собраны в ослепительный пучок многие из тех лучей вечной красоты, которые действительно каждый миг мириадами играют перед нами, но которые врозь, не собранные и не отраженные художником, едва видны нашему близорукому глазу. Таков наш Пушкин. Второй тип характеризуется врожденной дисгармоничностью, разладом между собственным сознанием и космическим разумом. Это люди с неприспособленной к миру психикой, вечно несчастные этой своей неприспособленностью; в их душе неистребимо живет сознательное или бессознательное представление о мире таком, каким он должен быть и каков он не есть, и чувства их улавливают в мире лишь те черты, которыми он уклоняется от

этого идеального образа. Если такой человек – поэт, то его творчество становится отрицательным полюсом мировой гармонии, так сказать, фокусом мировых диссонансов. Таков наш Лермонтов. Каждый художник может быть подведен под одну из этих категорий, и трудно спорить, какая из них в искусстве больше служит человечеству: обе, хотя разными путями, ведут его туда, где сияет недостижимый храм ничем не омраченной красоты, ничем не возмущаемой радости. Ибо искусство не имеет другого предмета, как мировая гармония и стремление к ней; потому и Жуковский сказал: «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли»[44 – Заключительные слова драмы В. А. Жуковского «Камоэнс» (1839)].

Под один из этих двух типов может быть подведен, повторяю, всякий человек. На низком уровне развития оба они являются нередко в полной своей чистоте, как бессознательное чувство гармонии бытия или, напротив, его дисгармонии. Но развитое сознание вносит сюда неисчислимыя уклонения и порождает в обоих типах множество разновидностей. Одну из этих разновидностей представлял собою Станкевич: присущее его натуре инстинктивное утверждение мира, как гармонического, было его разумом создано и вполне освящено; чувство законности, разумности и благолепия мирового порядка сделалось у него сознательным убеждением и в годы возмужалости составляло основу как его религии, так и его этикофилософского мировоззрения. Естественно, что одна и другое были у него ярко окрашены оптимизмом.

Религия для него – прежде всего радостное утверждение мира. В ней одной все диссонансы разрешаются в гармонию, через нее душа примиряется с Божеством, благодаря ей жизнь снова одевается в радужные ткани, становится прекрасною и высокою. Мир есть стройное целое, одушевленное разумом, и человек – частица этого гармонического целого; ощущать эту разумную стройность мирового порядка и свою принадлежность к ней – неискоренимая потребность человеческого духа, и это достигается чрез религию, ибо она одна в состоянии перешагнуть бездну, которая всегда остается между бесконечностью и человеком и которой не может наполнить никакое знание, никакая система.

Es herrschet eine allweise G?te ?ber die wel[84 – Всеведущее добро господствует над миром (нем.)][45 – Миром управляет всеблагая премудрость (у Станкевича – Миром управляет премудрая благодать((нем.)]) таково любимое изречение юноши Станкевича и его основное убеждение. Знакомство с ранним учением Шеллинга помогло ему выработать в себе на почве этого принципа стройное мировоззрение. Вот как он формулирует его в начале 1833 года.

Знание, основанное на вере в наши чувства, говорит нам, что природа существует. Она – целое, составленное из неделимых, и каждое из них есть часть общей жизни природы. В каждом эта жизнь действует независимо от него, почти всегда без его сознания и всегда без участия его воли, повинуюсь своим законам, которые вечны и непреложны, следовательно составляют сущность ее. Но если большая часть неделимых не сознает себя, то жизнь, во всех них разлитая, сознает себя, ибо действует целесообразно. Итак, жизнь в целом есть разумение.

Роды существ составляют лестницу, по которой жизнь, сознающая себя в целом, идет к самосознанию в неделимых. Она действует равно разумно в камне и в человеке, развивается в обоих по тем же законам, но только в человеке она сознает себя отдельно. Таким образом, человек не потерян в бесконечности творения; в нем действует разумная жизнь всей природы, имеющая свою волю независимо от его воли: он рождается, растет, чувствует жажду и голод. Но это не единственное его назначение: в нем повторена природа; он так же сознает себя отдельно, как природа сознает себя в целом. Поэтому он в состоянии отождествлять себя с мировым разумом, может проникнуть его законы, провидеть его цели, чувствовать красоту мироздания: он верит, надеется, любит, он ощущает, желает знать и действовать.

Итак, человек в настоящем значении слова, то есть сохранивший в себе все то, что составляет сущность человеческого бытия, *humanitas*, – есть образ Творца (Разума). В этом смысле человек не может возвышаться; он только не должен падать, должен оставаться верным своей прекрасной сущности. Но он уклонился от своего назначения: сейчас в каждом человеке, наряду с частицами его подлинного, божеского образа, есть низшие свойства.

Так как в человеке всеобщая жизнь отдельно сознает себя свободною и разумной, то история, очевидно, есть часть жизни природы, творимая с сознанием. Какой же путь

должно указать ей сознание? Иначе говоря, в чем заключается прогрессивное начало истории?

Оно заключается в очищении человека от дурных свойств, исказивших его благую природу, и в совершенствовании его, в возможно большем приближении ко всеобщей жизни. Шеллинг, считавший естественным влечением человека эгоизм, видел прогресс в улучшении средств противодействовать эгоизму, в уравнивании эгоизмов чрез действие и противодействие. Эта мысль кажется Станкевичу оскорбительной: для него история – постепенное развитие человека и общества, их постепенное воспитание.

На основе этой философской теории складывается в 1834–1835 гг. этическое мировоззрение Станкевича. Осенью 1834 года он пишет Неверову, что прошло время, когда каждая блестящая мысль казалась ему истиной; теперь вместе с верой в возможность разрешения высших вопросов в нем умалился и научный интерес. Для него настала пора деятельности, и все сильнее и сильнее он ощущает потребность веры, то есть нравственных убеждений: теперь он ищет уже не одной истины, а с нею и добра. Он придает теперь небольшую цену философским системам, дорожа в них только методом; по существу же, говорит он, хороша только та система, «которая не мешает верованиям, составляющим интегральную часть человеческого существа, и содержит побуждения к добрым подвигам» [46 – Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 19 сентября 1834 г. – Переписка... С. 98.].

Его главное и самое задушевное, сладчайшее, как он выражается, верование – убеждение в постепенном совершенствовании личности и общества. Высшую обязанность человека он видит в посильном содействии этому совершенствованию: «если у меня теперь есть какая-нибудь *idea fix* [85 – Незыблемая (неизменная) идея (лат.)] то это о воспитании в духе нравственности и религии, о возможности поддержать ее и об ускорении всеми силами человечества на пути его к царству Божию, к чести, к вере» [47 – Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 11 декабря 1834 г. – Там же. С. 116.].

Отсюда развивается у Станкевича строго-последовательная система личного поведения. Человек должен или делать добро, или готовить себя к деланию добра. Делать добро – значит всеми силами способствовать восстановлению в человечестве того идеального образа, который ныне затемнен; и это священнейший долг человека. Но исполнять этот долг может лишь тот, кто сам чист, а средства исполнения указывает наука; поэтому ближайшая обязанность человека – совершенствовать самого себя в нравственном, а затем в умственном отношении. Очистить свою душу и образовать свой ум, потом заключить с единомышленниками союз дружбы и чести и общими силами трудиться на пользу отечества, указывая ближним истинный путь, давая им понятие о чести, о религии, о науках, – так рисуется Станкевичу идеальный план его жизни.

А для этого главное условие – сберечь в себе душевное пламя, не дать опыту охладить в себе усердие к добру. Таких людей, сохранивших и в лета мужества благородный жар юности, Станкевич ценит выше всего. По его мысли, человек должен сознательно лелеять в себе эту небесную искру и избегать всего, что способно погасить ее. Убеждая Красова не бросать поэзии ради «дельных занятий», он пишет ему: «Пусть мал и незаметен будет художнический талант твой; но эти пламенные, искренние беседы души с самой собою не сохраняют ли ее энергии, не спасают ли ее сокровища от наития тяжких житейских смут и забот?» [48 – Станкевич Н. В. Красову В.И. 20 августа 1835 г. – Там же. С. 145–146.] и то же требование он на первом плане ставит самому себе. Оглядываясь теперь на то время, когда его ум всецело был поглощен жаждой знания, он видит главный плод своих занятий не в самом познании, а в том, что «высокие предметы исследований поставили его душу выше благ мира сего» [49 – Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 16 октября 1834 г. – Там же. С. 101. В тексте письма «поставили душу выше благ мира сего».], развили и укрепили в нем энергию души, направленную на добро. Он искал истины – и в этих поисках запаса побуждениями к деятельности: так, говорит он, в средние века искали философский камень, и нашли тысячи целебных составов для болезней. Роковая болезнь (чахотка), настигшая Станкевича уже при выходе из отрочества в юность и часто превращавшая его жизнь в пытку. Сашит его не потерей здоровья и перспективой ранней смерти: больше всего угнетает его мысль, что болезнь может похитить у него душевную энергию, что он ничего не сделает для людей. «Один вопрос я задаю себе: что я должен делать в настоящем положении? Я сделаю все, что от меня зависит. Последнее письмо твое утешило меня, наставило. Да, я буду мужем, я притерплюсь к боли; но жаль, если я сделаюсь холодным стойком, я от

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
себя этого не надеялся! Я трепещу при мысли, что энергия души моей погибнет
невозвратно!»[50 – Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 24 января 1835 г. – Там же. С. 121–122.]

III

Итак, жизнь – подвиг. В теории это было уже окончательно решено, но слабое сердце пока еще не хотело мириться с этой безотраднейшей перспективой. Хотелось личного счастья, любви, и лукавая мысль подсказывала, что любовь подаст сил на подвиг. В лучшие свои минуты, весною, Станкевич ощущает пламя в своей груди, но эта теплота простирается на всю природу и потому не согревает его души. Он говорит себе, что его душевная жажда только тогда будет утолена, когда вся красота мироздания олицетворится для него в одном существе; иначе чувство истощится в тщетном стремлении к необъятному, к безответному: оно требует близкого, видимого, осязаемого, оно жаждет исповедаться, быть понятым и разделенным; «не пожмешь руки великану, называемому вселенной, не дашь ей страстного поцелуя, не подслушаешь, как бьется ее сердце!»[51 – Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 30 марта 1834 г. – Там же. С. 87.] Не мудрено, что стоический обет, исторгнутый у 20-летнего Станкевича печальным концом его первой сердечной истории, был очень скоро забыт; за нею непосредственно следуют две другие, из которых последняя (с Л. Бакуниной) глубоко врезывается в его жизнь и духовное развитие.

С осени 1833 года начинается сближение Станкевича с пылкой и восторженной девушкой, имени которой мы не знаем[52 – Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 19 октября 1833 г. – Там же. С. 58–60.]. Он находит ее вполне достойной любви, но, хорошо помня недавний урок, принимает строгие меры предосторожности; тем не менее, девушка влюбляется в него. Он не любит ее, жалеет ее и пугается ее страстности, временно отдалается, потом возвращается – и в конце концов запутывается в такую историю, которая способна отравить существование: тут и бешеные сцены ревности, и собственное раскаяние, и сплетни, и прямые упреки со стороны знакомых в желании увлечь и обмануть девушку. Тем временем Станкевич знакомится с сестрой М. А. Бакунина, девушкой редких душевных качеств, и сам увлекается не на шутку. Безумный поступок его экзальтированной поклонницы ускоряет ход событий: в порыве великодушия она открывает его чувство Бакуниной (они были подруги) и умоляет ее полюбить Станкевича. Действительно, здесь зарождается серьезное взаимное чувство.

История с Бакуниной продолжалась у Станкевича целых два года, до самого его отъезда из России. Было бы излишне воспроизводить здесь ее разнообразные перипетии. Станкевич то убеждается, что его не любят, то счастлив взаимностью, то с ужасом замечает, что в нем самом нет любви. Кончилось дело, однако, взаимным признанием в любви; оставалось сделать последний шаг – просить руки девушки, как этого с уверенностью ждали и она сама, и ее родители. Но тут мужество покидает Станкевича: начинается мучительный самоанализ, приводящий его к заключению, что он принял фантазию за действительное чувство. Изнуренный нравственно и физически, не решаясь открыто порвать (этого не позволяла и болезненность Бакуниной), он решает отложить развязку на долгий срок и осенью 1837 года уезжает за границу, куда гнали его также необходимость основательно полечиться и желание *ex ipsa font*[86 – Из самого источника (лат.).] воспринять философию Гегеля.

Тяжелый урок не мог пройти даром. Станкевич не мог не спросить себя, в чем заключался источник страданий, которые он сам перенес и которые причинил другим. Он так давно жаждал любви, ожидал найти в ней полноту жизни, разрешение всех сомнений, силу на подвиг добра: и вот он полюбил – и оказалось, что тревога ума ничуть не улеглась, душа не вознеслась на высоту, жизнь не наполнилась. Кто же виновен в этом?

Любимая девушка? Нет, она вполне достойна любви. – Виновен он сам: его дух еще не созрел для такой любви. Он хотел быть счастливым и думал получить это счастье внешним образом; и в этом его ошибка, ибо, чтобы полюбить, надо сначала стать человеком. «Потребность любви должна быть вызвана не бедностью души, которая, чувствуя свою нищету и будучи недовольна собой, ищет кругом себя помощи; нет,

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
любовь должна выходить из богатства нашего духа, исполненного силы и
деятельности и отыскивающего в самой любви только новую, высшую, полнейшую
жизнь»[53 – Там же. С. 157, отд. пагинация.]

И плодом этой основной его ошибки была другая: нетерпеливо ища того, что было
ему еще не под силу, он принял – и уже не в первый раз – фантазию за
действительность и едва не стал добычей призрачного чувства. Правда, руководимый
верным чутьем, он и на этот раз во-время спохватился, но каких страданий ему это
стоило и какой горький осадок стыда и раскаяния остался в его душе! Теперь ему
было ясно, что личного счастья – или, что то же, любви – нельзя искать: она, как
благодать, как вдохновенье, сама нисходит на душу; мечты о ней – мечты о чуде,
плод нашей воспаленной фантазии. Стань человеком, и тогда, может быть, любовь
увенчает твою жизнь; чудо может совершиться, но его нельзя искать, иначе либо
истощишь свои силы в бесплодных поисках, либо примешь призрак за
действительность и погибнешь. Долг человека – исполнить свое человеческое
назначение, и Божий промысл каждому подает средства на это: тому счастье,
другому бедствие. В исполнении этого долга – внутреннее блаженство; правда, оно
не насытит сердца, но внешнее блаженство не дается тому, кто его ищет. «Да!
Кажется нужно что-то от мира для полноты этого счастья, но да будет воля Его! Я
не молюсь о своем счастье, – с меня довольно быть человеком. Я говорю: Господи!
Буди в сердце моем и дай мне совершить подвиг на земле; и если слезящий взор
обратился к нему с другою, невольною молитвою, я говорю, – но да будет не яко же
аз хочу, но яко же Ты хочещи. Когда же вся тяжесть пожертвований без
вознаграждения представляется мне, я прибавляю: Господи! Если возможно, да мимо
идет чаша сия!»[54 – Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 6 августа 1835 г. – Там же.
С. 143–144. Ранее П. Милюков приводил характерное письмо Н. В. Станкевича
М. А. Бакунину от 9 января 1838 г.: «Любовь у меня всегда была прихоть
воображения, потеха праздности, игра самолюбия, опора слабодушия – интерес,
который один мог наполнить душу, чуждую подлых потребностей, но чуждую и всякого
истинного, субстанционального (говоря языком философским) содержания.
Действительность есть поприще настоящего, сильного человека – слабая душа живет
в jenseits [потустороннем], в стремлении – и стремлении неопределенном; ей нужно
что-то (потому что в ней самой нет ничего определенного, что бы составляло ее
натуру и потребность); (но,) как скоро это неопределенное сделалось etwas
[чем-то] определенным, душа опять выбивается за пределы действительности. Это
моя история; вот явная причина всей беды» (Милюков П. Любовь у «идеалистов
тридцатых годов...». С. 81).]

IV

История с Бакуниной сыграла важную роль в духовном развитии Станкевича. Та
двойственность стремления к чистой человечности и к личному счастью, которая
дольше парализовала его усилия, исчезла; ему стало ясно, что второе невозможно
без первого, и все его помыслы свелись теперь к одной цели: стать человеком.
Конечная цель давно была ясна, теперь и путь к ней был расчищен. Станкевич
рвался вон из России, в Берлин, где надеялся найти средства для решения своей
задачи[55 – Ср.: Милюков П. Любовь у «идеалистов тридцатых годов...». С. 80.]

Мы видели выше, на чем оборвалось развитие его морально-философской мысли.
Основным отличием человека среди всех неделимых, образующих вселенную, является
то, что в нем одним мировым разумом сознает себя отдельно или, вернее, семится
достигнуть такого самосознания. Тот, в ком мировой разум достиг полного
самосознания, есть совершенный человек; он исполнил свое высшее назначение, став
последним звеном в цепи существ, которыми жизнь, сознающая себя в целом,
восходит к самосознанию в неделимых, он повторил в себе мир, он – микрокосм.
Таков идеал, к которому человек должен сам стремиться и увлекать других, так как
люди в огромном большинстве еще весьма далеки от своего назначения. Какими же
средствами располагаем мы для достижения этой цели? Другими словами (так как
стремление к ней есть тенденция космическая, вложенная в человека самой
природою), какие силы и свойства в человеке являются субстратом предназначенного
ему развития?

В религии человеку дано полное предчувствие его слияния с космосом, в искусстве
– частичное. Но одного предчувствия недостаточно: необходимо, чтобы оно

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
превратилось в сознание; и эта, опять-таки космическая, необходимость сказывается в нас врожденной жаждой знания, притом знания, сведенного к единству. Наш ум по самой природе своей стремится к совершенному согласию с самим собою, и это эмпирически-данное его свойство именно и есть та внутренняя сила, которая ведет человека к совершенству, ибо полное тождество сознания в человеке означает не что иное, как полное его слияние с космосом, то есть то состояние, когда мировой разум вполне сознал себя в человеке.

Итак, конкретно высшая задача жизни для каждого человека должна заключаться в том, чтобы стать сознательно-цельным, иначе говоря, внести единство в мир своих верований и знаний. Это единство достигается познающим умом чрез раскрытие одушевляющей мир единой всеобъемлющей идеи; отсюда следует, что без знания нет разумной жизни и без единой идеи нет знания. Наука порождена стремлением человеческого духа во всем отыскать себя и свое единство с жизнью вселенной, и интерес всех наук один: во всех мировых явлениях обнаружить действие той единой идеи, которая, составляя основу всего сущего, только человеком может быть сознана, как таковая. Хранилищем, куда стекаются эти однородные результаты всех разнообразных наук и где они сводятся к единству, является философия; таким образом, она – не наука в ряду наук, а высочайшая из всех, служащая им основанием, душой и целью. Она по существу – наука о единстве мира или о мировом разуме, и ее задача – в сознании воссоздать весь мир из единой идеи.

Отсюда выясняется нравственная природа знания. Истинное, то есть руководимое философией, знание и есть тот путь, которым человек приближается к совершенству, то есть к тому своему состоянию, когда мировой разум достигнет в нем полного самосознания, и с этой точки зрения знание религиозно в подлинном смысле слова, ибо такое знание есть единственный способ достижения той цели, которую религиозное чувство непосредственно провидит. Мало того: в своей кульминационной точке, то есть достигнув полного философского синтеза, знание сольется с религией воедино, потому что философия докажет то, что религия априорно утверждает, именно присутствие в мире единой зиждательной идеи. Сознание мирового единства и собственного единства с миром превратится тогда у человека в одно непосредственное чувство, которое субъективно будет выражаться в нем полным и постоянным согласием с самим собою, т. е. с божественным началом в себе, совершенной его целостностью. Это проникнутое сознанием чувство есть чувство всеобщей жизни, иначе говоря, любовь; следовательно, совершенный человек будет целостен в любви, и конечная цель сводится к тому, чтобы наполнить свою жизнь той любовью, для которой нет борьбы и нет жертвы. Любовь, инстинктивно присущая всем созданиям и, следовательно, представляющая собою чувство не индивидуальное, а принадлежащее мировой жизни, есть душа творения: не ею ли поддерживается жизнь в неделимых? – Она у них средство размножения. Поэтому именно в любви человек сливается с всеобщей жизнью; только любя он познает, и только любя действует прекрасно, т. е. так, как действует мировая жизнь. Таким образом, человек, целой натурой живущий в любви, есть человек совершенный: он неделимое, сознательно живущее по тем же законам, как и вселенная, – он исполняет свое назначение. Самому стать таким и приблизить других к этому идеалу, такова цель, которую ставит себе Станкевич. В жизни нет другой отрады, как любить людей и служить им, говорит он; в этой мысли наш разум сознает свою любящую природу. Но это служение не может заключаться в том, чтобы доставлять им средства к спокойной и сытой жизни, к материальному счастью; истинный долг наш – пробуждать в них человеческую сторону.

В сентябре 1836 года Станкевич пишет Грановскому: «Грановский, веришь ли? Оковы спали с души, когда я увидел, что вне одной всеобъемлющей идеи нет знания, что жизнь есть самонаслаждение любви и что все другое – призрак. Да, это мое твердое убеждение. Теперь есть цель передо мною: я хочу полного единства в мире моего знания, хочу дать себе отчет в каждом явлении, хочу видеть связь его с жизнью целого мира, его необходимость, его роль в развитии этой идеи. Что бы не вышло, одного этого я буду искать» [56 – Станкевич Н. В. Грановскому Т.Н. 29 сентября 1836 г. – Переписка... С. 197.]. Это истинное знание, философию, Станкевич строго отличает от науки: первая есть цель, вторая – средство, и наука, самое себя признающая целью, теряет смысл. Нелепо всю жизнь считать ноги у козявок, закрыв глаза на вселенную; но как средство, прагматический интерес в науке имеет важное значение. Такая научная работа требует специальной склонности, особой страсти, преодолевающий все труды, а к такой страсти способны, по мнению Станкевича, только люди односторонние. Ему самому нужно было только – стать человеком.

V

Осенью 1837 года Станкевич уехал за границу, откуда уже и не вернулся. Эти последние три года его жизни (он умер 25 июня 1840 г.) отмечены удивительной цельностью стремления. На первом плане стояла теоретическая задача: уразуметь весь мир из одной идеи. Эта задача решалась системой Гегеля, где все стороны бытия материального и духовного были сведены в один изумительно-стройный процесс развития единого начала – абсолютного Духа. Пристальным изучением Гегеля и наполнены всецело, в смысле работы, последние годы Станкевича. Эти занятия, как мы видели, не были для него делом умозрительного интереса. Он был убежден, что по мере того, как его уму будет уясняться единство бытия, в его душе будет все более воцаряться гармония, венцом которой должна явиться самодовлеющая любовь; и это было самое незабываемое, самое драгоценное его убеждение, с которым одним были связаны все его надежды. Еще накануне смерти он выражал его с непоколебимой уверенностью. «В ходе науки, – писал он, – ум постепенно очищается от чувственной коры. Он прозревает. Отдельные мертвые существования постепенно сдвигаются с мест своих, чтоб исчезнуть в общем веселом хороводе жизни. Туман реддеет, ночные призраки бегут – и вдруг полный свет любви изливается на сознание и довершает дело преображения. Вот жизнь, говорит философ, понятая умом, которая сначала являлась нашему глазу в грубой непосредственности. Хорошо. Не заботься уже более об этих призраках, которые прогнало солнце. Это не истина, не абсолютное, – и твой труд был только ход к абсолютному. Теперь ты в нем забудь прошедшее. Разверни нам новую жизнь. Под лучами этого солнца построй нам мир, проникнутый этой любовью! – «Но здесь кончается наука». – Да. Философия есть ход к абсолютному. Результат ее есть жизнь идеи в самой себе. Наука кончилась. Далее нельзя строить науки и начинается постройка жизни»[57 – Там же. С. 222–223, отд. пагинация.]

При такой уверенности в существовании органической связи между умственным развитием и постепенным просветлением духа было естественно, что теоретическая работа сопровождалась у Станкевича непрерывным самоанализом. По мере усвоения системы Гегеля, то есть по мере уразумения все новых и новых сторон бытия с точки зрения развития единой идеи, он естественно должен был спрашивать себя: приблизился ли он соразмерно к согласию с самим собою, к душевной гармонии?

Этот вопрос был для него источником сильных мучений. В своих письмах за этот период он беспрестанно то жалуется, то негодует на свою разорванность, на внутренний раздор, на отсутствие душевной устойчивости. С горечью говорит он о том, что, кроме способности ощущать радость и горе и еще рефлексировать, нет в нем силы, которая имела бы право называть себя: я. Он раб своей капризной природы, им играют впечатления: погода, дорожные приключения, каждый переулочек в мало знакомом городе могут похвастать своим могуществом над ним. Когда же будет достигнута эта желанная верность духа самому себе? Для него нет истины выше той, что человек должен в самоотречении обрести себя (*im Aufgeben seiner selbst sich selbst finde*[87 – в отказе от самого себя находить себя (нем.)])[58 – Станкевич Н. В. Грановскому Т. Н. 20 мая 1838 г. Там же. – С. 250.]; отчего же она только в голове? «Сердце сухо, пусто и капризно оттого, что ему этого *sich selbst finden* нужно. Отчего же это ему не дается? Ведь когда хочется есть, и бульон стоит перед тобою, ты просто нальешь его себе и выпьешь. Отчего тут не так?»[59 – Станкевич Н. В. Грановскому Т. Н. 20 мая 1838 г. – Там же.] Минутами ему кажется, что он никогда не достигнет внутреннего единства, – тогда им овладевает отчаяние: назади вздор, призраки, впереди голо. Он говорит себе, что мало знать добро и красоту в их отвлеченной сущности, необходимо научиться узнавать их в конкретном, а для этого лучшее средство – созерцание общего, человеческого. Поэтому он решает заняться историей, которая одна спасает человека от субъективных капризов, одна может дать ему опору. Когда после немецкой истории Менцеля он непосредственно переходит к чтению романа Жорж-Занд, его охватывает ужас[60 – Станкевич Н. В. Фроловым Е. П. и Н. Г. 13 июня 1838 г. – Там же. С. 255. Имеются в виду сочинение К.-А. Менцеля «*Geschichte der Deutschen*» (1815–1823) и роман Ж. Санд «*Леон леони*» (1835). «История Германии» (вернее – «История немцев») Менцеля упоминается также в письме Т. Н. Грановскому 20 мая 1838 г. – Там же. С. 250.]: как тяжка эта душная сфера частных и индивидуальных страстей! Да, индивидуальное – вот пути, связывающие человека, мешающие ему открыть глаза на всю природу. Кто хочет быть свободным и цельным, должен уйти из индивидуального в общее, рассчитаться с жизнью, с людьми, сию минуту уладить

Между тем такова жизнь: кругом путаница, дрянь, недоразумения, и все это требует внимания, раздражает, мучит и не дает безмятежно наслаждаться прекрасным. Как уладить все это? И что делать человеку, если он имел неосторожность запутаться в такой узел личных отношений? – На это Станкевич без колебаний отвечает теперь: разрубить узел! Правда, он понимал, насколько опасен этот путь. Разрубить узел, значит, прежде всего, свалить беду на другого, и в таком решении к высоким мотивам легко могут примешаться и самолюбие, и эгоистическая жажда спокойствия. Но он отвергает эту рассудочную оглядку: высший долг человека – быть верным самому себе. Поступай так, чтобы во всем, что ты делаешь, ты был таков, как в самом деле, и не думай о последствиях, – их все равно нельзя учесть никаким исчислением, а этот расчет отнимает способность охватить все разом из живого, действительного чувства. Спасение в том, чтобы уметь в отношении каждого житейского факта сразу определить непосредственное хотение своего я и затем, не стесняясь ничем, поступать так, как велит этот внутренний голос; только таким способом можно сохранить свою цельность среди хаоса действительной жизни.

VI

Упорная работа над собою в направлении к этой цели, рядом с изучением Гегеля, которое должно быть другим, умозрительным путем вести к той же внутренней цельности, составляет главное содержание духовной жизни Станкевича в его последние годы. Задача была трудна: он сравнивает себя с человеком, который должен на волнах заниматься изобретением компаса, и завидует тем счастливым, которые получили гармоническое духовное воспитание еще до вступления в самостоятельную жизнь. Перед ним самим эта задача стояла в очень конкретной форме. Он уехал из России, не покончив своих отношений с Бакуниной. Бедная девушка глубоко страдала, и он знал это, да и письма Михаила Бакунина напоминали ему об этом. Надо было кончить мучительную историю – но как? Он не любил, это было для него уже вполне ясно; порвать – значило нанести девушке, так простодушно доверившейся ему, смертельный удар. Но при тех взглядах на жизнь, до которых он теперь созрел, иного выхода не было. «Было время, – время мистицизма в моей жизни, когда, по преданию, по недостойной любви к пошлomu миру и спокойствию, я считал все делом окончательным, сковывающим навсегда выбор сердца. Я отрекаюсь от этих идей. Если в отношениях между людьми есть ошибка, то она должна быть исправлена. Если человек должен страданием искупить свою ошибку, то он не должен сделаться животным»[61 – Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 11 октября 1837 г. – Там же. С. 233–234.]. А жениться без любви – значит именно низвести себя и женщину на степень животных; пусть же лучше девушка останется на всю жизнь одинокой, только бы ей спасти свое человечество. Это решение стоило Станкевичу тяжелых усилий, но поступить так он считал своим долгом по отношению к себе и к ней, и только безвременная смерть Бакуниной (она умерла в конце 1838 г.) избавила его от необходимости совершить формальный разрыв.

Именно эта неожиданная развязка, снявшая с его души тяжелое бремя, по-видимому, много способствовала внутреннему освобождению Станкевича. Личная коллизия назойливо и нетерпеливо требовала решения; теперь в личной жизни более не было острых осложнений, можно было ровнее идти к цели. И действительно, в последний год жизни Станкевич становится как бы светлее и радостней. Он продолжает работать над собою, но уже без той нетерпеливости и, главное, без принуждения. Он сознает, что ему еще далеко до внутреннего единства, но он уже знает, что насилем над собою ничего не возьмешь. Не беспокойство и рефлексия, а только спокойное вникание в сущность вещей может вывести на путь. Надо дать себе волю, надо быть снисходительным к собственной индивидуальности и верить ей, иначе она еще больше будет тебя обманывать. Он теперь с доверием смотрит в будущее; надежда сразу достигнуть духовной свободы чрез философию не оправдалась, но он яснее видит путь: «nur ruhig[88 – Только спокойно (нем.).] и делать, что хочется, потому что прежде всего надо быть человеком, это главный фах, и всякое принуждение, особенно археологическое, сейчас губит человечество»[62 – Станкевич Н. В. Фроловым Е.П. и Н.Г. 13 марта 1840 г. – Там же. С. 322–323. Фах – Fach (нем.) – ремесло, специальность.]. В своих письмах к друзьям он теперь беспрестанно повторяет: не рефлектируй; когда трудно становится решить что-нибудь, когда начинаешь путаться в антиномиях, – переставай думать и живи.

Мысль может уловить лишь отдельные крупницы истины, верно же вполне схватить вещь можно только из общего живого чувства.

В этом уважении к собственной индивидуальности, к своему непосредственному чувству и хотению Станкевич обрел ту цельность духа, которой он так жаждал до сих пор. В этом отношении чрезвычайно любопытен его новый взгляд на искусство. Элемент цельной индивидуальной жизни, прямого созерцания, нераздробленного знания – вот что является для него теперь наиболее ценным в искусстве [89 – См. его предсмертные заметки «Об отношении философии к искусству». Соч. М., 1890. С. 176 слл. [725 – Станкевич Н. В. Стихотворения. – Трагедия. – Проза. М., 1890. С. 176–182.]]. По природе своей, по назначению, говорит он, человек всегда имел более или менее ясное сознание чего-то высшего, нежели все преходящие вещи, нежели он сам в своей единичности. Это незримое высшее мы называем Божеством. Человеческая фантазия непобедима: ей нужно созерцать это незримое – вот происхождение и смысл искусства; в нем человек непосредственно созерцает Божество. Но изображение носит лишь отпечаток Божества; дух не весь в этом внешнем образе, – он неизобразим и постигать его можно только духом.

Эти слова не были в устах Станкевича одной теорией. Последние месяцы своей жизни, живя то во Флоренции, то в Риме, он часто посещал музеи и памятники древности. Рассеянные в его письмах за этот период замечания о виденных им предметах искусства лучше всего свидетельствуют о полной зрелости его духа: так смотреть умеет только человек, внутренне свободный и цельный в своем отношении к миру, почти инстинктивно ассимилирующий себе или отвергающий. «Моисей» Микель-Анджело оставляет его холодным: здесь нет полноты, мира, любви, здесь нет Божества или, вернее, здесь из Божества осталась только сила. Законченность и удовлетворенность произведений греческого искусства доставляют ему глубокое наслаждение, но он смотрит на них как старший брат: древние скоро помирились, удовлетворились неполным, их мир еще далек от святости. Когда знаешь это, говорит он, и когда в самом деле есть еще что-то другое, что приносишь с собою, они благодетельно действуют на душу, но долго наслаждаться ими нельзя – они не отвечают собственному высшему запросу. О римском храме св. Петра он говорит, что в нем дышишь свободно и поднимаешь голову выше: «Я никогда не могу ждать от архитектуры чего-нибудь охватывающего душу своею необыкновенностью: душа выше ее; но она довольна, когда находит себе такое жилище» [63 – Станкевич Н. В. Фроловым Е. П. и Н. Г. 19 марта 1840 г. – Переписка... С. 325.].

Эти последние письма Станкевича дышат глубоким покоем и какой-то мягкой, вполне владеющей собою и сознающей себя силой. Не изучением Гегеля, но силою своего беззаветного стремления к идеалу человечности он в существенном достиг своей цели. Сознание своего внутреннего единства у него действительно превратилось в непосредственное регулирующее чувство, и в момент смерти он действительно стоял на той черте, где кончается внутреннее устройство человека и начинается постройка жизни. Он уже готов был переступить эту черту; им начинало овладевать нетерпенье: довольно учиться, иначе не успеешь жить, – а он уже знал, что значит жить. Безвременная смерть застигла его на самом пороге. Тургенев, сблизившийся со Станкевичем за несколько месяцев до его смерти, в начале 1840 г. в Риме, спустя шестнадцать лет, по просьбе Анненкова, записал свои воспоминания о нем; эта записка впервые была напечатана Л. Н. Майковым в январской книге Вестника Европы за 1899 год и не вошла ни в одно из собраний сочинений Тургенева [64 – Воспоминания И. С. Тургенева о Н. В. Станкевиче. Записка И. С. Тургенева. – Публ. Л. Майкова. – Вестник Европы. 1899. № 1. С. 5–18.]. Приведу из нее несколько отрывков, ярко рисующих личность Станкевича в пору его полной зрелости. Рассказав о юморе Станкевича, о его способности хохотать до упаду и мгновенно разыгрывать в лицах фарс, Тургенев продолжает: «И в то же время невозможно передать словами, какое он внушал к себе уважение, почти благоговение. Шевырев был в то время в Риме и ужасно льстил Станкевичу и вилял перед ним, хотя со всеми другими обходился, по обыкновению, с педантической самоуверенностью... Станкевич оттого так действовал на других, что сам о себе не думал, истинно интересовался каждым человеком и, как бы сам того не замечая, увлекал его за собою в область идеала. Никто так гуманно, так прекрасно не спорил, как он. фразы в нем следа не было; даже Толстой (Л. Н.) не нашел бы ее в нем... В нем была наивность, почти детская, еще более трогательная и удивительная при его уме». Станкевич охотно принимал участие в дружеских поездках по окрестностям Рима и в осмотре памятников и древностей, хотя часто плохо себя чувствовал: «но дух его никогда не падал, и все, что он ни говорил, – о древнем мире, о живописи, ваянии и т. д., – было исполнено возвышенной правды и какой-то свежей красоты и молодости». Станкевич был в это время уже смертельно болен, но,

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
по свидетельству Тургенева, никогда не хандрил, никогда не жаловался на свое здоровье, и о болезни своей говорил не иначе, как в шутливом тоне. «Помню я, – рассказывает Тургенев, – раз мы шли с ним к Ховриным и говорили о Пушкине, которого он любил страстно, так же, как и Гоголя. Он начал читать стихотворение «Снова тучи надо мною», своим чуть слышным голосом... Ховрины жили очень высоко – в 4-м этаже. Взираясь на лестницу, Станкевич продолжал читать и вдруг остановился, кашлянул и поднес платок к губам – на платке показалась кровь... Я невольно содрогнулся, а он только улыбнулся и дочел стихотворение до конца» [65 – Там же. С. 13.]

Тургенев прибавляет, что изображая Покорского в «Рудине», он имел перед глазами образ Станкевича.

VII

Путь развития, пройденный Станкевичем, типичен для всей его эпохи. К кому бы из его сверстников мы не обратились (разумеется, из тех, кто жил умом и сердцем), каждого в ту пору – в 30-х годах – волновали те же вопросы, у каждого на первом плане стояла та же потребность найти и воплотить в собственной личности высший смысл бытия. По письмам Белинского до времени его переселения в Петербург можно было бы написать психологический этюд, в общем совершенно аналогичный предлагаемому здесь.

Но Станкевич был именно прообразом своего времени: с такой безусловной цельностью, в столь чистом виде не пережил этого процесса ни один из его сверстников. Его недолгая сознательная жизнь была безраздельно посвящена решению в мысли и жизни личной морально-философской проблемы, и никакая другая задача ни на минуту не отвлекла его внимания от этой цели. Как раз на Белинском всего лучше можно видеть, как одновременно зарождается в русском обществе иное течение, уже с первых шагов нарушающее у большинства друзей Станкевича цельность их личного искания; как оно сначала ставит себя в полное подчинение этической задаче, а потом, пропитавшись ее идеалистическим пафосом, все более выступает на первый план, хотя и сохраняет до конца у этих людей неразрывную связь со своей первоначальной основой: на сцену выступают вопросы социально-политические, вопросы об обществе и о народности.

Станкевича эти вопросы не занимают. Он сознает, конечно, их значение, но ему пока еще не до них: ему нужно прежде всего закончить свою домашнюю работу – самому стать человеком. В своей обширной переписке он затрагивает общественные вопросы редко и всегда вскользь; он часто говорит об обязанности человека посвящать все силы совершенствованию общества, и он сам собирается, окончив свою подготовку, служить родине, – но такие заявления звучат у него как-то холодно, рассудочно. Нет сомнения, – проживи он дольше, он потрудился бы честным трудом на пользу России, но такой, каким мы его знаем, он весь поглощен чисто моральной задачей, и в этом смысле ранняя смерть, настигшая его как раз в минуту решения этой задачи и на пороге общественной деятельности, придает удивительную цельность его развитию.

Спустя полгода после смерти Станкевича, Белинский писал В. П. Боткину знаменитое теперь письмо, в котором требовал отчета за каждого из своих братьев по крови [66 – Белинский В. Г. Боткину В.П. 1 марта 1841 г. – Пыпин А.Н. В. Г. Белинский. – Опыт биографии // Вестник Европы. 1875. № 2. С. 599.]. Станкевич только однажды, на самой вершине своего развития (месяца за три до смерти), коснулся в письме этого вопроса – и прошел мимо него. К нему заходил, рассказывает он, его знакомый, художник Марков, закидавший его философскими вопросами и сомнениями, на которые трудно было отвечать: «существование одного голодного нищего довольно для него, чтоб разрушить гармонию природы!» Умный и живой человек, с неэгоистическими запросами, – но что делает одиночество! «Я, – прибавляет Станкевич, – никогда почти не делаю себе таких вопросов. В мире господствует дух, разум: это успокаивает меня насчет всего» [67 – Станкевич Н. В. Фроловым Е.П. и Н.Г. 7 апреля 1840 г. – Переписка... С. 342.]

С той же несовершенной цельностью мысли решал Станкевич и второй вопрос, который вскоре сосредоточит на себе страстное внимание общества, – вопрос о народности.

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org

Его замечание об этом предмете, брошенное мимоходом и не развитое, поражает своей верностью, как и множество других мыслей, рассеянных в его письмах. Понадобился долгий навык в физиологическом способе понимания истории, чтобы спустя шестьдесят лет, другой русский мыслитель [90 – П. Б. Струве.] мог вернуться к этому здоровому взгляду «Чего хлопочут люди о народности? Надобно стремиться к человеческому, свое будет поневоле. На всяком искреннем и произвольном акте духа невольно отпечатывается свое, и чем ближе это свое к общему, тем лучше... Кто имеет свой характер, тот отпечатывает его на всех своих действиях; создать характер, воспитать себя – можно только человеческими началами. Выдумывать или сочинять характер народа из его старых обычаев, старых действий, значит хотеть продлить для него время детства: давайте ему общее человеческое и смотрите, что он способен принять, чего недостает ему. Вот что угадайте, а поддерживать старое натяжками, квасным патриотизмом – это никуда не годится» [68 – Там же. С. 219–220.]. В 1837 году, когда Станкевич писал эти строки, так думали и Белинский, и К. Аксаков; но, как известно, уже недолго спустя вопрос о народности становится демаркационной линией, делящей передовую часть русского общества на два враждебных лагеря.

Станкевич представляет собою как бы реторту, в которой химически- чисто выработалась квинтэссенция русского идеализма [69 – П. В. Анненков писал: «Причина полного, неотразимого влияния Станкевича заключалась в возвышенной его природе, в способности нисколько не думать о себе и без малейшего признака хвастовства и гордости невольно увлекать всех за собой в область идеала». «В Станкевиче отразилась юность одной эпохи нашего развития: он как будто собрал и совокупил в себе лучшие нравственные черты, благороднейшие стремления и надежды своих товарищей» – Переписка.. С. 235, 236, отд. пагинация.]. Проблема совершенной личности, всецело поглотившая его внимание, частью сама привела к вопросу о преобразовании общественного быта на идеалистических началах, как у Белинского и Грановского, частью слилась с самостоятельным политическим интересом, как у Герцена и Огарева.

Глава четвертая

Т. Н. Грановский [70 – Глава четвертая. Т. Н. Грановский. Глава создана на основе статей – Гершензон М. История одной дружбы (Грановский, Герцен, Огарев) // Научное слово. 1903. Кн. VIII. С. 75–95; кн. IX. С. 48–58; Памяти Т. Н. Грановского (1813 г. – 4 октября 1855 г.) // Ежемесячный журнал для всех. 1905. № 10. С. 624–627.]

1. Мироззрение

Непосредственное влияние Грановского прекратилось давно. Он не был сильным мыслителем и не оставил в наследие потомству ни одной из тех идей, которые становятся вполне понятными и животворными лишь спустя десятилетия. Написанное им читают мало и больше из почтения к его имени, нежели из прямого интереса. Он принадлежит истории и должен быть оцениваем исторически.

Если нам говорят (это слова Кудрявцева), что «в ответ на его речь отзывались в душе каждого самые чистые инстинкты человеческой природы» [71 – Кудрявцев П. Н. Воспоминание о Тимофее Николаевиче Грановском (Посвящено ученикам его). Отечественные записки. 1855. № 11. С. 89: «в ответ на его речь отзывались в душе каждого самые чистые инстинкты человеческой природы, и это было не только действие его изящного слова, но и того глубокого сочувствия, которого сам он исполнен был ко всем великим явлениям исторической жизни».], то мы отнесем это действие не столько на долю идей, которые он проводил в своих лекциях, сколько на долю его личности. Нет никакого сомнения, что при оценке влияния, оказанного Грановским на русское общество, его личным свойствам должно быть отведено очень видное место. Такая врожденная мягкость, такое изящество духа, такой художественный склад ума во всякое время составляют большую общественную

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
ценность, – а Грановский подвизался среди грубого общества 40-х годов, погруженного в материальные интересы или надменного своей полуобразованностью, когда культурное влияние такого человека, как он, должно было быть особенно велико[72 – Уважение к высоким нравственным качествам, душевному складу, дарованиям Грановского, понимание его исторических заслуг сочеталось у Гершензона с отношением к нему как личности пассивной. Это нашло отражение в письме к родным от 15 апреля 1904 г.: «В воскресенье был я у Герье: его жена – воспитанница А. В. Станкевича, живого, брата того, о котором я хочу писать. Я на прошлой неделе через Герье просил ее узнать от Станк<евича>, не покажет ли он мне фамильный архив, и вот пришел узнать ответ. Ответ – отказ; при сем мне была прочитана нотация за недостаточно почтительное отношение к Грановскому в «Истории одной дружбы». Для них Гр<ановский> – кумир; А. В. Станк<евич> написал известную биографию его и был лично его другом. М-ме Герье говорит, что они были огорчены моей статьей; Герье возил показать ее Чичерину, уже больному; Станк<евич> собирался отвечать мне, но тут Чичерин, его друг, опасно заболел и пр. Как я решился написать, что Гр<ановский> был натура пассивная! – Да таково, говорю, мое убеждение; чем же вы докажете его активность? – В 55 году, говорит она, он – больной, известный профессор, ученый – сказал, что война эта, то есть Крымская, есть преступление, но, как стоит дело, он сам пойдет добровольцем на войну. Так ведь, говорю, не пошел, да и наверно не пошел бы. – Это уже совсем возмутило м-ме. – Конечно, говорит, его не пустили бы, но разве не довольно того, что он решился на это? – Я все больше молчал, а потом сказал, что позволяю себе по всем пунктам остаться при своем мнении. Вот мертвые люди! Их оскорбляет все молодое, смеющее думать по-своему, смеющее не просто благоговейно перед их идолами» (Гершензон М. О. Письма к брату. 1927. С. 161). В. И. Герье в книге «Тимофей Николаевич Грановский». М., 1914. С. 43–44 полемизирует с мнением Гершензона.]. Но помимо этой общей его заслуги, естественно возникает вопрос: какое место занимает он в истории развития нашего общественного сознания? – Для того чтобы разумно ответить на этот вопрос, нужно знать, чему он учил и в какое время.

I

Он учил, следуя Гегелю, что история человечества есть история его непрерывного приближения к высшей нравственной цели. Поэтому всеобщая история представляет, на его взгляд, картину строгого единства: мы изучаем в ней процесс воспитания человечества, как бы одного человека. Столкновения и смена исторических событий совершаются по определенным, незыблемым законам; но было бы ошибочно из наблюдения этой царящей в истории необходимости выводить фатализм. Эти законы – не последние дружины истории, их роль служебная: они – не что иное, как внешние проявления той внутренней закономерности, которую придает истории совершающийся в ней нравственный прогресс. «Над всеми открытыми наукою законами исторического развития царит один верховный, то есть нравственный закон, в осуществлении которого состоит конечная цель человечества на земле»[73 – Далее ученый говорит: «Высшая польза истории заключается, следовательно, в том, что она сообщает нам разумное убеждение в неминувшем торжестве добра над злом. Поддерживаемый этим убеждением человек приобретает новые силы для борьбы с искушениями жизни, для исполнения назначенного ему Провидением скромного долга или великого призвания» (Грановский Т. Н. Сочинения. Т. II. М., 1892. С. 461).]. Таким образом. Стремление человечества к высшей нравственной цели совпадает с естественной закономерностью; идеальное и реальное, бытие и мышление оказывается тождественными; субъективный дух и мир развиваются по одному и тому же закону.

Личность, народ, человечество – вот три соподчиненные сферы, в которых осуществляется верховный нравственный закон. Во всемирной истории господствует то же органическое развитие, та же последовательность моментов, которая наблюдается в жизни отдельного человека, и подобно тому, как отдельный народ существует в непрерывной смене лиц и поколений, так человечество живет единой, цельной жизнью в смене отдельных народов. Мало того, именно через их смену совершается его последовательное развитие в направлении к великой конечной цели. Каждый народ переживает те же фазисы, что и отдельный человек, – детство, юность, зрелый возраст и старость, за которою следует смерть, – каждый в период роста вырабатывает свою одностороннюю, своеобразную идею, которая и является его вкладом в общечеловеческую культуру; так один народ сменяет другой, и каждый

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org

новый народ наследует все умственные сокровища, накопленные предшествовавшими поколениями, по-своему перерабатывает это наследие и, в свою очередь, передает его поколениям грядущим. Такова таинственная связь, охватывающая всю жизнь человечества, связывающая народы, чуждые друг другу в пространстве и времени. Как индивидуум и народ, так человечество – единый организм, одушевленный одним духом, и его история – история его морального роста. Поэтому высшая польза истории заключается в том, что она сообщает нам уверенность в неминуемом торжестве добра над злом.

Итак, история человечества есть predetermined процесс. Но этот процесс predetermined только в смысле общего направления и конечной цели, в остальном же, то есть во всех частных своих стадиях, он открывает полный простор игре сил. Стремлений и страстей – личных, классовых, национальных и пр. Человечество неудержимо идет к своей цели, но божественный Промысл не указывает ему, ни какой дорогой идти, ни сколько времени пробыть в пути: здесь область творчества отдельной личности, здесь она является не орудием, а самостоятельным историческим фактором в качестве поборника или противника очередной исторической идеи, «и на нее по праву падает ответственность за целые ряды ею вызванных или задержанных событий» [74 – Грановский Т. Н. Сочинения в 2-х тт. Т. II. М., 1856. С. 320.]. Поэтому ни один человек, как бы скромно ни был круг его действий, не свободен от обязанности способствовать по мере сил осуществлению исторического закона. Но он отвечает только за чистоту своих намерений и усердие исполнения, а не за последствия своего труда, который таинственным семенем ложится в борозду всемирной истории; взойдет ли оно, и когда взойдет, и какой даст плод – это во власти Бога.

По самой природе основного исторического закона сферой его осуществления является индивидуальное сознание. В этом смысле исторический процесс есть процесс освобождения и просвещения индивидуальных сознаний. Масса бессмысленно добра и бессмысленно жестока; ее духовная жизнь всецело определяется стихийной властью естественных условий и исторического прошлого. Только отдельную личность мысль освобождает от этой власти; итак прогрессивное движение человечества заключается в разложении масс мыслью. Но, вместе с тем, отдельная личность подвержена сильному влиянию со стороны общественного уклада; следовательно, в общем можно сказать, что прямой задачей истории является «нравственная, просвещенная, независимая от роковых определений личность и сообразное требованиям такой личности общество» [75 – Грановский Т. Н. Сочинения. Т. II. М., 1856. С. 254.].

В этой формуле – сердцевина исторической философии Грановского.

II

Деятельность Грановского неразрывно связана с тем движением, которое окрещено у нас именем «идеализма 30-х годов», и может быть правильно оценена лишь на фоне последнего. Что же представляет собою идеализм 30-х годов?

В каждом культурном обществе время от времени возникают бурные умственные движения, охватывающие большую или меньшую часть общества. Конечно, они подготовляются предшествующими им мирными периодами; но накопленный материал вдруг вспыхивает ярким пламенем, какая-нибудь одна идея овладевает умами и из области умознания мгновенно переносится на почву чувства, то есть становится страстью и хотением, притом не одного или нескольких отдельных лиц, а некоторой единомышленной группы. Эти идейные взрывы – минуты вдохновения обществ; каждый из них с ослепительной яркостью ставит перед взорами общества какую-нибудь одну сторону или часть общечеловеческого идеала, и этим наитием надолго оплодотворяет жизнь. Нет нужды называть примеры: русская общественная жизнь особенно богата такими движениями, и одно из сильнейших совершается у нас сейчас.

Эти идейные взрывы отличаются друг от друга степенью своей всеобщности, бурности, продолжительности, но прежде всего и в особенности – степенью приближения своего лозунга ко всеобъемлющему единому идеалу человечества. Всякое общественное движение идеалистично, потому что, каково бы ни было реальное содержание выставленной им идеи или программы, – субъективно, в своих

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
представителях, оно непременно базируется на один из тех вечных принципов, которые составляют неотъемлемые части идеала; на принцип справедливости, естественных прав и пр. Но идеал всеобъемлющ и приложения его бесчисленны; все дело в том, малая ли крупица идеала опьянила этих людей, охваченных движением, или они увидели восходящим перед собою все солнце.

Движение, овладевшее лучшей частью московской молодежи в середине 1830 годов, не было одним из тех частичных раскрытий идеала, какими являются все дальнейшие наши общественные движения, по преимуществу политические; в том и заключается его великая особенность, что оно имело своим предметом весь идеал в целом, или, точнее, не какое-нибудь его приложение, а самую его субстанцию. Эти юноши мечтали не о частных улучшениях нравственного или политического свойства, а о восстановлении в человеке его божественной природы вообще. Словами своих немецких учителей они говорили, что во вселенной царит разум, который только в человеке может достигать самосознания, и что, следовательно, высший долг человека заключается в том, чтобы сознательно жить по тем же законам, как и вселенная. В этих понятиях человеку, по справедливому выражению современника (Анненкова), открывался новый мир. «Каким-то торжеством, светлым, радостным чувством исполнилась жизнь, когда указана была возможность объяснить явления природы теми же самыми законами, каким подчиняется дух человеческий в своем развитии, закрыть, по-видимому, навсегда, пропасть, разделяющую два мира, и сделать из них единый сосуд для вмещения вечной идеи и вечного разума. С какою юношеской и благородною гордостью понималась тогда часть, предоставленная человеку в этой всемирной жизни! По свойству и праву мышления он переносил видимую природу в самого себя, разбирал ее в недрах собственного сознания, словом, становился ее центром, судьей и объяснителем... На конце всего воззрения стояли нравственные обязанности, и одна из необходимейших обязанностей – высвободить в себе самом божественную часть мировой идеи от всего случайного, нечистого и ложного, для того, чтоб иметь право на блаженство действительного, разумного существования» [76 – Станкевич Н. В. Переписка... С. 37, 38, отд. пагинация.]. Это была всеобъемлющая система идей, уверенно решавшая вечные загадки бытия и духа.

По всеобщности этой системы и по страстности, с какою усваивало ее молодое поколение, мы можем судить о том, как совершенно было изжито обществом его старое, патриархальное мировоззрение. Еще полуобразованная масса удобно прозябала в нем, но чуткая молодежь уже задыхалась в атмосфере нравственного равнодушия и умственной косности. В наше время юноша, раз в нем проснулось сознание, обыкновенно склонен увлечься каким-нибудь частным вопросом бытия; что же касается основных вопросов, то все кругом него – книга, газета, разговоры – сразу навязывает ему некоторый определенный, признаваемый для данного времени наиболее согласным с наукою, способ отношения к ним. Хорошо ли это, или нет – другой вопрос. Тогда этого не было: в полуобразованной массе еще не были выработаны такие шаблоны, и юноша, открывший глаза на мир, сразу видел себя лицом к лицу со сфинксом – с нерешенными вечными вопросами. И на эти именно вопросы отвечала новая немецкая философия, у которой молодежь заимствовала основания своей идеалистической системы.

Ядром этой системы был, конечно, новый идеал человека: здесь в полном объеме, прямо и ясно была формулирована проблема совершенной личности. Идеалистическое движение 30-х годов зародилось несколькими струями, которые лишь позднее, к половине 40-х годов, слились в два больших русла – славянофильства и западничества; но какова бы ни была разница между отдельными кружками, все они или начали с вопроса о том, что есть и чем должен быть человек, или очень скоро пришли к этому вопросу, при чем он ставился не косвенно, в оболочке какого-нибудь практического стремления, а принципиально и вполне.

Почин этого движения принадлежал, как мы знаем, Станкевичу, которым этот вопрос и был поставлен на очередь и на первый план. Станкевич внедрил в своих друзей идею-страсть, идею-стремление к божественной красоте человека, и в своем собственном развитии явил пример нераздельной энергии духа, направленной к осуществлению этой идеи.

Но человек ведет двойное бытие – личное и социальное, и проблема совершенной личности не может быть правильно решаемая иначе, как на почве этого двойственно-цельного понятия. Это знал и Станкевич; но, дорожа более всего умозрительной полнотой идеала, он оставил в стороне социальную часть вопроса. Он говорил: человека должны очистить взаимные отношения людей, и в этом смысле

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
жизнь рода человеческого есть его воспитание, а с другой стороны, он должен сам отдельно воспитывать себя, работая над своим совершенствованием. Итак, прогресс совершается путем двойного воспитания: социального (в истории) и личного, – и от глашатаев идеала надо было ждать, чтобы они разработали его в обоих направлениях. Станкевич же, как мы видели, ограничился одной половиной задачи: он пытался теоретически решить вопрос (это его подлинные слова): «как один, отдельный человек должен воспитывать существо свое?» [77 – Станкевич Н. В. Моя метафизика. – Там же. С. 24.]

Здесь–то определилась историческая роль Грановского. В прямом смысле слова ученик и продолжатель Станкевича, он поднял нить, оброненную Станкевичем: он стал одним из тех учителей (рядом с ним Белинский), которые уяснили русскому обществу 40–х годов общественный смысл идеала, иначе говоря, ход и цель исторического воспитания человечества.

Историко–философская схема Грановского кажется нам и узкою, и искусственной, многие из ее посылок – фикциями, но павших в честном бою не судят. Эти идеи сделали свое дело. В них новый идеал, которому суждено было надолго стать скрытым двигателем всей нашей духовной жизни, – эта высокая мечта Станкевича и его друзей о разумной и прекрасной жизни, о совершенном человеке, – был перенесен (правда, в довольно грубом виде) на социальную почву и выражен на социальном языке. Этим был дан могучий толчок зарождению у нас общественного идеализма, и если ближайший период русской истории, с конца 50–х годов, был ознаменован громадным идеалистическим движением, плодом которого явились реформы эпохи Александра II, то немалая доля заслуги в этом принадлежит и Грановскому. Не будет парадоксом сказать, что он был одним из передаточных органов, благодаря которым нравственная энергия, заключенная в одинокой думе Станкевича, претворилась в благое общественное деяние Николая Милютина и его сподвижников.

2. Личность

I

Будущий историк наших дней вероятно с любопытством остановится, в числе прочих особенностей современного русского общества, на той, которую можно назвать его распылением, и изучая с этой точки зрения современную интеллигенцию, он, наверное, привлечет к сравнению эпоху 30–40–х годов, – время господства тесно сплоченных дружеских кружков. Чем объяснит он это резкое различие? Почему 70 лет назад в передовой части русского общества господствовали центростремительные силы, под действием которых все лучшие элементы неодолимо влеклись друг к другу и сочетались в плотные группы, объединяемые не только сходством убеждений и общностью целей, но и горячей, чисто–братской привязанностью? И почему передовые люди нашего времени обречены на душевное одиночество и, делая все одно и то же дело, стоят все–таки каждый особняком? Наши группы и кружки носят деловой характер; они опираются на единство взглядов, на попутность усилий; нас соединяет в группы гораздо больше общность борьбы, чем внутреннее влечение, и потому в наших кружках нет той сердечной близости, тех задушевных симпатий, которые, по–видимому, царили в тех кружках. Пусть этот ореол, окружающий их, долею обманчив, – отдаленность времени, как даль пространства, округляет контуры; но в целом факт неопровержим. Вспомним московские кружки первой половины 30–х годов: кружок Станкевича, состоявший, кроме самого Станкевича, из Белинского, В. Боткина, Грановского, Неверова и – во второй линии – из Красова, Ключникова, Каткова, Кудрявцева и др.; одновременный кружок Герцена, к которому принадлежали Герцен, Огарев, Сатин, В. Пассек, Кетчер, Сазонов, А. Н. Савич; потом кружки 40–х годов: новый кружок Герцена (Герцен, Огарев, Грановский, Кетчер, Е. Корш, Крюков, В. Боткин) и кружок первых славянофилов. И это лишь наиболее видные группы, а рядом с ними сколько было второстепенных, вроде Сунгуровского кружка, кружка Веневитинова и пр.! Безошибочно можно сказать, что, исключая Лермонтова, в поколении людей, родившихся около 1812 года, не было ни одного сколько–нибудь выдающегося человека, который развился бы вне влияния того

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
или другого из этих кружков; их влияния не миновали и Гоголь, и Тургенев [78 - См.: Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX века. М.-Л., Academia, 1930.]

Быть может, будущий историк сумеет проследить процесс дифференциации, раздробивший мыслящую Россию и сделавший невозможным для наших дней существование таких сплоченных групп. Это распыление несомненно представляет собою симптом роста, как всякое деление, как распадение клеток и клеточных колоний. Хочется верить, что и мы, как клетки, через дробление перейдем к более сложным, основанным на высшем единстве сочетаниям, подобно тому как это случилось с итальянской интеллигенцией во вторую четверть прошлого столетия. Но и преклоняясь пред биологическим законом, осудившим нас на одиночество, мы не можем без сердечного участия читать рассказы о людях 40-х годов, о крепких узах любви и доверия, связывавших пожизненно или временно таких людей, как Станкевич и Грановский, Герцен и Огарев, Грановский и Герцен, Белинский и Боткин, и т. д. Тогда царил – и не только в молодежи, но и среди зрелых людей – настоящий культ дружбы, который теперь показался бы сентиментальным и смешным; кто еще пишет теперь своему другу такие пространные и такие интимные письма, какие писали друзьям Станкевич, Белинский, Огарев? Но было бы смешно и жалеть об этом.

II

Нам теперь трудно и представить себе с ясностью то умственное одиночество, в какое попадал на первых порах юноша 30-х годов, испивший из кубка западной науки и опьяненный ее идеалистическим духом. Начать с того, что общий фон нашей интеллигентной жизни за эти полвека чрезвычайно изменился. Юноша наших дней, впервые начинающий прозревать и мыслить, находит, можно сказать, в самом воздухе, которым он дышит, бесчисленное множество родственных его исканиям элементов. В любой книжке журнала, в фактах, сообщаемых газетой, в беседе за чайным столом, – всюду звучат созвучные ему струны. Наша научно-популярная и чисто-научная литература, как и журналистика, разрослись неимоверно; общение с Западом, прямое и книжное, сравнительно очень облегчено. Благодаря всему этому, каждая новая доктрина быстро становится у нас достоянием интеллигентной массы и насыщает собой ее атмосферу. Лет десять назад студент, клявшийся именем Маркса, чувствовал себя, конечно, членом обширной семьи; об учении Маркса он мог говорить и с любым товарищем, и в знакомой семье, на ту же тему каждый день встречал новые статьи и книги, русские и иностранные. Совсем иначе обстояло дело в 30-х годах.

Того, что я назвал сейчас интеллигентной массой, тогда не существовало. В помещичьем и чиновничьем кругах царил глубокое невежество, и юноша, открывший свой ум просвещению, сразу попадал в совершенный разлад со своей естественной средой. Теми научными ресурсами, – книгами, журналами, лекциями, сообщениями с Западом, – которых у нас так много, он располагал в самом ничтожном количестве; естественно, что в одиночку он должен был чувствовать себя беспомощным.

Не меньшее значение имел и характер распространявшихся тогда доктрин. Между тем временем и нашим лежит блестящий расцвет естественных наук, преобразивший все отрасли знания и самую философию. Реалистический дух современной науки сделал то, что идеи, которыми освобождалось наше поколение, сравнительно близки к ежедневной жизни, сравнительно материальны и прозаичны. Люди 30-40-х годов освобождались на Шеллинге и Гегеле: то были вершины метафизического мышления, открывавшего уму безграничные, опьяняющие виды. Не частичные истины, но вся тайна космоса и человеческого бытия казалась обнаруженной в книгах этих философов, и душу прозелита при виде обетованной страны охватывал восторг почти религиозного одушевления. Из общей формулы вытекала целая программа практической деятельности, охватывавшая всю общественную и личную жизнь. Все должно было быть перестроено вновь: на место непосредственности, патриархальности, туманной мистики, авторитетов, верований и преданий должен был стать новый жизненный строй, основанный на разуме, анализе и праве; все устои общежития – брак, религия, государство – должны были стряхнуть с себя свои обветшалые формы и преобразиться. Казалось, рождается новый мир: *Das alte st?rzt, – es ?ndert sich die Zeit, – und neues Leben bl?ht aus den Ruinen* [91 – См. замечательное письмо В. Боткина 1842 г. у Пыпина: Белинский. II. С. 142. [726 – Боткин

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org

В. П. Белинскому В.Г. 20–23 марта 1842 г. // Пыпин А.Н. Белинский, его жизнь и переписка. Т. II. Спб., 1876. С. 142.]] [79 – «Старь рушится, меняется эпоха, Жизнь новая встает из-под руин» (нем.). Неточная цитата из драмы Шиллера «Вильгельм Телль» (1804), действие 4, сцена 2.]. Это одушевление возносило юношу 30-х годов на такие заоблачные выси, откуда не было путей в отцовские долины. Только в недрах секты он мог найти сочувствие и поддержку; мало того, только здесь, в живом обмене мыслей и знаний мог он, при тогдашней скудости научных пособий, удовлетворять свое естественное стремление к более глубокому и всестороннему усвоению раз воспринятых им идей.

Таковы были главные причины, которыми обуславливалось возникновение знаменитых московских кружков 30-х и 40-х годов; почти так определил в одном письме 1840 г. Белинский роль кружка, в котором сложился он сам: «Воспитание, – говорит он, – лишило нас религии, обстоятельства жизни (причина которых в состоянии общества) не дали нам положительного образования и лишили всякой возможности сродниться с наукой; с действительностью мы в ссоре и по праву ненавидим и презираем ее, как и она по праву ненавидит и презирает нас. Где же убежище нам? На необитаемом острове, которым и был наш кружок» [80 – Белинский В. Г. Боткину В.П. 13 июня 1840 г. – Пыпин А.Н. Белинский. Опыт биографии // Вестник Европы. 1874. № 12. С. 531–532.]. На этих островах люди со второго дня знакомства переходили на «ты», по-женски страстно любили друг друга, поверяли друг другу интимнейшие тайны, взаимно исповедовались и глубоко, искренно верили один в другого. «Я перед вами открыт», говорил Станкевич друзьям [81 – Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 1 июня 1835 г. «Душа моя тебе открыта...» – Переписка...С. 138.]; «мы друг для друга – ифика» [82 – Гершензон М. История одной дружбы // Научное слово. 1903. Кн. VIII. С. 79 (далее: История одной дружбы. VIII). Ифика – этика (от греч. *ethikos*).], писал гораздо позже Огарев Герцену, и так было на самом деле; об этом свидетельствует каждая строка их писем и все показания современников.

III

Белинский, позднее разошедшийся с Бакуниным, так объяснял после размолвки свою временную близость с ним: «Ты стремишься к высокому, и я стремлюсь к высокому – будем же друзьями: вот начало нашей дружбы» [83 – Белинский В. Г. Станкевичу Н.В. 19 апреля 1839 г. (Пыпин А. Н. Белинский, его жизнь и переписка. Т. I. С. 289). Близкое высказывание в письме В. Г. Белинского М. А. Бакунину <12–24 октября 1838 г.>]. Приблизительно таково было и начало дружбы Грановского с Герценом и Огаревым. Они встретились в первый раз, как сектанты, еще не видавшие друг друга, но знающие о своей принадлежности к одной и той же секте, или как незнакомые масоны одной ложи. Они были уже не юноши; период бурных стремлений для их поколения уже прошел, уступив место настойчивой и серьезной работе в направлении к целям, поставленным юношеской мечтой. Но если прежнее опьянение и исчезло, знание и дружба по-прежнему оставались краеугольными камнями их бытия. В самой работе они продолжали углублять свои воззрения, отчужденность от среды чувствовалась на деле еще несравнимо острее, чем в школьные годы, и по-прежнему только в единомышленном круге они могли дышать и расти.

С Огаревым Грановский познакомился зимой 1839–1840 гг. и быстро сошелся. Герцен впервые мельком видел его при своем проезде через Москву в 1840 году и увез с собой во Владимир «благородный образ и основанную на нем веру в Грановского, как в будущего близкого человека» [84 – Герцен А. И. Былое и думы. London. 1861. С. 276. В тексте «веру в него»]; в 1842 году, переселившись в Москву, Герцен сблизился с ним «тесно и глубоко» [85 – Там же.]. Такою оставалась их дружба все четыре года до последних месяцев пребывания Герцена в России. Огарев как раз эти четыре года провел за границей, но разлука не ослабила этой связи; в сентябре 1844 года он писал Грановскому: «Да что ж ты не пишешь, мой милый Грановский? Мы, кажется, так тепло встретились и полюбили друг друга, что разлука не может подлить холодной воды в нашу дружбу. Черт знает! хотелось бы слышать твой голос, который имеет для меня что-то иррезистибельно-симпатичное» [86 – Гершензон М. История одной дружбы. VIII. С. 79–80.]. Отношения между Грановским и Герценом были чисто-братскими. «Мы быстро сблизились и видались почти каждый день, – писал позднее Герцен, – ночи сидели мы до рассвета, болтая обо всякой всячине... в эти-то потерянные часы и ими люди срastaются так неразрывно и безвозвратно» [87 – Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 282.]. Было бы излишне приводить выдержки

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
из их переписки, свидетельствующие об их нежной привязанности и уважении друг к другу. Все это время вплоть до разрыва они были неразлучны, и, кажется, ни одно облачко не омрачило их дружбы.

Герцена и Огарева сближало с Грановским прежде всего, разумеется, сходство основных убеждений: общая их ненависть к действительности тех дней. Стремление вывести Россию из невежества и рабства, вера в творческую силу свободной личности, признание за наукой и искусством руководительной роли в развитии культурных обществ. Грановский, с блестящим успехом проповедовавший эти взгляды с кафедры, был дорог Герцену, как смелый боец за их общее дело, как самый влиятельный и даровитый представитель всего кружка; а когда несколько позднее начали резче обозначаться станы западников и славянофилов, лекции Грановского приобрели для него значение манифестов своего, западнического лагеря. Успех публичного курса, читанного Грановским в 1843–1844 гг., был для Герцена как бы личным торжеством; он дважды писал о нем восторженные статьи и в своем дневнике с радостью друга и соратника отмечал общественное значение и успех едва ли не каждой лекции[88 – Герцен дал оценку курса университетских лекций по средневековой истории Франции и Англии в статьях «Публичные чтения г. Грановского» (Московские ведомости. 1843. № 142. 27 ноября), «О публичных чтениях г. Грановского» (Москвитянин. 1844. № 7), в письме к Н. Х. Кетчеру от 2 декабря 1843 г. и в дневниковых записях от 24 и 28 ноября 1843 г. (Герцен А. И. Сочинения в 10 тт. Т. I. Gynuve – vale – Lyon. 1875. с. 149, 150–151.)]. В свою очередь, и Грановский высоко ценил литературную деятельность Герцена и, по словам последнего, ездил из дома в дом читать его статьи, печатавшиеся в «Отечественных Записках», комментировал их и сердился, если они кому не нравились. Но общности теоретических взглядов и уважения к обоюдным талантам недостаточно для дружбы, по крайней мере, для такой дружбы, какая завязалась между Герценом и Грановским, Грановским и Огаревым. Очевидно, в их натурах, при всей разности, было нечто конгениальное, что сближало их помимо сознания; определить это общее точнее, вероятно, не могли бы они сами. Герцен говорит только: «Со многими я был согласнее в мнениях, но с ним я был ближе – там где-то, в глубине души»[89 – Герцен А. И. Былое и думы. Т. 2. С. 263.]. В сущности, не больше говорит и Огарев в своем стихотворном послании к Грановскому (1843 г.):

Душевный мир и сердца муки
В твоей душе нашли себе
Так странно родственные звуки,
Как будто свыше нам одна
Обоим жизнь была дана.

Мы одинаково здоровы
И одинаково больны,
И оба жребием суровым
Одной хандрой наделены.
Я радостно в твоём посланьи
Прочел, что говорить со мной
Ты можешь только да с женой
О тайном внутреннем страданьи.

Но он прибавляет далее:

Одно, что я в себе ценю,
Основу дружбы нашей вижу
(Хоть слабость глупую мою
Всегда бесплодно ненавижу), –
То женски-тихий, нежный нрав.

Не знаю, прав я, иль неправ[90 – Огарев Н. П. <Т.Н. Грановскому> («Твое печальное посланье»), 1843 г., 6 апреля.]

В этих последних строках указана одна конкретная черта, верность которой подтверждает Герцен, говоря, что Грановский заменил ему и прочим друзьям отсутствовавшего Огарева. Действительно, редкое изящество организации, глубокая врожденная гуманность, такт сердца сообщили Грановскому и Огареву необычайное сходство, и, быть может, именно эта женственность нрава так сильно привлекала к ним (и наоборот) порывистую, активную, мужественную натуру Герцена.

IV

Как известно, эта дружба кончилась разрывом, происшедшим в середине 1846 года, незадолго до отъезда Герцена за границу. Мы увидим ниже, что все три участника, хотя и тяжело страдая от размолвки, в один голос признавали ее неизбежной. Этой ее неизбежности мы не поймем, если ограничимся одним разбором спорных мнений: для этого необходимо спуститься глубже, к тем родникам, которыми питается вся психическая жизнь человека, не исключая сознания.

Есть много способов подойти к определению того, что принято называть «натурой» человека. Здесь, где речь идет о трех лицах, сам собою напрашивается сравнительный способ. Следовательно, должен быть найден такой пункт, который был бы достаточно важен для всякого человека и более или менее централен для всех трех изучаемых лиц. Таким пунктом мне представляется способ их отношения к текущему моменту, а стало быть, и к двум ограничивающим и так часто затемняющим его моментам: прошлому и будущему. Как человек реагирует на свои воспоминания и на всегда наличную возможность несчастных случайностей, в какой мере воспоминание о прошлом или страх за будущее умаляют для него полноту данной минуты, – этому вопросу, вероятно, никто не откажет в капитальной важности.

Начну с Герцена. В своем «Дневнике» (1841–1845 гг.) он неоднократно касается этих вещей. Его удивляет и сердит неуважение людей к настоящему. «Если глубоко всмотреться в жизнь, – говорит он, – конечно, высшее благо есть само существование, какие бы внешние обстановки ни были. Когда это поймут – поймут, что в мире нет ничего глупее, как пренебрегать настоящим в пользу грядущего. Настоящее есть реальная сфера бытия. Каждую минуту, каждое наслаждение должно ловить, душа непрерывно должна быть раскрыта, наполняться, всасывать все окружающее и разливать в него свое. Цель жизни – жизнь» [91 – Герцен А. И. Сочинения. Т. I С. 22. Дневник 1842 г. Июнь месяц, 28.]. Но люди умеют только вспоминать об утраченном; они не дорожат настоящим, жертвуя им мечтам о будущем или страху перед ним; между тем будущее никогда не устраивается по нашим мыслям, а как придется, «давая сверх ожидания и попирая ногами справедливейшие надежды» [92 – Там же. С. 188. Дневник 1844 г. Март месяц, 27.].

И таков он сам: его отношение к настоящему лишено той непосредственности, которую он считает нормальной. Страх случайного, тень грозного фатума, царящего над человеческой жизнью и развивающего из безразличного поступка чудовищный результат, преследует его по пятам. Прежде чем почувствуешь и сознаешь, ты вовлечен в безвыходное положение; где же свобода? С ужасом говорит он о шаткости всего святейшего и лучшего в жизни. Все в жизни шатко, кроме мысли, а она одна не может насытить вполне, потому что она – «уже снятие жизни индивидуальной, единственной полной». Он знает, что страх перед этой шаткостью – болезненное и нелепое чувство, но не может подавить его к себе. «Мы ужасно виноваты перед настоящим, – пишет он Огареву 1-го января 1845 г. (и то же повторяет в дневнике), – все воспоминания да надежды, *suī generi* [92 – Своего рода (лат.).] абстракции, а жизнь течет между пальцами незаметная, неощущенная. Нет, стой, хороший миг, дай мне из тебя выпить по капле! Минута истинного восторга беспамятна и безнадежна, потому что она полна собой. В самом деле, настоящее никогда не бывает одно; все бывшее, жизнь наша отражается в нем, хранится, но только оно не должно подавлять. Я говорю об этом не столько для вас, сколько для себя; я не могу держаться на этой высоте реально-практической; если я не подвержен романтически-заунывным грюбелеям, то я подвержен трусости перед будущим, мое наслаждение часто тускнеет от холодной мысли: а может, завтра я утрачу его? Мало ли что может быть? Так думать – надо быть сложа руки и подогнув ноги; а все-таки приходит на ум. Человек всего менее может сдружиться с чрезвычайной шаткостью, непрочностью всего лучшего, что у него есть. Дело-то, кажется, простое: чем прочнее вещь, тем она каменнее, тем далее от нас. Именно в этом мерцании *des Schwebende* [93 – Незаконченное, неустойчивое (нем.).] в этом нежном, шатком – последнее слово, последнее благоухание жизни, потому что прочное неподвижно, апатично, а нежное – процесс, движение, энергия, *das Werde* [94 – Становление (нем.).] [93 – А. И. Герцен Н. П. Огареву и Н. М. Сатину 1–10 января 1845 г. (Русская мысль. 1891. № 7. Из переписки недавних деятелей. С. 22). См. также – Герцен А. И. Сочинения. Т. I. Дневник 1844 г. Март месяц, 27. С. 188; Июль месяц, 23. С. 219; декабрь месяц, 16. С. 251.]. В дневнике он подробнее развивает эту глубокую мысль. «Не только блага жизни шатки, но сама

жизнь шатка; малейшее неравновесие в этом сложном химизме, в этой отчаянной борьбе организма с своими составными частями – и жизнь потухла; однако из этого не следует, что лучше не родиться, или, родившись, зарезаться, чтобы не подвергнуться случайностям. Все прекрасное нежно, это – цветы, которые мрут от каждого холодного ветра, в то время, как суровый стебель крепнет, но зато он и не благоухает и не имеет ярких лепестков. Жизнь в высшем проявлении слаба, потому что вся сила материальная была потрачена, чтобы достигнуть этой высоты: мускулы можно резать, члены отнимать, а до мозга нельзя грубо прикоснуться. Таковы блага любви – ими надобно упиваться, отдаваться им, жизнь в них ловить, ценить каждое мгновение. Nur wenn er glühet, labet der Quell^{[95} – лишь того, кто пылает, освежает источник (нем.).]^{[94} – Герцен А.И. Сочинения. Т. I. С. 251. Дневник 1844 г. Декабрь месяц, 16.]. И в результате он приходил к такому выводу: «Ловить настоящее, одействоворить в себе все возможности на блаженство – под ним я разумею и общую деятельность, и блаженство знания так же, как блаженство дружбы, любви, семейных чувств, – а там, что будет, то будет; на мне ответственность не лежит, тот ответит, кто скрыл талант в землю, чтоб его не украли»^{[95} – Там же. С. 252.].

Это взгляд мужественный и свободный; но в жизни Герцен, по его собственному признанию, не всегда обладал этим свободным мужеством. Правда, он умел и раньше, и еще в эти годы, с беззаветным упоением, без оглядки, наслаждаться минутой, но нередко мысль о будущем. Сах грозных случайностей отравляли ему настоящее. Замечательно, что когда возможность становилась настоящим и ожидание уверенностью, он опять находил в себе твердость и покой. «В решительные минуты, – говорит он, – я, наконец, нахожу силу и стою будто на барьере во время дуэли – жду, что пуля, мимо или в грудь... жду мрачно, собравши всю твердость. Середь ожидания появляется рефлексия, и я иду и на гору, и под гору с дикой, свирепой последовательностью, не отклоняя страшного, а всматриваясь в него»^{[96} – Герцен А. И. Сочинения. Т. I. С. 158. Дневник 1843 г. Декабрь месяц, 31. В тексте «В решительных минутах», «всматриваюсь».].

Если Герцен боится будущего, то для Грановского настоящее затемняется прошлым. Он принадлежал к числу тех по преимуществу созерцательных натур, у которых воспоминание по силе чувства далеко превосходит самые переживания. Он говорит о себе в одном письме, что никогда ничего не забывает, что обиды и печали младенчества до сих пор способны глубоко волновать его, и применяет к себе пушкинские стихи: «как вино, печаль минувших дней в душе моей чем старе, тем сильней»^{[97} – Пушкин А. С. Элегия («Безумных лет угасшее веселье»), написано в 1830 г., напечатано в 1834 г. Грановский Т. Н. – Мюльгаузен Е. Б. 16–19 июня 1841 г. – Грановский Т. Н. Переписка в 2 тт. Т. II. М., 1897. С. 239.]. «Я никогда не утешаюсь в моих душевных утратах, – говорит он в другом месте. – Я беру с собой горе на целую жизнь. Станкевич, сестры – они для меня ежедневно умирают снова»^{[98} – Грановский Т. Н. Грановской Е.Б. 29 июня 1844 г. – Там же. С. 261.]. Его душа, как душа Тютчева, – элизиум теней, и это не только тени дорогих людей, но и тени всех разбитых надежд и иллюзий. С этим тяжелым грузом в душе идет он устало через жизнь, свято лелея память о прошлом и мало веря в возможность счастья. Скорбное воспоминание мешает ему безраздельно отдаться минуте и мрачит ему жизненную даль. Он ценит труд, помимо его прямой цели, еще особенно потому, что труд «лечит душу от больных желаний»: «у меня их было много, – говорит он, – и еще осталось довольно на дне души; я им не даю воли»^{[99} – Грановский Т. Н. Фролову Н.Г. 17 октября 1845 г. – Там же. С. 420.]. Уже в 1843 году он пишет Вердеру: «Никогда я не понимал так хорошо то, что вы говорили мне тогда: труд и отречение! В сущности, только это и остается. Я отрекся уже от столь многих надежд моей молодости; мне остается еще только отречься от нее самой, и я скоро принесу и эту жертву, потому что сердце мое, я чувствую, становится старо и устало»^{[100} – Грановский Т. Н. Вердеру К. 4 октября 1843 г. – Там же. С. 441, по-немецки; Т. I. С. 123, пер. по-русски.]. А через год – и в лучшие свои дни – он пишет: «Счастливее всех других пока Герцен и я. Но долго ли продлится это счастье? У меня нет веры в жизнь, у меня напугана душа частыми утратами, и я боюсь новых. Сегодня все хорошо, завтра все может измениться. Я стал робок и мнителен...»^{[101} – Грановский Т. Н. Фроловым Е.П. и Н.Г. 21 октября 1844 г. – Там же. С. 418.]. Герцен, трепещущий перед будущим, по крайней мере, свободен от власти прошлого; Грановский подвластен обоим, и до такой степени, что настоящее обращается для него в непрочную тропинку между двух бездн; у него нет и следа того смелого желания взнуздать и укротить дикую жизнь, заставить ее нести себя чрез пропасти и горы, которое наполняет Герцена.

Третий тип, и наиболее гармоничный, представляет собою Огарев. 1843–1845 годы

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
были периодом, когда окончательно слагалось его мировоззрение, с удивительной полнотой воплощенное им потом в остальную часть его жизни. Две черты, к этому времени уже вполне выяснившиеся для него самого, следует признать наиболее характерными для этой сложной натуры: во-первых, слабость активной воли, делавшую его игрой внешних условий и собственных страстей, во-вторых, присутствие огромной пассивной силы в глубине души, чувство глубокого покоя и непоколебимого упования, не покидавшее его ни в дни падений, ни в минуты душевных бурь. Из этих двух основных свойств его натуры выросло все его мировоззрение.

Высшая цель, которую он ставит себе и всякому человеку, заключается в том, чтобы научиться спокойно править парусом среди бурного моря, победить случайность не путем бегства от нее, а путем нахождения себя в ней «тем же спокойным духовным существом, сохраняющим в несимпатичной жизни глубокую симпатию с самим собой, с миром своего чувства, сознания и поступков»[102 – Гершензон М. История одной дружбы..., VIII. С. 86.]. Примирение должно быть не внешним, а внутренним; нельзя мириться со всякой мерзкой действительностью, признавая ограниченный момент действительным и непреложным: это – апатия или лицемерие. Но человек должен примириться с самим собою, то есть примирить себя, как единичного, с собою, как духом всеобщим. Этого внутреннего примирения человек достигает через проникновение себя истиной. Истина в чувстве есть любовь, истина в мысли – разумность; и то, и другое должно проникнуть нравственный мир человека, то есть мир его поступков. Только этим путем человек становится внутренне выше случайностей, то есть охраняет себя среди всех треволнений адекватным себе, своей вечной сущности. И только в этом – полное счастье: «полное счастье – сознательно внимать великой симфонии жизни и отчетливо и от полноты души разыгрывать в ней свою партию, как бы грустно ни тревожили слышимые звуки»[103 – Там же. С. 87.]. Жизнь должна быть художественным произведением, то есть свободным осуществлением внутреннего закона в личной деятельности.

Эту мысль Огарев называет еще только своим предчувствием: он знает, что до воплощения ее в жизни ему предстоит еще длинный путь, трудная внутренняя работа освобождения от многих романтических призраков; но он чувствует, что уже близка минута, когда он стряхнет всю внешнюю горечь жизни и найдет в себе силу жить адекватно истине.

Что эта теория не придумана им, а вытекла из недр его натуры, показывает то спокойное мужество, с которым он смотрит назад и вперед. Гнет воспоминаний и страх случайностей, подавлявшие Грановского и Герцена, ему чужды. Ни один из них не имел столько оснований с ужасом и отвращением вспоминать свое прошлое, как Огарев, потому что ни один не расточил так бесплодно молодость, силы, богатство, не заблуждался так часто и не падал так низко, как он. Между тем он совершенно не знает раскаяния. По его терминологии, раскаиваться значит «пребывать в наслаждении своего горевания о том, что поступил не так»[104 – Там же.]; это – неопределенная грусть, довлеющая себе и потому бесплодная. Есть другое отношение к своим ошибкам – внутренне так обновиться, чтобы стать выше горьких воспоминаний. Тогда опыт не парализует человека, а обращается в руководящую и просветляющую силу. В этой безбоязненности взгляда на самого себя, друг на друга и на весь мир, в этой стойкости любви и одушевления среди всех скорбей и ошибок он видит истинное совершеннолетие духа. Если на душе есть пятна, то в душе есть сила очиститься от них, а предаваться самообвинению и пессимизму значит избегать ясного расчета с самим собою и его результата – самообновления; они – порождение тайной трусости, потому что за ними человек ловко скрывает от себя, что ему лень жить здорово и сильно.

С той же суверенной свободой относится он и к будущему. Страх Герцена пред будущим он называет романтизмом наизнанку. Сам он не признает существования глупых случайностей; бояться будущего, говорит он в одном месте, ему мешает сознание связи mit dem Allgemeine[96 – Со всеобщим (нем.)]. Случайное, по его мысли, есть фантазия природы, и природа движется в этой сфере, как движется фантазия в художественном произведении, – вольно, но стройно, безгранично, но целесообразно. Индивидуальность органически входит в мировое целое и подлежит его законам, а следовательно, и случаю, ибо «случаи – отдельные слова в книге судьбы»[105 – Там же.]. Несчастливая случайность, постигшая близкого нам человека, может надолго повергнуть нас в печаль, но враждовать против нее нельзя, как нельзя сердиться на неизбежность смерти, увядания и пр. Как враждовать с природой, с внешней необходимостью, с тем, что вне мира человеческого и, стало быть, вне возможности борьбы и победы? – И точно оправдываясь, он пишет Герцену:

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org

«Что же мне делать, если случайность меня не оскорбляет?»[97 – Этот мудрый фатализм, это – если можно так сказать – благоговенье перед грядущим с удивительной силой выражены Вильгельмом Гумбольдтом в одном сонете: «Есть власть судьбы, таинственная власть. В соединении с силами природы она определяет смертным час страдания и час блаженства; пред ней одной я голову склоняю. Кто чтит судьбы священный приговор, того и тяжкое не сломит горе, и в счастье он надменно не ликует, познав и милости и кары правосудье. Как светила свершают путь свой лучезарный, так неизменно, неотразимо-властно судьба, из тайной дали исходя, пересекает суетные круги желаний наших. Так легкий след в песке сыпучем смывают в час прилива волны моря». [– Humboldt W. Sonette. Berlin, 1853. S. 58 («Friede mit dem Schicksal»)] – примеч. И. Б. Павловой.][106 – Там же.]

Впоследствии Огарев действительно достиг того глубокого внутреннего примирения, которое в половине 40-х годов было для него еще только предчувствием, и в результате этого примирения было спокойное мужество, какого никогда не обрели Грановский и Герцен, а вместе и совершенное освобождение «от романтических призраков». Уже в 1846 году он пишет жене: «Ich bin n?chtern geworden[98 – я становлюсь трезвым (рассудительным) (нем.)]. Я не умею перевести этого немецкого выражения. Это не сухость сердца, не состояние, в котором чувствуешь реальность во всем, в мысли, как и в привязанности, и в котором опыт становится необходимым условием жизни»[107 – Там же.]. И точно, необыкновенная трезвость взгляда, непоколебимый детерминизм как в отношении к самому себе, так и в отношении к вещам и людям, характеризуют его в позднейшие годы. «Он сделался по плечу каждому человеку, – рассказывает Анненков, близко знавший его как раз в половине 40-х годов, – как самому простому, так и самому развитому, потому что одинаково верно понимал их духовные нужды и входил в цепь их мыслей и представлений. Вместе с тем он приобрел редкое хладнокровие суждения, не покидавшее его уже всю остальную жизнь: всякий факт и случай, являвшийся, в свою очередь, как логическое следствие целого предшествующего жизненного процесса, признавался им законным, получал его согласие и поддержку, хотя бы сам по себе не имел претензии на очевидный моральный характер и способен был бы даже возбуждать к себе неприязнь и осуждение. Ту же самую мерку прилагал он и к себе лично. Совершенно ясно и спокойно смотрел он на приближение старости, на умножающиеся припадки злой своей болезни, на грозящее ему разорение, на всю свою потерянную, испорченную жизнь, и не о чем не сожалел, ни в чем не раскаивался». Это была великая духовная сила, притом сознавшая себя, но, правда, сила только пассивная. Прошлой и грядущее не имели власти над ним, не становились между ним и текущей минутой; но от настоящего он умел лишь беззаветно брать то, что оно предлагало ему, – творить в нем он не умел. Он сам очень метко сказал о себе: «Мой враг – не прошедшее, не будущее, а настоящее, в котором я не умею решаться»; другими словами, волевой импульс никогда не достигал у него полной законченности, останавливаясь каждый раз в стадии сосуществования двух или более разнородных стремлений[108 – П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835–1885 годов. СПб., 1892. С. 102.]

V

Итак, несомненно, что из троих друзей Огарев созерцал наиболее беспристрастно, наименее отуманенным взглядом. Он приближался к гегелевскому типу разумного человека, который спокойно признает, что $2 \cdot 2 = 4$, не негодуя на то, что не 3, и не оскорбляясь тем, что не 5. Герцен близко подходил к нему в этом смысле: страх будущего не мешал ему ясно видеть в настоящем. Иное дело Грановский. «Романтизм», крепко коренившийся в его натуре и делавший его вечным данником прошлого, был глубоко враждебен реалистическому взгляду на мир. Огарев, столько же раз терпевший крушение и так много похоронивший в волнах, все же чувствовал себя легко и привольно в открытом море действительности; смело плывал в нем и Герцен, хотя и предвидя бури, – Грановскому он внушало ужас; он не мог забыть, что оно поглотило столько дорогих ему существ, и искал тихую пристань.

Такою тихой пристанью и было его мировоззрение, основанное на пристрастных, но полных неслабющей любви воспоминаниях, на односторонних, но чарующих своей задушевностью верованиях. Ему было не по себе в том новом мире, который открывали тогда естественные науки, – в мире, где царит железный закон детерминизма. Герцен и Огарев ликуя приняли от Фейербаха благую весть

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org

освобождения: он дал им мужество признать за фантастически-освещенный туман те грозные утесы, «о которые бились – от семи греческих мудрецов до Канта и Гегеля – все дерзавшие думать»[109 – Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 389.]. Живое чутье действительности помогло им освободиться от догмата о приоритете логики над природой, затем в мучительных поисках выхода из дуализма идеи и бытия они доработались до сознания необходимости прежде всего постигнуть бытие в нем самом. Отсюда их страстное увлечение в 1843–1846 гг. естественными науками. В конечном итоге их занимала больше всего социальная жизнь, следовательно, история, и вот оба они одновременно приходят к сознанию, что история должна быть основана на антропологии, антропология, в свою очередь, – на физиологии, физиология – на химии; в начале 1845 г. Огарев, сообщая Герцену о курсе антропологии, открытом в Париже Огюстом Контом, и о занятиях Боткина и Фролова естественными науками, с торжеством указывал на то, что новое, положительно-научное воззрение, усвоенное ими обоими, с каждым днем становится все более общим в Европе, что всюду возникает интерес к антропологии, науке о конкретном человеке[110 – См.: Гершензон М. История одной дружбы..., VIII. С. 90.]. Это было действительное освобождение от всякой предвзятой точки зрения, как от спиритуализма, так и от материализма. Они нашли выход из двойственности логики и природы: вещество – такая же абстракция вниз, как логика – абстракция вверх; в конкретной действительности нет собственно ни того, ни другой, а есть их взаимодействие, есть процесс. И они ставят себе задачей беспристрастно изучать этот процесс, не отступая перед крайними выводами изучения; положительная наука не убьет в них идеализма, но даст ему твердую основу, введет его в русло и устремит к реально-практической цели.

Дух времени не миновал и Грановского. Мы видели: наравне с Герценом и Огаревым он признал господствующий в истории детерминизм, «закон или, лучше, необходимость»; он полагает, что ясное знание законов, определяющих движение исторических событий, может быть достигнуто лишь путем внимательного изучения фактов мира духовного и природы в их взаимодействии, и потому считает географию и антропологию основами истории. Но на этих теоретических предпосылках он и останавливается, а из тесных рамок детерминизма одним прыжком неожиданно выходит в безграничную область субъективной теологии. «Необходимость», царящая в истории, оказывается целью исторического движения[111 – См.: «Наше время перестало верить в бессмысленное владычество случая. Новая наука, философия истории, поставила на его место закон, или, лучше сказать, необходимость» – Грановский Т. Н. Сочинения. М., 1892. Т. II. С. 276.]; она – не что иное, как «нравственный закон, в осуществлении которого состоит конечная цель человечества на земле». Отсюда развивается у него целая система исторического оптимизма, вера в божественную связь, охватывающую всю жизнь человечества; в исторический процесс вносится трансцендентальная целесообразность, идущая совершенно вразрез с детерминизмом, и стремление провести эту точку зрения при изучении событий заставляет Грановского сплошь и рядом лихо обходить неразложимые этой целесообразностью глыбы фактов, либо отделяться от них фразой. Когда Огарев в 1845 году прочитал в одной немецкой брошюре меткую критику старого учения о давлении воздушного столба, он писал Герцену: «Автор провел ясно всю негативную половину своей брошюры, но для объяснения явлений иным образом прибегнул к *natura abhorret vacuum* (природа боится пустоты), и тут мне стало тошно. Все мистическое сделалось мне неизмеримо противно, и я не могу без отвращения видеть предположения чисто-нравственного качества в природе, как *abhorret*»[112 – Гершензон М. История одной дружбы..., VIII. С. 91.]. А не задолго перед тем, летом 1844 года, по поводу открытия астрономами пятна на солнечном диске и предсказания Герцена о возможности в будущем такого переворота в солнечной системе, который бесследно сметет всю земную жизнь, Грановский писал жене: «Великий астроном, уверяющий тебя, что пятна на солнце произвели холодное лето и знаменуют переворот в солнечной системе, бессовестно пользуется правом математиков пороть дичь и не знать истории. Это явление повторялось тысячу раз, и каждый раз математики и чернь объясняли его по-своему и выводили страшные заключения... Но пусть будет так, как они говорят. Пусть погаснет это солнце и охладет эта земля, дух будет продолжать начатую им здесь работу где-нибудь в другом месте. Какая китайская нелепость в предположении, что вся жизнь духа связана с органической жизнью нашей планеты исключительно, какая хула на разум, какое отрицание всякой разумной цели в бытии космоса заключается в этой вере в силу слепого, глупого случая, который, черт знает для чего, вздумал запачкать солнце!»[113 – Грановский Т. Н. Грановский Е.Б. 4 августа 1844 г. – Грановский Т. Н. Переписка. Т. II. С. 270.] Разумная цель в бытии космоса – это был такой «антропоморфизм *des Allgemeine*[99 – Всеобщего (нем.).] (говоря языком того времени), и в сравнении с которым *abhorret* автора брошюры об атмосферном

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
давлении представлялось еще довольно безобидной вещью.

Позднее Герцен писал о Грановском, что из него никогда не вышел бы человек чистого мышления, ни строгий естествоиспытатель: он не выдержал бы ни бесстрастную нелюбезность логики, ни бесстрастную объективность природы[114 – См.: «Грановский, сильно сочувствуя тогдашнему научному направлению, не имел ни любви, ни таланта к отвлеченному мышлению. Он очень верно понял свое призвание, избрав главным занятием историю. Из него никогда не вышел бы ни отвлеченный мыслитель, ни замечательный натуралист. Он не выдержал бы ни бесстрастную нелюбезность логики, ни бесстрастную объективность природы; отрешаться от всего для мысли или отрешаться от себя для наблюдения он не мог; человеческие дела, напротив. Састно занимали его» – Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 279–280.]. Действительно, он был лишен той внутренней силы, которая позволяет человеку смотреть в лицо Медузы, не каменея; он должен был отвернуться от зрелища иррациональности природы и еще более ужасного зрелища антиномий исторического процесса. Чтобы не потеряться в хаотическом волнении конкретной действительности, ему нужны были опоры и загородки. Такою внешней опорой и была его вера в нравственную цель истории, такой загородкой – его вера в *jenseit*[100 – Потустороннее (нем.)] – Он сам свидетельствует о том, что религиозные чувства были внушены ему в детстве матерью, потом ослаблены печально проведенной юностью и снова воскрешены влиянием жены. Их укрепил в нем более ряд тяжелых потерь, понесенных им, одна вслед за другой, начиная с 1840 года: в этом году умер Станкевич, вскоре затем Е. П. Фролова, имевшая сильное влияние на Грановского и связанная с ним теплой дружбой, летом 1842 года умерла старшая из нежно-любимых им сестер, в том же году последовала за ней младшая, в 1843 умер брат. Он никогда не примирился с их потерей, они «ежедневно умирали для него снова», и единственным утешением оставалась ему надежда на свидание с ними за гробом. «Не будь же грустна, моя Лиза. Есть другая жизнь, без разлуки»[115 – Грановский Т. Н. Грановской Е.Б. 25 июня 1844 г. – Грановский Т. Н. Переписка. Т. II. С. 260.], писал он однажды жене. Герцен и Огарев в юности и вплоть до конца 30-х годов также отличались глубокой религиозностью; но уже в 1842 году вот что писал в своем дневнике Герцен по поводу смерти Вадима Пассека: «Тайна, и грозная. Сашная тайна! А как наглазно видно тут, что *jenseits* – мечта... «Мы увидимся, скоро увидимся», говорила жена (Пассека); теплое, облегчающее верование, мое последнее верование, за которое я держался всеми силами. Нет, и тебя я принес в жертву истине! А горько с тобою расставаться было, романтическое упование новой жизни»[116 – Герцен А.И. Сочинения. Т. I. С. 47. Дневник 1842 г. Октябрь месяц, 26.]. Расстался с ним, только несколько позднее, и Огарев – и, кажется, трудно ярче обнаружить разницу двух натур: одной, всецело опирающейся на самое себя, и другой, ищущей вне себя опоры, чем это сделал Огарев в следующих строках, обращенных к Грановскому (1845 г.): «Скорбь об утрате близких должна остаться глубоко, скорбью всей жизни; от этого – то я и ненавижу утешения посредством *jenseits*. Они мешают скорби, они облегчают чувство утраты, они – трусость перед страданием»[117 – Гершензон М. История одной дружбы..., VIII. С. 93.].

В своей биографии Грановского А. В. Станкевич считает нужным оправдать его мировоззрение, доказывая, что Грановский дорожил своими верованиями вовсе не из страха расстаться с утешительной и успокаивающей привычкой, а из отвращения к легкомыслию, «в начале изучения и труда уже смело провозглашающему последние результаты науки, возводящему в догмат свои догадки, свои шаткие соображения». Я думаю, что здесь вообще не может быть речи о суде и оправдании, потому что, как выразился однажды сам Грановский, взгляд всякого мыслящего человека есть результат развития целой жизни. Но биограф притом и не прав. Среди бумаг Герцена нашлось неизвестное доселе письмо Грановского к Огареву (от начала января 1845 г.), заключающее в себе искреннее и откровенное признание, так ясно изображающее ход развития его верований, совершенно согласно с нарисованной выше картиной, что сомнению не остается места. Привожу его целиком[101 – Оно составляет приписку к огромному письму Герцена от 1–2 января 1845 г., напечатанному в Русской Мысли 1891 г. VI. С. 21–26. Там же напечатаны и первые строки приписки, до слов «такой же минуты»: этими словами начинается новый листок, который не был в распоряжении издателя «Переписки недавних деятелей»].

«Я не люблю писать писем и диссертаций, вот почему я так редко пишу к тебе и так долго остаюсь профессором *in spe*[102 – В надежде (лат.)]. А между тем мне иногда мучительно хочется поговорить с тобой; думаю: напишу ему то и то, приготовляю в голове огромное послание, но из головы оно не выйдет. Потребность как будто усыплена или не удовлетворена, и я спокойно ожидаю другой такой же минуты. Последнее письмо Герцена задело меня за живое. Я собирался многое

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
написать тебе, и по благородному обычаю написал про себя. Письмо не состоялось. Мне тягостен самый процесс писания, то есть держание пера в руке и пр.

«Странно и досадно! По смерти Станкевича ты и Герцен стали для меня самыми близкими людьми, перед вами обоими мне легче, чем перед другими, раскрывать душу. Узнать меня, кажется, нетрудно, особенно друзьям. Зачем же Герцен так много врет обо мне? Я вылит aus einem Guss[103 – Из одного куска (нем.).] я – романтик и т. д. Все это вздор, но вздор, который мне больно слышать от Герцена. Ему бы можно знать меня покороче. Я – aus einem Guss! Я – весь изорванный и измученный внутренне. Это не фраза. Тебе это известно, может быть. Меня измучили, конечно, не мировые вопросы, а большею частью личные утраты, жизненные опыты, которыми я, без всякого сомнения, богаче всех вас. Я искусственно успокоился от всего в истории и в дружбе. Когда я приехал из Берлина, я не нуждался в jenseits и готов был принять все результаты философии на веру (самый процесс для меня всегда был очень труден даже тогда, когда я занимался логикой при пособии Вердера и Станкевича); я смотрел на эти результаты без страха. Умер Станкевич, умерли сестры, и jenseits стало каким-то постулатом у меня. Многое изменилось во мне от причин чисто-личных. Теперь я отвык совсем от умозрения, я вдался в историю и думаю, что у меня есть призвание к этому делу. Только одно это занятие, этот интерес, с которым, впрочем, так много связано, дает единство моему внутреннему бытию. Да, я понимаю, что от этого я могу показаться посторонним очень ровным, успокоенным в себе человеком. Но Герцен мог бы заглянуть поглубже. Занятие историей, в свою очередь, развило во мне многое и в особенности какой-то скептицизм. Трудно уберечься от него среди этого вечного движения форм и идей. Одно сменяет другое, волна гонит волну. У всякого века была своя истина. Иногда становится грустно и страшно. Я мало читал Спинозу, но из всех философов его одного еще могу читать. Результат всего этого: если бы не было на свете истории, моей жены, всех вас и вина, я, право, не дал бы копейки за жизнь. Я люблю жизнь только за это. Прощай. Журнал не состоялся. Какой же я романтик? Прощай еще раз. Крепко жму тебе руку»[118 – Там же. С. 93–94.].

В этом письме Грановский говорит о двух вещах, которые не следует смешивать: о своих интимных верованиях и своих научных взглядах. Верования свои он и не пытается оправдать или доказать: он прямо заявляет, что они – плод его личного опыта, что они нужны ему, как опора в трудной жизни. Защищает же он только научный скептицизм, основанный на убеждении в относительности и сменяемости добываемых человеком истин. Очевидно, что о причинной связи между его верой и этим скептицизмом нельзя говорить: скептицизм ведет только к отрицанию догматизма и к терпимости, но сам по себе не может порождать положительных верований; он не сеет их семена в душе: он лишь облегчает их рост и упрочение.

К приведенному сейчас письму Герцен сделал такую приписку: «Может, я и в самом деле ошибся с aus einem Gusse, но я, впрочем, не в тех границах употребил это слово, в которых принял Грановский. Дело в том, что он нашел занятие вполне поглощающее, единое, сообразнейшее душе, и глубоко, отчетливо, прекрасно идет по этой дороге. Что касается до обвинения в романтизме – primo это не обвинение, а secundo повтори сам, что ты пишешь о Фролове[104 – В письме от 13 сентября 1844 г. Огарев писал: «... есть границы слабости и силы... Один из самых сильных людей, один из самых близких мне по духу и по душе – Фролов, а иногда и этой силе непереступимая граница. Есть у нас спорные пункты. У него близкое существо на том свете. Случай, несчастье, оскорбление природной святости душевной заставляют искать jenseits [потустороннего – нем.]. Право, чувство границ, зависимость от случая тревожит меня болезненнее всего на свете» и т. д. [727 – В письме от 13 сентября 1844 г. Огарев писал: «... есть границы слабости и силы... Право, чувство границ, зависимость от случая тревожит меня болезненнее всего на свете» и т. д. – Гершензон М. История одной дружбы... VIII. С. 95.]]. Чту за дело, как и почему какие-то элементы взошли в жизнь: речь идет о том, каков человек есть и побеждено ли им внешнее»[119 – Там же. С. 95.].

Именно так стоит здесь этот вопрос для нас.

VI

Мировоззрение Грановского, рано сосредоточившегося на одной специальной отрасли
Страница 67

знания, в своих основных чертах уже окончательно сложилось к 1842 году, когда началась его дружба с Герценом. Последний как раз в это время вступал в последний период своего развития: именно на ближайшие четыре года приходится его знакомство с Фейербахом, изучение Гегеля, решение вопроса об отношении логики к бытию, занятия естественными науками и выход из метафизики к реализму положительной науки. Развитие всякого мыслящего человека сводится к тому, чтобы найти себя в сознании, то есть чтобы выработать себе или отыскать готовыми те сознательные формулы, в которых наиболее полно воплотились бы инстинктивные, врожденные наклонности его духа. В Герцене этот процесс нахождения себя совершился как раз в период 1842–46 гг. В эти годы, когда были написаны статьи о дилетантизме и науке, «Письма об изучении природы», «Крупов» и «По поводу одной драмы» [120 – «О дилетантизме в науке» – 1843 г., «Письма об изучении природы» – 1845, 1846 гг., «Из сочинения доктора Крупова» – 1847 г., «По поводу одной драмы», первая статья цикла «Капризы и раздумье» – 1843 г.], окончательно сложились его нравственно-философские воззрения, в существе оставшиеся неизменными до конца его жизни. Таким образом, те элементы разногласия, которые в начале дружбы, по крайней мере, со стороны Герцена, находились еще в зародыше, к концу этого периода должны были выступить наружу с полной ясностью.

Они не могли не выйти наружу еще и потому, что этого требовал самый характер умственной жизни того круга людей, к которому принадлежали Грановский и Герцен. «Еще бы у нас было неминуемое дело, – говорит Герцен, – которое бы нас совершенно поглощало; а то ведь собственно вся наша деятельность была в сфере мышления и пропаганды наших убеждений... какие же могли быть уступки на этом поле?» [121 – Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 402.] В дневнике он часто возвращается к этой теме, без всякого отношения к своим спорам с Грановским. Он ясно видел, что глубокий, нравственный разрыв с существующим, со всей действительной жизнью, неизбежно должен вести к идиосинкразиям, капризам, нетерпимости: «возможность внутренняя и невозможность внешняя превращает силы в яд, отравляющий жизнь; они загнивают в организме, бродят и разлагаются, отсюда взгляд гнева и желчи, односторонность в самом мышлении» [122 – Герцен А. И. Сочинения. Т. I. С. 199. Дневник 1844 г. Май месяц, 17. В тексте «превращают силы в яд».]

Следовательно, уступок не могло быть и по существу дела, и по болезненно-чуткой настроенности обеих сторон. В особенности уступить не мог Герцен. В назревшей размолвке почин неизбежно должен был исходить от него. Не говоря уже о разнице натур – созерцательной и терпимой натуры Грановского, активной и задорной Герцена, – важно было то, что Грановский отстаивал традиционное воззрение, тогда как Герцен являлся неопитом учения юного, только что выступившего на завоевание и опьяненного своими первыми победами. Это боевое настроение очень сильно сказывается в дневнике Герцена, начиная с 1844 года. Ум от природы преимущественно критический, глубоко-враждебный духу авторитета и всякой туманности мышления, Герцен рано стал, по меткому выражению Анненкова, «неутомимым следователем по части пороков мышления, промахов развития, несообразности действий с их поводами» [123 – П. В. Анненков и его друзья... С. 106.]. Новое, реально-научное направление, которому он отдался теперь, должно было сильно обострить в нем это отвращение к традиционным верованиям, освящаемым общим молчанием, ко всяким непроверенным истинам, и естественно, что борьба против того, что казалось ему ленью или произволом мысли, получила для него в этот период характер священного долга, в осуществлении которого не может быть никаких уступок. Уже в декабре 1844 года, то есть за полтора года до размолвки, он записал в своем дневнике: «Наши личные отношения много вредят характерности и прямоте мнений. Мы, уважая прекрасные качества лиц, жертвуем для них резкостью мысли. Много надобно иметь силы, чтоб плакать и все-таки уметь подписать приговор Камиля Демулена» [124 – Герцен А. И. Сочинения. Т. I. С. 256. Дневник 1844 г. Декабрь месяц, 18. Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 389. В тексте «Былого и дум» – «Камиля Демулен'». В тексте Дневника – «Камиля Де-Мулена!»]. В этой зависти к силе Робеспьера, писал он позднее, уже дремали зачатки злых споров 1846 года. Разрыв действительно стал неизбежным.

В XXXII главе «Былого и Дум» Герцен подробно рассказал историю этого «теоретического разрыва» между ним и Огаревым, с одной стороны, Грановским – с другой; его рассказ пополняется воспоминаниями Анненкова, Панаева и Т. А. Астраковой (в записках Т. П. Пассек) [125 – Анненков П. В. Замечательное десятилетие, гл. XXVII (Впервые – Вестник Европы. 1880. № 4. С. 467–472); Панаев И. И. Литературные воспоминания, гл. V (Впервые – Современник. 1861. № 10. С. 466–467); Воспоминания Т. П. Пассек. 1840–1845 г. (Впервые – Русская

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
Старина. 1877. № 7. С включением воспоминаний Т. А. Астраковой. С. 466–467).]. Разрыв обнаружился летом 1846 года, когда все трое – и Грановский, и Герцен, и только что вернувшийся в Россию после нескольких лет заграничного скитания Огарев – жили на даче в Соколове под Москвою; но он назревал уже года два или больше, как можно видеть и из приведенного выше письма. Герцен рассказывает, что еще прежде, чем им самим стал ясен их раздор, его заметило молодое поколение, совершенно проникнутое реалистическими воззрениями, зачитывавшееся его «Дилетантизмом в науке» и «Письмами об изучении природы», считавшее его и Белинского представителями своих философских мнений и, при всей своей любви к Грановскому, уже начинавшее восставать против его «романтизма». В тиши деревенской жизни, при близости ежедневного общения, разногласие должно было выйти наружу. Оно было слишком существенно, слишком задевало жизненный нерв каждого из участвующих, чтобы даже та горячая любовь, которою они были связаны, могла предотвратить раскол. Каждый теоретический разговор неизбежно приводил к тем же основным вопросам мировоззрения, споры становились все чаще. «Огарев, не видевший меня года четыре, – говорит Герцен, – был совершенно в том направлении, как я. Мы разными путями прошли те же пространства и очутились вместе» [126 – Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 397.]. Грановский, по-видимому, держался оборонительно и старался избежать резкого разрыва; почин решающего спора принадлежал Герцену. Он рассказывает, что однажды этим летом, когда разговор опять коснулся щекотливого пункта, он заметил, «что развитие науки, что современное состояние ее обязывает нас к принятию кое-каких истин, независимо от того, хотим мы или нет; что однажды узнанные, они перестают быть историческими загадками, а делаются просто неопровержимыми фактами сознания, как Эвклидовы теоремы, как Кеплеровы законы, как нераздельность причины и действия, духа и материи» [127 – Там же. С. 398.].

– Все это так мало обязательно, – возразил Грановский, – что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа; с ней исчезает бессмертие души. Может, вам его не надобно, но я слишком много схоронил, чтоб поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо.

– Славно было бы жить на свете, – сказал Герцен, – если бы все то, что кому-нибудь надобно, сейчас и было тут как тут, на манер сказок.

– Подумай, Грановский, – прибавил Огарев, – ведь это своего рода бегство от несчастья.

– Послушайте, – возразил Грановский, бледный и придавая себе вид постороннего, – вы меня искренно обяжете, если не будете никогда со мной говорить об этих предметах. Мало ли есть вещей занимательных и о которых толковать гораздо полезнее и приятнее [128 – Там же. С. 398–399. В тексте «возразил Грановский, слегка изменившись в лице», «Славно было бы жить на свете», – сказал я.].

Этим разговором все было уяснено: «так вот она, межа, – предел и вместе цензура!» Тяжело было так, говорит Герцен, точно кто-нибудь близкий умер [129 – Там же. С. 399. В тексте «Точно кто-нибудь близкий умер, так было тяжело...»]. Как сильна была боль в нем и в Огареве, показывает стихотворение («Искандеру»), сочиненное Огаревым вечером того же дня на дороге в Москву.

Я ехал по полю пустому;
И свеж, и сыр был воздух, и луна
Скучая шла по небу голубому,
И плоская синелась сторона.
В моей душе менялись скорбь и сила,
И мысль моя с тобою говорила.

Все степь да степь! Нет ни души, ни звука;
И еду вдаль я горд и одинок.
Моя судьба во мне. Ни скорбь, ни скука
Не утомят меня. Всему свой срок.
Я правды речь вел строго в дружнем круге –
Ушли друзья в младенческом испуге.

И он ушел – которого как брата
Иль как сестру так нежно я любил!
Мне тяжела, как смерть, его утрата;
Он духом чист и благороден был,

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
Имел он сердце нежное как ласка,
И дружба с ним мне памятна как сказка.

Ты мне один остался неизменный.
Я жду тебя. Мы в жизнь вошли вдвоем;
Таков остался наш союз надменный!
Опять одни мы в грустный путь пойдём,
Об истине глася неутомимо,

И пусть мечты и люди идут мимо. [130 – Огарев Н. П. Искандеру («Я ехал по полю пустому»), 1846 г., осень.]

Грановский страдал не меньше. Позднее, в половине 1849 года, он писал Герцену за границу: «На дружбу мою к вам двум ушли лучшие силы моей души. В ней есть доля страсти, заставлявшая меня плакать в 1846 г. и обвинять себя в бессилии разорвать связь, которая по-видимому, не могла продолжаться. Почти с отчаянием заметил я, что вы прикреплены к моей душе такими нитками, которых нельзя перерезать, не захватив живого мяса» [131 – См.: Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 282–283. Грановский Т. Н. Герцену А. И. 25 августа 1849 г.].

Надо заметить, что теоретическая рознь была обострена в это лето целым рядом мелких недоразумений, бестактностей и взаимных обид, виновником которых в большинстве случаев был, по-видимому, Герцен, но которые вместе с тем обнаруживают напряженно-нервное состояние, в котором находился весь кружок. Явное распадение дружеского круга было одной из главных причин, заставивших Герцена зимою уехать с семьей за границу. Огарев еще осенью поселился в своем пензенском имении.

VII

С Герценом, оставшимся за границей навсегда, Грановский более не виделся; изредка они обменивались письмами, полными горячей взаимной любви, глубокой тоски друг по другу. В Герцене личное раздражение улеглось не скоро. О тоне первых его писем можно судить по ответному письму Грановского от 1847 г.: «Я не отвечал на большую часть твоих писем, потому что они производили на меня нехорошее действие. В них какой-то затаенный упрек, неприязненная *aggr?re pensee* [105 – Задняя мысль (франц.)], которая поминутно пробивается наружу... Твои прежние насмешки над близкими тебе не были обидны, потому что в них была добродушная острота; но ирония твоих писем оскорбляет самолюбие и более живое и благородное чувство. Не лучше ли было прямо написать к нам, пожалуй, жесткое письмо, если ты не был нами доволен, но ты рассыпал свои намеки в письмо к Т. А. (Астраковой) и т. д.; это было нехорошо. Последние дни твои во многом могли доказать тебе, что соколовские споры не ставили следов, и сколько любви и преданности оставил ты за собою... К чему же повторять смешные обвинения в отсутствии деятельной любви, в апатии и пр.» [132 – Грановский Т. Н. Герцену А. И. 1847 г. – Грановский Т. Н. Переписка. Т. II. С. 445–446.]. В Грановском не осталось, по-видимому, и тени горечи: это самое письмо дышит трогательной нежностью, и таковы же все позднейшие его письма. Рознь в убеждениях, ложившаяся пропастью между ним и Герценом, мучила его, и он как будто старался уверить себя, что она исчезла; в том письме 1849 г., из которого выше приведена выдержка, он пишет, вспоминая соколовские споры: «Время это прошло не без пользы для меня. Я вышел победителем из худшей стороны самого себя. Того романтизма, за который вы обвиняли меня, не осталось следа» [133 – Гершензон М. История одной дружбы // Научное слово. 1903. кн. IX. С. 52 (далее: История одной дружбы... IX)]. До самой смерти лелеял он надежду увидеться с другом и еще осенью 1853 года называл ее своей лучшей, отраднейшей мечтой. Многие в заграничных писаниях Герцена было ему не по сердцу, но это не умаляло его любви. Писем Герцена к нему мы не знаем, но в «Былом и Думах» Герцен говорит: «... Если время доказало, что мы могли розно понимать, могли не понимать друг друга и огорчать, то еще больше времени доказало вдвое, что мы не могли не разойтись, ни сделаться чужими, – что на это и самая смерть была бессильна» [134 – Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 282. В тексте «если время доказало».]. Он рассказывает, что получил письмо с известием о смерти Грановского, идя в Ричмонде на железную дорогу. Он прочитал его на ходу и сразу не понял, потом точно в просонках сел в вагон и без мысли смотрел на входивших и выходивших; его клонил тяжелый сон и ему было страшно

холодно. В Лондоне он встретил Таландье; здороваясь с ним, он сказал, что получил дурное письмо, и, как будто сам только что услышал весть, не мог удержаться слез. «Мало было у нас сношений в последнее время, – говорит он в заключение, – но мне нужно было знать, что там, вдали, на нашей родине живет этот человек»[106 – в ненапечатанном письме Герцена к Е. Ф. Коршу от 27 декабря 1855 г., хранящемся в Московском Румянцевском музее, читаем: «Много, очень много оборвалось нитей, связывавших меня с Русью, вместе с жизнью нашего друга... Я думал в случае моей смерти прислать Сашу (сына) к Грановскому и хотел ему писать об этом. Теперь и это лопнуло»[728 – Гершензон М. История одной дружбы... IX. С. 53.]] [135 – Там же. С. 286. В тексте «этот человек!»].

С Огаревым, осенью 1846 года уехавшим в деревню, Грановский в ближайшие годы поддерживал, кажется, деятельную переписку; во всяком случае, их отношения оставались братски-дружественными по-прежнему. Но позднее, уже в начале 50-х годов, между ними сверх теоретической размолвки возникли тяжкие недоразумения чисто-личного свойства, главным образом, из-за недружелюбного отношения Грановского и других московских друзей ко второй жене Огарева Н. А. Огаревой-Тучковой, в чьих воспоминаниях читатель и может найти кое-какие подробности этой грустной истории[136 – Огарева-Тучкова Н. А. Воспоминания. Глава VI (впервые – Русская Старина, 1890. кн. X)]. Целая сеть пересудов, сплетен и взаимных обид опутала и надолго разъединила друзей. Нам нет надобности останавливаться на этом эпизоде; я приведу только для полноты фактического материала те, не бывшие еще в печати, немногочисленные письма из этого времени, которые находятся в моем распоряжении. Следующее письмо Огарева, черновик которого нашелся среди бумаг Герцена, относится, без сомнения, к 1854–1855 гг.

«Грановский!

«В животе и смерти Бог волен», говорит пословица. На простом языке это значит, что не сегодня – завтра умрешь. Грустно умереть или знать, что ты умер, не примирившись. Вследствие этого пишу; выйдет ли письмо длинно или коротко – черт знает! но мне надо высказаться, и потому слушай терпеливо.

«Во время оно, при последнем нашем свидании, ты обвинял меня и мою жену в насильственном браке близких мне людей. Было ли это обвинение сделано на основании только сентиментальных данных или с примесью какого-нибудь враждебного влияния, – это все равно. Обвинение было сделано, несмотря на то, что ты сам мог понять его нелепость. Другое дело Кетчер, который по патологическому состоянию мозга взялся разыгрывать роль procureur durai [107 – Королевского прокурора (франц.)] в отношении к своим друзьям; но от тебя я этого не ожидал. На Кетчера смешно сердиться, но и выносить нелепые оскорбления смешно. Я с ним внутренне разошелся с 1847 года, когда он взвел нелепую клевету на Наташу Герцен со слов Силиньки. Я его жалею и люблю и готов на всякое примирение без объяснений и без права с его стороны на дальнейшие оскорбления; с моей же стороны оскорблений быть не может именно потому, что я его люблю и жалею.

«Ну! а ты с чего? – Да мало этого первого нелепого обвинения, которое меня ошеломило, мало этого: какой-то субъект с гигантской интеллигенцией рассказал, что жена моя говорит, что вы – друзья мои – меня разорили!! И вместе того, чтобы обратиться ко мне с запросом (если уже духу не хватало рассердиться на клевету), вместо того – обвинение субъекта с гигантской интеллигенцией было принято за аксиому! Что же это, из любви и уважения ко мне? Зачем же присылать мне словесно по оказии объяснение в любви и уважении? Этак мог поступить не ты, а какой-нибудь господин, у которого уста медоточивые, а на место сердца вставлена тряпка.

«А после этого станете говорить, что вы наперед знаете, что меня с вами разрознит женщина... Да что же тут мудреного, если дружба будет состоять в том, чтобы оклеветать женщину, которую друг любит и уважает! Подлец я был бы, если бы в таком случае предал женщину за дружбу. А!.. может, это – побуждение ревности? Ты мне говорил, что Кетчер любит ревниво, как женщина. Чувство очень естественное, может быть, в художественном произведении даже и поэтическое, но ни в женщине, ни в мужчине не уважительное – как всякая зависть. Да и год перед этим ты мне выхвалял одну женщину за то, что она не ревнует! за то, что признает волю любви!

«Скажи же, что же это у тебя – также патологическое состояние мозга или увлечение чужими пересудами? Что лучше – не знаю. Даже думаю, что первое лучше.

«Как бы то ни было, но на основании клеветы поездка Наташи в Петербург в минуту бедствий была принята, как желание погубить нас[108 – это было в 1850 году, когда Огарев, Сатин и А. А. Тучков были арестованы и увезены в Петербург: Н. А. Тучкова, тогда еще не венчанная с Огаревым, поехала вслед за ними; московские друзья, по-видимому, и самый арест приписывавшие отчасти этому «незаконному» сожительству, сильно осуждали ее поездку. См. Воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой. М., 1903. С. 80.]. Факт не оправдал опасений. Скажут, что счастливо с рук сошло! Но не лучше ли увидеть, что опасения-то насчет этой поездки были ложны? Есть же, наконец, границы чувству самосохранения! Но из этого вышло то, что ее приняли с видом карателей и упрекателей. За что?.. Знаешь ли, что это отчасти похоже на поступок людей, которые бросают грязью в человека, идущего на виселицу?»

«Наконец я писал к тебе. На это ответа не было, кроме сладких изъяснений в любви и уважении – по оказии. Да уж лучше было бы сказать, что ты и не любишь, и не уважаешь меня! Было бы проще.

«Я приехал в Москву. Ты мне пишешь, что от того, что я к вам не приехал, вам за меня и больно, и стыдно. Кому насколько во всем этом больно, всякий про себя знает, а кому во всем этом стыдно – конечно, не мне. Стыдно любя преследовать хуже, чем ненавидя.

«Но когда ты услышал (вероятно, от Кавелина) о том, что я оскорбляюсь твоей безответностью на мое письмо, ты вместо откровенного сознания в том, что твое молчание было нехорошо, объявляешь (что мне передано Кавелиным и подтверждено Бодиской), что ты не писал оттого, что я все письма показываю моей жене. Если первые клеветы были только нелепы, то эта клевета, Грановский, гадка, потому что придумана в извинение, и тебе действительно должно быть отчаянно стыдно.

«После всего этого, если я скажу тебе, что питаю к тебе беспредельное уважение, – я солгу. Ты сам видишь (вот тебе и зеркало), что это невозможно. Но я люблю тебя quand t'ame[109 – Несмотря ни на что (франц.)] за воспоминания, за хорошие минуты нашей жизни, и легко перепрыгну через – преступления.

«Если же ты намерен настаивать в жалких клеветах, то ты забудь меня, и я постараюсь сделать то же в отношении к тебе; если же ты способен на великодушные откровенности, то приходи ко мне и скажи: прости меня! И я по-прежнему с горячею любовью обойму тебя. Реши как знаешь! В последнем случае назначь мне время, когда мне быть дома, и я тебя буду ждать с нетерпением первой любви. Dixi»[110 – Возможно, что к этому эпизоду относится стихотворение Огарева «Другу», написанное в 50-х годах: Мы с давних пор делили пополам сердца жар, и мысли тайный трепет, Но, зная, не впрок пошло бывшее нам, И смолкло все, как глупый детский лепет. Пожалуй, жаль! Но дружба не спасла, И друга друг с младенческой улыбкой оклеветал!.. И скорбно жизнь прошла, Прошла и вера к этой дружбе зыбкой. Ну что ж? Ведь гнет ошибок и утрата нас не привел еще ко двери гроба? Так не тужи, мой прежде бывший брат, – Мы проживем, хоть врозь, но долго оба.][137 – Гершензон М. История одной дружбы... IX. С. 53–55.].

Среди бумаг Грановского после его смерти нашлось недатированное и, вероятно, не посланное письмо к Огареву, напечатанное теперь в его переписке[138 – Грановский Т. Н. Переписка. Т. II. С. 449.]; оно, очевидно, было ответом на письмо Огарева, аналогичное приведенному сейчас. «Какое гадкое обвинение на тебя приняло мною с отчаянным прекраснородушием? – спрашивает Грановский. – Когда говорил я тебе о тебе, что нас разъединяет различие занятий? В чем видел ты отсутствие симпатии с моей стороны?.. Огарев, нам нечего оправдываться друг перед другом. Придет пора – я крепко держусь за эту надежду – мы сойдемся без объяснений и без оправданий, так же близкие один другому, как в лучшие годы нашей дружбы. Теперь это невозможно.. Твоя судьба мне бесконечно близка, но я не могу следовать сердцем за всеми блужданиями твоего чувства и любить всех, кого ты любишь... Caro[111 – Дорогой! (итал.)]! Я люблю тебя, сколько могу любить. Я недоволен тобою, у меня есть душевные и горькие griefs[112 – Огорчения, горести (англ.)] против тебя, но мысль о разрыве с тобою так страшна, как мысль о смерти. Я не даю ей места в голове моей. Твой Грановский»[139 – Там же.]. Приведу еще несколько строк из письма Грановского к Сатину, писанного за несколько месяцев до смерти, уже после поездки Грановского в Петербург в апреле 1855 года (рукопись): «Пожми за меня руку жене твоей и Огареву. Я буду писать к нему. Скажи ему, что в минуты тяжелой тоски, от которой я только теперь начинаю

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
выздоровливать, я много об нем думал и много любил его. Ближе его у меня нет человека на земле, а между тем, прежнего свободного отношения нет. На сердце много невысказанного, да притом такого, что и высказать трудно. Может быть, при свидании, в одну из тех минут, когда легко и тепло говорится обо всем, свалится с сердца тяжелая ноша. Но когда же наступит это свидание? Знаю только одно: в тяжелые и радостные минуты моей жизни образ Огарева – мой постоянный спутник» [140 – Гершензон М. История одной дружбы... IX. С. 56.]. Есть основания думать, что Огарев, узнав о предсмертной болезни Грановского, поскакал из деревни в Москву, но уже не застал его в живых; по крайней мере, в стихотворении, посвященном памяти Грановского («Мертвому другу»), он говорит:

И ехал я на примиренье, –
Я жаждал искренно сказать
Тебе сердечное прощенье
И от тебя его принять,
Но было поздно...

До своей смерти Огарев хранил клочок бумаги, на котором неизвестною нам рукою написано: «Посылаю вам портрет Грановского, никогда не обвинявшего вас в обстоятельствах, разлучивших вас с ним в последнее время. Я его встретил за несколько дней до его смерти, и он говорил мне о вас с самую нежную дружбою, с полною готовностью по-братски, по-прежнему обнять вас при первом свидании. Желаю, чтобы мое свидетельство утешило вас сколько-нибудь в том, что вы не застали в живых нашего дорогого друга. – 2 марта».

Об этом портрете и упоминает Огарев в том стихотворении:

В наследье мне дала утрата
Портрет с умершего чела;
Гляжу – и будто образ брата
У сердца смерть не отняла,
И вдруг мечта на ум приходит,
Что это только мирный сон, –
Он это спит, улыбка бродит,
И завтра вновь проснется он;
Раздастся голос благородный
И юношам в заветный дар
Он принесет и дух свободный,
И мысли свет, и сердца жар... [141 – Огарев Н. П. Мертвому другу

(«То было осенью унылой») <1858(?)>. См. также: Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 286–289.]

Глава пятая

И. П. Галахов [113 – Глава пятая. И. П. Галахов. Глава создана на основе статьи – Гершензон М. И. П. Галахов. Один из «людей сороковых годов» (Вестник Европы. 1906. № 12. С. 485–501). В Отделе рукописей РГБ в фонде М. О. Гершензона хранятся «Заметки об Иване Павловиче Галахове», 1905. Автограф на отдельных листах, 38 лл. (ОРРГБ. Ф. 746. М. О. Гершензон, 9, 10).]

I

Иван Павлович Галахов был сверстник и приятель Герцена, Огарева, Грановского и многих других «людей 40-х годов», его имя часто попадает в их переписке, еще чаще встречаются имена его двух сестер – Кенни и особенно Фроловой, замечательной женщины, оказавшей сильное влияние на развитие Станкевича и Грановского. Но сведений о нем сохранилось мало. Несколько страниц в «Былом и Думах», где Герцен грустным приветом почтил память Галахова, содержат все, что мы знаем о последнем [142 – «Много смеялись мы его рассказам, но не веселым смехом, а тем, который возбуждал иногда Гоголь. <...> Юмор Галахова не имел ничего

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
светлого, это был юмор человека, живущего в разладе с собой, со средой, сильно жаждающего выйти на покой, на гармонию – но без большой надежды» (ГерценА.И. Былое и думы. Т. II. С. 268). Огарев написал стихотворение «К И.П. Г<алахову>» («Я был один и мысль во мне таилась»), 1839, 5 февраля.]. Эти сведения слишком отрывочны, да и весь силуэт, набросанный Герценом, при всей своей привлекательности слишком бледен, чтобы остановить на себе наше внимание. Зачем же, спросят, вызывать из забвения это безвестное имя и давно угасшую тень?

Мы знали бы об И. П. Галахове немного, если бы не уцелела пачка писем на французском языке к женщине, которую он любил. В этих письмах сказалась такая полнота жизни, так ярко отразился в них дух времени, что они дают возможность глубоко заглянуть не только в душу писавшего их, но и вообще в душу «человека сороковых годов».

Ключ к истории идей всегда лежит в истории чувства. Как изменения земной поверхности являются лишь следствием процессов, совершающихся в недрах земли, так, говоря вообще, и всякое умственное течение имеет своим источником темную и сложную чувственную сферу человеческого духа. Во всякую данную эпоху каждая общественная группа обладает своим особым психическим складом; по законам, которых еще и не пытались исследовать психологи, в каждой такой группе вырабатываются типические чувства и склонности, типические полу-инстинктивные способы реагирования на различные стороны жизни, – и как ни велико влияние идей на психику, вообще надо признать, что сознательное мировоззрение данной группы обуславливается прежде всего этими чувственными навыками (при этом мы, конечно, оставляем в стороне первоначальное влияние экономических, социальных и других внешних условий). Есть эпохи, в истории которых это особенно заметно; кто изучал историю итальянского Возрождения, тот знает, что понять это движение можно только, рассматривая его как революцию в области чувствований, и что такой простой факт, как возникновение в эту эпоху неизвестного до тех пор умения чувствовать красоту ландшафта, гораздо больше дает для понимания «ренессанса», нежели кропотливые исследования о влиянии античной литературы. Сказанным, конечно, вовсе не отрицается самостоятельная важность исследований, направленных на выяснение развития идей, как таковых.

С указанной точки зрения великое движение тридцатых и сороковых годов еще почти совсем не изучено. Это был прежде всего великий переворот в области чувства. Каковы же были формы чувственной жизни, унаследованные тем поколением от прежних? как ломало оно эти формы и как создавало новые, какие чувствования преобладали у него? и т. д., и т. д., – тут возникает ряд таких вопросов, методологически первостепенной важности. И вот в этом смысле письма Галахова являются драгоценным памятником эпохи. В них нет наблюдающего глаза; в них дышит. Семится, ликует и плачет сама жизнь, и в этой жизни так ярко отражается исторический процесс того времени, что они получают характер как бы демонстрации большого перед аудиторией.

Перед нами обыкновенная история, какие случаются каждый день; характерно не то, что случилось, а то, как оно было пережито. фабула нашей повести заключается в том, что Галахов полюбил жену своего друга Огарева; по-видимому, она отвечала Галахову взаимностью, – и перед Галаховым встал страшный вопрос: что делать? – тем более страшный, что он искренно любил и уважал Огарева. Это был вопрос о правах свободного чувства и о смысле брака. Поколением раньше Галахова и поколением позже его молодой человек в его положении решил бы вопрос конкретно, не спускаясь для этого на дно вещей. Но то поколение, к которому принадлежал Галахов, было призвано пересмотреть все устои нравственного быта и оттого ко всему подступало с принципиальной стороны. Галахов принялся резонировать или, – как тогда говорили – gr?beIn[114 – Размышлять, ломать себе голову (нем.)][143 – В работе «Н. П. Огарев и его любовь» (1907) Гершензон назвал первый брак Огарева, выделявшийся своей яркой типичностью среди личных драм того времени, одним из самых характерных эпизодов умственного движения в обществе, которое Анненков окрестил именем «идеализма 30-х годов». На нем, может быть, «наилучше можно изучить не только одну важную сторону мировоззрения, выработанного этими «идеалистами», – именно, их взгляды на любовь и брак, – но и самый процесс возникновения этих взглядов из живого личного опыта. То поколение было призвано пересмотреть все устои нравственного быта; общественная жизнь обновлялась, – но, как всегда бывает, ареною, на которой решалась эта историческая задача, на которой новое боролось со старым и побеждало, было личное чувство и личное сознание. Драма, которая произойдет здесь перед нашими глазами, не была ни случайной, ни единичной. В истории того времени мы знаем много таких

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
столкновений, где на одной стороне стояла непосредственная сила чувства, «Naturgewalt» по тогдашней терминологии, на другой – стремление внести в любовь и брак разумность и свободу» – Гершензон М. Н. П. Огарев и его любовь. – Вестник Европы. 1907. № 10. С. 650.]

Это было в 1841 году, а в 1842-м Герцен писал («По поводу одной драмы»): «Отличительная черта нашей эпохи есть «gr?beIn». Мы не хотим шага сделать, не выразумев его, мы беспрестанно останавливаемся, как Гамлет, и думаем, думаем... некогда действовать; мы переживаем беспрерывно прошедшее и настоящее, все случившееся с нами и с другими, – ищем оправданий, объяснений, доискиваемся мысли, истины. Все окружающее нас подверглось пытующему взгляду критики. Это – болезнь промежуточных эпох. Встарь было не так: все отношения, близкие и дальние, семейные и общественные, были определены – справедливо ли, нет ли, – но определены. Оттого много думать было нечего: стоило сообразоваться с положительным законом, и совесть удовлетворялась»[144 – Герцен А. И. Капризы и раздумье. По поводу одной драмы. – Отечественные Записки. 1843. № 8. С. 96.]

II

В 1841 году, в разгар романа, Галахову было, вероятно, лет тридцать с небольшим. Он происходил из аристократической семьи, юношей был отдан в гвардию, но скоро оставил ее, и жил с тех пор независимым человеком, то в пензенских своих деревнях, то скитаясь по Европе, в поисках истины и красоты. Так скитались тогда – в 1838–1842 гг. – и Огарев, и Сатин, и Станкевич, и Тургенев, и многие другие богатые помещичьи сынки, которым на родине было слишком душно, а на Западе слишком шумно. Все они соединяли в себе высшие запросы европейской мысли с бурной восприимчивостью варваров, а Галахов был среди них одним из самых образованных и наиболее пылких. Герцен изображает его так: «Ум сильный, но больше порывистый и страстный, чем диалектический, он с строптивой нетерпеливостью хотел вынудить истину, и притом практическую, сейчас прилагаемую к жизни». В этих страстных поисках он бросался всюду – «постучался даже в католическую церковь»[145 – Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 268, 269.], потом углубился в философию, но, напуганный ее холодностью, ушел и от нее и на несколько лет увлекся фуэриеризмом. Глубокая неудовлетворенность, внутренний разлад и растущая вместе с опытом безнадежность обрести душевную гармонию наложили на него печать тайной грусти, которая еще оттенялась присущим ему юмором. Он томился в праздности и не мог найти себе дела, ненавидел русскую грубость и презирал западное вылощенное «мещанство». В его нежной организации было много женского, и не только в смысле трепетной чуткости сердца, но и в смысле упорного консервативного романтизма. Этот романтизм, придающий такую чарующую теплоту его образу, сделал то, что Галахов, как и Грановский, остановился на полдороге в деле освобождения собственной личности, – деле, к которому было призвано их поколение. Может быть, именно поэтому Галахов так типичен.

Он типичен для своего поколения, прежде всего, сочетанием чрезвычайной напряженности чувства, доходящей до восторга, до слез, до умиления, – с непрерывным самоанализом, оценивающим каждое переживание и подозревающим в искусственности каждое собственное чувство. Все они жили двойной жизнью: в мире мечты и в банальной ежедневности. Той здоровой середины, которую мы теперь зовем действительностью, они совсем не знали, – отсюда чувство глубочайшего разлада между требованиями своего духа и жизнью, никогда не покидавшее их. Правда, их мысль деятельно работала над вопросом о перестройке жизни согласно требованиям просвещенного разума, но эта работа оставалась чисто-теоретической, и результаты ее, так сказать, извне прикладывались к жизни, а не являлись плодом опыта, освещаемого теорией.

Письма Галахова к Марье Львовне необыкновенно ярко рисуют весь этот ряд чувствований и настроений. «Иногда, – пишет он, – сердце так полно, что невозможно передать. Тут и радости, и надежды, и особенно стремления, которые трудно выразить, потому что они превосходят не только действительность, но и нынешнюю возможность; между тем они дают мгновения восторга, часы и дни отчаяния. Наперекор всем силам природы, внутренний голос, печальный и гармоничный вместе, шепчет: выход только в смерти, потому что ничего не

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosofff.org
случилось, потому что воображение, мысль и чувство превосходят все, что может быть достигнуто нашими средствами»[146 – Гершензон М. И. П. Галахов... С. 488.]. Этому мучительному разладу он приписывает и свою склонность к странствиям. Скитальческая жизнь ему надоела, но все же он предпочитает ее неподвижности: «желание и мысль не дают покоя, а действительность – всегда лишь зародыш»[147 – Там же.]. «Ах, Мария! – пишет он. – Я не могу угадать окончательного направления, которое примет моя жизнь. Она была тревожна и трудна, в ней и теперь нет спокойствия; я не могу сидеть на месте; едва остановлюсь где-нибудь, уже я должен бежать, как из тюрьмы. Это болезнь; мне кажется даже, что всего лучше я чувствую себя в самой дороге, где отсутствует всякий житейский уклад. Я желаю от себя и от вещей большего, чем в них есть. А время уходит, и жизнь с ним»[148 – Там же. С. 488–489. В тексте «Вестника Европы» «и я с ним».].

Из этого разлада рождалось особое чувство, представлявшее собою как бы фокус чувственной жизни тех людей: жажда упоения или блаженства. Венцом жизни казались те минуты, когда какое-нибудь одно мощное впечатление всецело овладевает душой и возносит ее до восторга, так что пошлая действительность исчезает из глаз, нет ни прошлого, ни будущего, ни рефлексии. Это упоение дается искусством, всего чаще любовью, но способно рождаться в душе и самопроизвольно, например, по действию воспоминания; одни называли его «полным аккордом», а Огарев – его призванный певец – называл шутя свою тоску по нем жаждою того, «чем из самовара пахнет» (угара)[149 – в опубликованной Гершензоном заметке Огарева, адресованной, по его мнению, Герцену в 1846 г., в частности говорится: «Полный аккорд кажется что-то сам по себе; а он только отрицание диссонансов. Музыка, то есть гармония, не может существовать без диссонансов и их отрицания. И жизнь делает то же. Если бы у нас все шло как по маслу – нечего было бы делать. Полный аккорд сам по себе, без диссонансов, дает только мертвую гармонию. Без диссонансов пропадает всякое эстетическое чувство. А мы требуем от жизни покоя!» – Гершензон М. Русские писатели в их переписке. Герцен и Огарев. – Русская мысль. 1902. кн. XI. С. 148. Другое выражение обнаружено в письмах Станкевича Грановскому 23 апреля 1838 г. и 11 июля 1838 г.: Станкевич Н. В. Переписка... С. 243, 262. См. также часть первую поэмы «Юмор» (1840–1841 гг.), где Огарев писал: куда б ни ехать – все равно, Везде с собою сами в споре, Мученье мы найдем одно, Аккорд нам полный, господа, Звучать не станет никогда.]. Это чувство близко знакомо и Галахову. «Часто, – пишет он Огаревой, – я слышу музыку из моего окна, и когда звучит один из этих венских вальсов, то молящих, то влекущих и торжествующих, – я слушаю и хотел бы вместе с вами быть на каком-нибудь блестящем празднестве; и при звуках этого пошлого танца мои мечты и сожаления несутся, мне жаль моей молодости и исчезающей, почти уже исчезнувшей свежести; я хотел бы, чтоб меня подхватил и унес вихрь наслаждений и блаженства, который поднимает в моем воображении призыв смычка. А вокруг меня все так сурово – жизнь других и моя собственная, и надо идти среди самоотречения, борьбы и ночи, и иной раз так не хочется, а нужно»[150 – Гершензон М. И. П. Галахов... С. 489.].

Это писано с Гельголанда, маленького острова в Северном море, где Галахов прожил несколько дней летом 1841 года. Он пишет далее, что иногда ему кажется спасением – всецело отдаться общим интересам, но порою этот спасительный маяк исчезает за облаками личной жизни. «И потом, я не могу довольствоваться тем, что моя голова набита мыслями, как книга: мне надо жить и действовать ими и среди них, иначе я должен жить чем-нибудь другим. Между тем я и это ставлю себе в вину; мне точно стыдно, что я неспособен мирно жить мыслью и чувством, без всякой внешней сферы отношений и деятельности, на бесконечно малом пространстве этого островка и в бесконечно тесных пределах моей комнаты. Но уверяю вас – это невозможно: можно задохнуться. Лучшее, что остается, это – сесть в лодку и выкупаться с небольшой мели, которая лежит насупротив. Это я и сделал сегодня. Потом ходишь вокруг своего дома, как на игральной карте, и возвращаешься в свою лачужку, как пленник»[151 – Там же. С. 489 – 490.].

Он не живет совсем, – потому что нельзя же назвать жизнью то пассивное существование, которое он влачит, – но, не живя, он беспрестанно занят размышлением о том, что ему нужно для настоящей жизни. Общие условия довольства ему совершенно ясны: это, прежде всего, привязанность, затем интерес к вещам, потом здоровье и, наконец, занятие. Но каковы его личные, специальные условия, требуемые его природой? На это Галахов, по тщательном самоуглублении, отвечает так: «Я должен любить женщину и быть с нею, или любить какую-нибудь вещь, какой-нибудь принцип, то есть либо одного человека, либо весь мир; но кто бы ни был предмет моей любви, мне нужно, чтобы он владел мною, наполнял меня, чтобы я

мог ему служить, быть деятельным для него, вести его вперед, потому что я вижу – мне совершенно нестерпимо жить в отрицании или голом созерцании, так же, как положительно жить для себя, ограничиваясь собственной драгоценной особой, то есть заботой о том, чтобы быть здоровым, хорошо себя чувствовать, хорошо есть и пить и т. д.»[152 – Там же. С. 490.]

Но этот ответ был еще недостаточно ясен: оставался выбор между человеком и идеей, и спустя некоторое время Галахов выносит свое окончательное решение: «Я испытал себя и сказал себе: либо существо, которое любишь и которое тебя любит, которого не покидаешь и которое тебя не покидает никогда-никогда, либо культ добра и сознанный истины и настойчивая деятельность, обусловливаемая им, – вне этой дилеммы я не вижу спасения для себя. И в это самое мгновение я почувствовал себя равнодушным к делу добра и исканию истины, – более равнодушным, чем до того: я потерял ее след и возле меня не было никого, я был один и видел себя одиноким в будущем, и меня охватило отчаяние. Я не могу так жить, – звучал внутри меня голос, – это невозможно; я всеми силами ухвачусь за первую женщину, которая захочет остаться со мною»[153 – Там же.]. Мало того, что это – постулат его сердца, он возводит его и в принцип; он пишет в другом письме, что и сам когда-то поклонялся будущему и славе, «но когда, долго взглядевшись, откроешь вместо божественных черт обличья грозящих чудовищ и груды разнородных элементов, тогда уходишь с горечью в сердце и пустотой в голове; надежда гаснет и вера исчезает. Но если из глубины души возникнет любовь и благодать, которым ничто не чуждо, тогда все спасено для личности и общества: вместо идолов, созданных воображением и отдельными страстями, поклоняешься Богу, ищешь истину, и каждая частица этой истины, найденная умом, движимым любовью, содействует водворению порядка, свободы и благоденствия, оживотворению веры и надежды»[154 – Там же. С. 490 – 491.]. Любовь всегда благотворна для человека – даже любовь ко многим, тем более к одному существу; она не убивает рвения к добру, а, напротив, усиливает его: «Из глубочайшего самоотречения и полнейшего взаимного присвоения в любви рождается для человека наибольшая свобода и наибольшая мощь вовне, ибо, найдя себя в одном существе, перестаешь искать себя в остальных»[155 – Там же. С. 491.].

III

И вот Галахов полюбил и встретил взаимность.

Женщина, которую он полюбил, представляла, можно сказать, его противоположность: насколько в нем воплотился северный тип, тяжелый, меланхолический и нервный, настолько Мария Львовна Огарева олицетворяла собою каприз и легкую женственность. Натура даровитая, гибкая, смелая, она была действительно «изменчива как волна», и законы света были ей ни почем. Бедная племянница провинциального губернатора, она быстро развернулась, выйдя замуж за миллионера Огарева, и, скоро разойдясь с ним во вкусах, зажила блестящей и угарной жизнью львицы модных курортов, среди дилетантских увлечений искусством, флирта и пр. Без сомнения, в ней жили какие-то глубокие и страстные запросы, которых она не умела осмыслить; самая любовь к ней Галахова свидетельствует о тонкости и изяществе ее духовного склада[156 – П. В. Анненков дал такую характеристику Марии Львовны: «Марья Львовна Огарева принадлежала к тому типу русских женщин, тогда еще очень многочисленному, которые никогда не умели разобраться в своих чувствах. По различным и противоположным отзывам о ней ее современников уже можно заключить, что она представляла из себя амальгаму возвышенных стремлений и пустых наклонностей, чередовавшихся в ее душе с необычайною быстротой. Догадка эта подтверждается всем тем, что мы знаем из ее жизни. Жизнь эта протекала у нее в беспрестанных переходах из строгих воззрений на свое призвание к позорным падениям, большею частью еще и неожиданным. Она не оставила после себя никаких привязанностей, хотя и не скупилась на жертвы для их приобретения. Иначе и не могло быть по условиям ее ума и природы. В пылу благородных увлечений она мечтала о прелести беззаветного существования и, спускаясь в низшие порядки жизни, призывала утерянный рай высших идеальных стремлений; философская пропаганда, утопические и радикальные мнения, которых она сделалась обязательно слушательницей и свидетельницей по выходе замуж, окончательно сбили ее с толка. Она приобрела от них привычку смешивать влечения страстей и врожденных инстинктов с основами морали и принципами независимого мышления. Сущность ее

характера однако ж была не очень сложна: основным тоном его было врожденное влечение к шуму, приключениям, чувственным наслаждениям и умственному раздражению, которое было только видоизменением их» – П. В. Анненков и его друзья... С. 92.]. Ей было в это время лет двадцать пять; она была уже 3 года замужем за Огаревым. Судя по портретам, ее нельзя назвать красавицей, но ее оживленное, миловидное лицо и грациозная фигура вероятно производили очень выгодное впечатление. Галахов знал ее все эти три года, и она всегда ему нравилась; но решающее значение имела зима 1840 года, которую оба они провели в Москве. Мария Львовна сумела вовлечь Галахова в водоворот своей жизни, в свои легкие и непринужденные затеи. Позднее он как-то писал ей: «Мне любопытно знать, как вы будете чувствовать себя теперь в Неаполе, встретите ли симпатичных вам людей, чтобы смеяться с ними над всяким пустяком, как со мною. Теперь я уже так не смеюсь; я говорил вам всегда, что это было исключением, что это была ваша вина, что обыкновенно я серьезен, грустен и даже молчалив. Вероятно мне уже никогда не провести такой оживленной, занятой и упоительной зимы, какую я провел бок-о-бок с вами, и едва ли я встречу еще женщину, в которой было бы столько находчивости, воли, капризов и фантазий, как в вас». Результатом этой дружбы было то, что «лучистый взор и детская веселость»[157 – Гершензон М. И. П. Галахов... С. 492.] Марии Львовны околдовали Галахова. Его короткий роман разыгрался следующим летом (то есть 1841 года), когда Мария Львовна жила в Эмсе и Карлсбаде, а он точно в горячке метался от нее к сестре в Кезен, отсюда в Гамбург, обратно в Карлсбад, и т. д., всюду унося с собою ее образ, отовсюду простирая к ней руки в страстной тоске: «O? ?tes vous, ch?re Marie, ma réalite phantastique?»[115 – «Где Вы, дорогая Мари, моя фантастическая реальность» (франц.).][158 – Там же.]

Сначала, когда он только что сознал свое чувство, в нем не возникало никакой борьбы. Она – жена другого, жена друга, хотя и охладевшая к мужу и живущая в разлуке с ним, значит, его чувство должно умереть; тут нет места ни сомнениям, ни вопросу. Самое большее, о чем он может мечтать, это – жить в одном городе с нею, сохранить ее дружбу. В июле 1841 г., в одну из своих кратковременных отлучек, он пишет Марии Львовне: «Моя милая, добрая, увлекательная Мария, как мне грустно быть вдали от вас! Я твержу вам об этом со дня отъезда. Мне кажется, что разлука с вами еще ни разу не мучила меня так. Обнимаю ваши колени. Вы выказали мне столько привязанности, внимания и интимности, что эта роскошь сделалась для меня необходимостью и что я принужден отказаться от нее. Но зачем же удаляться, почему не оставаться вместе? Гм! – потому что ко всему примешивается противоречие, и потому что я не могу выносить его ежедневно, не подвигаясь ни в ту, ни в другую сторону. Иногда я испытываю то сожаление – долгое, хотя длящееся миг, – которое чувствует, может быть, изгнанник, когда перед ним убегает его родная страна, а он вынужден искать новое отечество. Вы, столь хрупкая, столь юная, то шаловливая, веселая, то грустная или унылая, – вы могли бы быть для меня стойкой опорой: человек обеспечен во всем, когда удовлетворена его главная потребность. Между тем нужно уйти, нужно искать других симпатий, новых интересов и связей, когда вовсе этого не хочется, когда хотелось бы только продолжения старых. Вы не скажете, что это сделка с самим собою или пустые бредни, – вы поймете, что, по крайней мере, для одной стороны, это – невозможность и справедливость, и вместе жертва. Но сколько боли во всем этом!»[159 – Там же. С. 492 – 493.] Мария Львовна собиралась оставаться за границей еще год или два для лечения, а Галахову предстояло осенью по делам имения надолго вернуться в Россию; по этому поводу он пишет далее: «Я еще не могу освоиться с мыслью, что мы расстанемся надолго, и меня охватывает желание броситься к вам или крикнуть вам: вернись и останься! Страшно подумать, что время отдалит нас друг от друга, что мы состаримся и охладеем и будем искать иных отношений и переделывать старые. Но что делать?! Люди и жизнь так странно устроены; кажется, будто второстепенные интересы одерживают верх над высшими, но в действительности высшие одерживают верх над теми. Я боюсь рабства и лжи; свобода и честность легко подвергаются опасности. Может быть, вам будет скучно читать мою болтовню, но вы поймете, что я хотел сказать вам только, что много люблю вас, что вы очаровательны, что мне недостает вас, что без вас меняется цвет вещей, что я тоскую по вас, Мария, что любовью меня подкупают бесконечно, что оставаясь один, я должен призывать на помощь все свое мужество, чтобы жить, что мне безумно хочется вас видеть»[160 – Там же. С. 493.]. Под конец он опять возвращается к мысли о разлуке и пишет по-русски: «Я хоть немножко стою вас и так смешон, что воображаю, что хоть горько, но надо мне вас убегать; какая глупость! А так хочется быть с вами много-много, долго-долго! Бросьте лечиться, приезжайте в Москву!..»[161 – Там же.]

Но его страсть развивалась быстрым темпом. Прошло еще три недели, и он уже едва владеет собою. То, что он раньше с грустной покорностью принимал, как элементарный долг, теперь ему уже почти не под силу. 2 августа он опять уехал на два-три дня из Карлсбада к сестре в Кезен, и в тот же день, ночью, он оттуда пишет Марье Львовне (это письмо писано по-русски): «Видно, я к вам очень привязался. Я два часа тому как приехал. Вечер был свежий, но ясный, места красивые, я ехал один и скоро, ветер дул в лицо; мысли наедине разные ходили, я жался и крепился, заглядывая в даль свою, и говорил себе между прочим: разорву записку и писать не стану, – надо пожертвовать и оборот дать другой, необходимый, ограниченный, не себялюбивый. Наконец подъехал я к дому сестры, она вышла, мы обнялись. У ней мило; она была весела, обняла меня, радовалась, нашла, что я стал весел, спросила про вас, и мне так стало ужасно жалко, что вас тут нет; пробыв с сестрой, готов бы сейчас опять к вам скакать; такая жажда быть с вами совсем коротким, и вы чтоб также были как сестра, издалека кажется возможным и забываешь бунтующую природу, и хочется какого-то невыразимого наслаждения и свободы, и любви, и продолжения, и близости, – и не расстраивая вещей и без укора все это хочется найти в вас, и так жалко-жалко, что надо отвлекаться, так досадно, что надо смотреть за собой! И я почувствовал в себе какую-то светлую, сильную минуту, мне как будто все принадлежало и мог бы всем владеть – и оттого пишу, и благодарю, и обнимаю вас, и целую у вас руки» [162 – Там же. С. 493 – 494.]. Он говорит дальше о своем твердом решении уехать в Россию: как ни тяжело отрываться от тех, кого он любит, но долг и необходимость повелевают ему ехать. Мария Львовна, должно быть, дразнила его пророчеством, что в России он женится. «У меня просьба к вам, Мария, – пишет он. – Если я женюсь, сделайте с вашей любовью ко мне что хотите, – я не буду жаловаться, я не скажу ни слова; но до тех пор сохраните мне живую и нежную привязанность, и, когда я вернусь к вам, будьте со мною, как друг, – вполне свободной. Я не вернусь раньше, нежели сознаю, что могу выносить и заслуживаю это» [163 – Там же. С. 494.]. И тут же – внезапный взрыв страсти и восхищения: «Вы обворожительны и прекрасны, и наивны, и смелы, и забавны, я помню все в вас, и ваши белые и фиолетовые платья, которые я так люблю» [164 – Там же.].

Очевидно, надо было на что-нибудь решиться. 8 августа мы видим Галахова на о. Гельголанде: истерзанный, раздираемый страстью и рефлексией, он бежал сюда, чтобы собраться с мыслями перед окончательной разлукой. Девять дней, проведенные лицом к лицу с морем, действительно успокоили его. Разумеется, он писал ежедневно. Сидя подолгу на уступе береговой скалы, он передумывал свою жизнь, думал «о бесплодности своих дней, о смерти глубоких убеждений, животворящих верований» [165 – Там же.], думал о том, почему ускользают от него люди и вещи и он вечно один, и чего жаждет его тоскующая душа. Здесь в письмах к Марье Львовне он формулировал те свои желания и мечты об активной любви, о женской привязанности, с которыми читатель уже познакомился выше. И все эти мысли сводились к ней и к вопросу, как быть. Не практической развязки он жаждал, а внутреннего просветления, мира с самим собою; ему стала невмоготу эта жгучая нерешимость, – лучше было не родиться, чем так тянуть изо дня в день. По мере того как он успокаивался, сознание одерживало верх над страстью: хорошо, он попытается жить один в мире идей, не мучась отсутствием людей, довольствуясь дальними привязанностями, а если это окажется ему не под силу, он откажется от всякого притязания на роскошь бытия и станет жить близ нее, если она позволит, – нет, близ них (он разумеет ее и Огарева), верным другом до смерти, довольный ее ежедневной добротой и по мере сил стараясь быть полезным для их существования. Если же не удастся и это, тогда он будет жить несчастный, с вечным упреком самому себе и судьбе.

Пока он так размышлял, Мария Львовна тоже решала возникшую задачу, но решала по-своему. Галахов был до такой степени поглощен самоанализом, что в сущности вовсе забыл о Марии Львовне. Размышляя и решаясь, он совершенно не принимал в расчет ее чувств, ее положения в этом деле. Между тем в ней роман с Галаховым вызвал совсем другие чувства и мысли, и Галахов должен был бы понять это. Она сама говорила ему, что никакой мужчина не может сделать ее счастливой надолго, да она и сама неспособна дать не то что счастье, а даже покой; она говорила ему, что предпочитает брать, чем давать, что не любит слова «всегда», что она неукротима и причудлива, что ее можно отпугнуть одним словом, и тогда она способна сразу порвать связь, казавшуюся прочной. Это все он повторяет в своих письмах. Он очень хорошо ее знает; он пишет ей однажды: «Когда вы любите, вы способны на всякие сумасбродства не хуже мужчины. И, несмотря на мужские черточки в вашем характере, вы больше женщина, чем всякая другая, вы свое сердце в высочайшей степени; с вами нечего рассуждать – вас надо заставить

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
полюбить себя»[166 – Там же. С. 495.]. Но на деле, в своих принципиальных выкладках он считался только со своими чувствами и своими потребностями. Этот бессознательный эгоизм очень характерен для человека 40-х годов.

Когда, 18 августа, Галахов, простившись с Гельголандом, переплыл в Любек, он нашел здесь два письма от Марии Львовны, в ответ на свои, писанные с Гельголанда. Эти два письма изумили, потрясли, больше того – испугали его. В них грозно и требовательно прозвучало то, о чем он совсем и не подумал, – голос женской страсти и женского оскорбленного самолюбия. Мария Львовна, наконец, потеряла терпение; ей надоело быть объектом самоанализа, ей противно стало смотреть на эту бессильную любовь, ее возмущало пренебрежение правами ее чувства, ее волею. Вы три года добивались моей любви, писала она; вы делали все, чтобы привлечь мое внимание и возбудить мое чувство к вам, и, когда вы, наконец, достигли цели, вы медлите в нерешительности. Вы добились моей любви – почему же вы не взяли меня? Так ли поступает страсть? Нет, если бы вы действительно любили, вы не стали бы философствовать, вас не остановили бы принципиальные сомнения. Да и какой тут может быть вопрос? Страсть сама в себе носит свое право. И почему смотреть на обладание женщиной с суеверным страхом и обставлять его тысячью условий, как некое священнодействие? Я горько проучена вами, и отныне буду осторожней. Мне не нужно больше любви; я буду искать твердой дружеской руки, которая удерживала бы меня от необдуманных шагов и непоследовательности; вы же и впредь останетесь мне дороги, но только как книга[167 – Там же. С. 496.].

Это было ударом бича, и в первую минуту Галахов растерялся. Что он мог противопоставить этой неотразимой цельности чувства? Ее можно было победить только другою, высшею цельностью, а он сам был так далек от гармонии, в нем все было так раздергано, такая путаница чувств и мыслей! Между тем, отречься от своих сомнений он не мог. Цельность Марии Львовны была цельностью неосмысленной страсти; признать ее законность значило для Галахова запятнать свой человеческий образ, отказаться от собственного сознания. Вся задача и гордость его поколения заключалась в том, чтобы внести логику и справедливость в хаос человеческих отношений, подчинить жизнь, быт, собственное поведение разуму: мог ли Галахов изменить этому великому делу? мог ли признать абсолютное право за страстью?

Он отвечал Марии Львовне огромным письмом в двенадцать страниц убористого почерка, писаным частью в ночь того же 18 августа, пока не догорела свеча, частью утром. В этом письме много любви, много страдания, но вопрос уже решен определенно. Удар, нанесенный Галахову письмом Марии Львовны, оказался благотворным: он окончательно сознал себя – и на декларацию безусловных прав страсти отвечает декларацией прав разума над страстью.

«Я спешил сюда, – пишет он, – чтобы найти от вас весточку, Мария, и сегодня получил ваши два письма. Их содержание кипит и клокочет и заливает меня, как волны моря, которое я только что покинул; но я не в силах справиться с ним и выхожу из него не укрепленный, а сломленный. Чтобы ответить на это излияние, источник которого в нашем взаимном влечении и взаимном лишении, надо было бы все сказать, все объяснить, убедить и столкнуться с полной ясностью и искренностью, а для того, чтобы это объяснение было действительным и удовлетворило нас, оно должно было бы сопровождаться превращением желания в добровольное самоотречение и личного чувства – в культ общих идей и чувств; или же ничего не сказать, фактически подать руку друг другу, прижать друг друга к груди, любить и идти так в жизни и умереть, если можно, вместе в безумстве восторга. Ни тот, ни другой ответ, по-видимому, невозможен. Но как остаться безмолвным в виду всего, что содержат ваши страницы? В сущности нам не о чем рассуждать и не о чем объясняться, кроме нашего взаимного отношения, потому что, столкнувшись о нем, мы бы, думаю, легко согласились во всем прочем. Но именно этого нет, и мы бродим вокруг вещей и принципов, чтобы найти, по крайней мере, разумное основание для этих отношений и поступков. И это законно, потому что не надо действовать безумно или по капризу, надо сохранить остаток рассудительности и воли, надо знать, для чего насилуешь и мучишь себя. У вас немного запутана голова, а у меня немного запутаны сердце и чувства, поэтому вы не будете последовательны в ваших мыслях, чтобы не слишком страдать сердцем, я же не буду последователен в требованиях сердца и чувств, чтобы не слишком страдал мой ум. Отдаться мужчине, говорите вы, столь же предосудительно, как выпить стакан шампанского. Вы правы: это столь же естественно, если бы последствия не были иные. Стоит мне пожелать вас, и вы моя, – это для меня куда как удобно; но в этом случае вы не уподобите обладание вами глотку шампанского, вы отвергнете его, как унижающую вас

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org

пошлость: вы ставите условием симпатию, дружбу, прочность отношений. Прекрасно, – я принимаю это условие, но тогда расстаньтесь с мужем, с его богатством и именем, они более не принадлежат вам, это ясно, как день. Да и что ему делать, этому третьему, между двумя людьми, которые принадлежат друг другу сердцем, телом и душой, потому что обладание есть великое присвоение любимого существа. И затем признайте справедливым и естественным, чтобы общество знало, что вы любите такого-то и принадлежите ему, и не бойтесь огласки. Но этого вы не хотите, вы хотите компромисса в мыслях, а в действительности невозможного. Любовник-друг, любовник или друг! Я был бы счастлив быть для вас первым, мог бы быть и вторым – с горечью за вас и за себя, но третьим теперь и вблизи я не могу быть искренно. Чтобы не увязнуть в пошлости, лжи и противоречиях, чтобы эмансипироваться, то есть стать свободной на деле, как на словах, воздействовать примером на прогресс, женщина должна бесповоротно выбрать одно из двух начал: либо законы современного брака, либо фурыеризм; и если она хочет теперь же выступить из круга установленных отношений, она должна граждански поставить себя независимо и взять себе одного или нескольких любовников, рискуя в современном обществе остаться со всеми своими детьми на руках, – такова Жорж Занд. Но нужно мужество, чтобы так поступать перед лицом общества, столь сурово карающего за явные грехи. Все остальное – противоречие. Утверждать, что женщина способна в том и в другом случае быть цельной и последовательной, не значит презирать ее»[168 – Там же. С. 497–498. В тексте «Вестника Европы» «Прекрасно, – это условие принимаю», «между двух людей».]

Во второй половине письма Галахов как бы прощается со своим чувством. Он говорит о том, как больно ему сознавать, что он должен искать счастья у другой женщины, и что встреча с этой другой навеки отдаст его от нее. Когда он думает об этом, его сердце сжимается, краски блекнут в его глазах. Он желает ей счастья – если возможно, с Огаревым, потому что он любит Огарева. «Он играл важную роль в наших отношениях. Когда бы не он – простите, Мария, но я говорю не о вас, а только о своем поведении, – с одним собою я не боролся бы так и наперекор всем нашим теориям легче поддался бы соблазну не так много жертвовать идеям»[169 – Гершензон М. И. П. Галахов... С. 498.]... «Вы не знаете, чего мне стоит эта борьба и разрыв, каково мне сдерживать мое страстное чувство к вам, тем более, что минутами это мне самому кажется нелепым. Я не притягиваю чувства за волосы, напротив, я не доверяю своим и часто подрываю чужие, но то, что я говорю, верно. Минутами я испытываю безмерную потребность видеть вас, держать вас возле себя, во мне молча звучит голос: «несчастен без нее, счастлив с нею», – тогда я начинаю метаться и говорить себе, что это выдумка, что я могу найти счастье в чем-нибудь другом, в другой женщине, – и в ту же минуту мне этого не хочется, я люблю мое страдание, а все прочее мне кажется невозможным или основанным на умерщвлении чувства, которое я не хочу приносить в жертву... Но, ради Бога, поймите и не говорите, что я неправ. Верьте, что мне самому иной раз невыносима моя правда, но я не могу отделиться в рабство духом и положением, это сильнее меня, – и вот почему я разрываю. Говорите мне, что еще любите меня, говорите мне, как вы живете, но не давайте мне и не требуйте от меня объяснений; они немногого стоят, – мы оба правы. Но скажите мне: были бы вы навеки счастливы со мною? хотели бы вы никогда не оставлять меня, всегда быть со мною и любить меня страстно, не потому, что я этого стою, а по прихоти, без всякой причины?»[170 – Там же. С. 498–499.]

IV

Галахов сдержал слово и осенью уехал в Россию. Обаяние Марии Львовны еще долго не теряло силы над ним. Он пишет ей, что, несмотря на время, расстояние и решимость, он иной раз столько же жаждет, сколько боится свидания с нею. «Мне жаль не выпитой чаши, я не встречу женщины, которая была бы в такой степени самой собою, столь свободной, непринужденной, лишенной предрассудков, как вы, которая так подстрекала бы любопытство, самолюбие, желание нравиться ей и иметь влияние над нею»[171 – Там же. С. 499.]. Одно письмо он кончает так: «Дай Бог вам всего лучшего. Ужели мы будем так долго в разлуке? А годы идут. Я ничего не понимаю ни в человеке, ни в судьбе, ни в чем. Надо верить в бессмертие или быть счастливым. Будьте счастливы, мой друг»[172 – Там же.].

Она тоже не была счастлива. Ее отношения с Огаревым становились все мучительнее.

Несмотря на шум и блеск своей жизни, несмотря и на мимолетные свои увлечения, она чувствовала себя глубоко одинокой, жаждала любви и с тоскою взывала к Огареву. Между ними шла бесконечная переписка, запальчивая и мятежная с ее стороны, полная мягкости и рассуждений с его стороны. Это были настоящие переговоры о мире, и каждая сторона настаивала на своих условиях. По существу это был тот же конфликт, как между Марией Львовной и Галаховым. Огарев требовал, чтобы в основу их совместной жизни была положена отныне не слепая сила страсти, а разумная человечность; он требовал строгого равенства отношений и взаимной свободы, при которой он, мужчина, мог бы беспрепятственно отдаваться высшим запросам своего духа; любовь не должна ни поглощать его всецело, ни даже в малой степени связывать. При этом Огарев, разумеется, не спрашивал себя, что станет делать со своей свободой женщина. Не спрашивала и Мария Львовна, но с верным чутьем своего женского интереса она гневно отвергала этот холодный договор: любовь безусловна, она берет всего человека, ей нельзя отвести уголка в сердце; настоящая любовь не терпит равенства и свободы: «я хочу властвовать или быть рабой» [173 – Там же. С. 500.].

В этом споре, Галахов, доверенный и мужа и жены, был, разумеется, всецело на стороне Огарева. В ответ на письмо Марии Львовны к Огареву, которое последний показал ему, он пишет ей: «Нет, женщина не должна и не может властвовать в любви, потому что сколько-нибудь развитой мужчина не может подчинять свои убеждения и тенденции, как бы вверенные ему человеческим обществом, вкусам и взглядам женщины, часто неверным. Подчиниться должны вы. Признайте суверенитет общих истин, научитесь обуздывать ваши неопределенные желания и вкусы, перестаньте верить, что всякий инстинктивный порыв и каждая своенравная мысль законны – и вас будут любить нежно и беззаветно» [174 – Там же.].

Неудачный роман с Марией Львовной не прошел бесследно для внутреннего развития Галахова. Ему дорого стоило расстаться с мечтой о личном счастье, но вместе с тем он окончательно вышел на свободу, по крайней мере, в сознании. Мы располагаем еще только одним его письмом к Марии Львовне – от 18 декабря 1842 г. Оно всецело посвящено ей, анализу ее положения, но для нас оно удивительным светом освещает его собственную душу.

Он задается вопросом, почему она чувствует себя так безмерно несчастной и печальной. Неужели потому, что она видит охлаждение к ней Огарева? Но она первая охладела к нему, да и никогда особенно не дорожила его любовью. Почему же она теперь мечется в тоске и так страстно добивается хотя кое-как оживить угасшее чувство? Очевидно, дело не в Огареве и его охлаждении; это просто знак болезненного состояния ее души. «Я знаю: есть люди, которые должны пройти через тяжкие испытания. Они живут и чувствуют, как их охватывает холод смерти; они кажутся мертвыми среди окружающего их мира, и носят пожирающий пламень в своей душе. Ища спасения, они цепляются то за человека, то за вещь, и долго без успеха, пока в судилище своей воли не принесут своего самовластного «я» в жертву верховной истине и не примирятся с Богом путем внутренней моральной и умственной работы, которая снова вносит порядок и свободу в их мысли и чувств. Вот, милый друг, к чему мы должны стремиться, а не считать себя погибшими потому, что такой-то человек нас покинул или такое-то личное чувство ослабело в нас. В вас бьется и страдает не столько женщина, сколько человек вообще. Самое разнообразие ваших дарований усиливает ваше страдание: они сталкиваются и тербят вас со всех сторон, – они не приобрели достаточно энергии, чтобы выступить планомерно. У вас нет морального или умственного центра тяжести, и в то же время ваша натура не настолько пассивна, чтобы тихо и покорно идти путем традиционных принципов» [175 – Там же. С. 501. В тексте «Вестника Европы» «в их мысль и чувство», «В нас бьется», «путем традиционных принципов».]. *hinc itur ad astra* [116 – Таков путь к звездам (лат.)]!...

Мария Львовна не последовала этому совету, да и могла ли она? Она продолжала искать счастья по-своему, любила и заблуждалась, и умерла, десять лет спустя, в духовной и материальной нищете. Но и Галахов, как Моисей, только издали увидел обетованную страну. У него хватило сил освободиться только наполовину, – потому что в каждом освобождении – две ступени: мало стать вольноотпущенным, – надо стать еще свободным, как свободен человек свободнорожденный. На деле Галахов до конца ни очага себе не устроил, ни алтаря общей идее; он так и остался «лишним человеком». Еще семь лет скитался он по Европе, лишь изредка наезжая домой, разделяя высшие интересы своего века и влады, как проклятие, свою роковую праздность. Последние два года своей жизни он был особенно дружен с Герценом, много спорил с ним (одним из этих разговоров начинается «С того берега») и писал

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
ему письма, полные оригинальности [176 – Герцен А.И. С того берега. I. Перед грозой. (Разговор на палубе) – датировано 31 декабря 1847 г., впервые напечатано на немецком языке в издании 1850 г., затем во французском переводе в 1850 г. «В последний раз я встретился с ним осенью 1847 года в Ницце. Итальянское движение закипало тогда, он был увлечен им. Вместе с взглядом, исполненным иронии, он хранил романтические надежды и все еще рвался к каким-то верованиям. Наши долгие разговоры, наши споры навели меня на мысль записывать их. Одним из наших разговоров начинается «С того берега». Я читал его начало Галахову, он был тогда очень болен, видимо таял и приближался к гробу. Незадолго до своей смерти он прислал мне в Париж длинное и исполненное интереса письмо. Жаль, что у меня его нет, я напечатал бы из него отрывки» – Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 274–275.]. Он умер в 1849 году.

Глава шестая

Н. П. Огарев [177 – Глава создана на основе статей – Гершензон М. Н. П. Огарев и его крепостные. – Научное слово. 1903. кн. IV. С. 82–107; История одной дружбы (Грановский, Герцен, Огарев) – Научное слово. 1903. кн. VIII. С. 75–95; кн. IX. С. 48–58; Лирика Огарева – Вестник Европы. 1903. № 9. С. 293–312; Н. П. Огарев и его любовь – Вестник Европы. 1907. № 10. С. 650–681; № 11. С. 5–74; № 12. С. 457–497. В Отделе рукописей РГБ в фонде М. О. Гершензона хранится значительное число материалов, относящихся к Н. П. Огареву. Отметим, в первую очередь, такие, как «Стихотворения Н. П. Огарева. Из старых тетрадей». Публикация. 1902. Печатный оттиск из журнала «Русская мысль» (1902, кн. III). 6 л. (ОРРГБ. ф. 746. М. О. Гершензон, 6, 1); «Герцен и Огарев». Публикация из цикла «Русские писатели в их переписке». 1902. Печ. 12 л. (ОР РГБ. ф. 746, 6, 2); «История одной дружбы (Грановский, Герцен, Огарев)». Статья, окончание. 1903. Печ. 6 л. (ОРРГБ. ф. 746, 6, 3); «Н. П. Огарев и его любовь». Вступительная заметка к публикации писем Н. П. Огарева М. Л. Рославлевой. 1907. Печ. 2 л. (ОР РГБ. ф. 746, 6, 8); «Первая женитьба Н. П. Огарева» (неизданные письма под ред. и с примечаниями М. О. Гершензона). 1908. 125 л. Автограф наборной рукописи, корректура, списки публикуемых документов (ОРРГБ. ф. 746, 6, 9); Материалы к исследованиям об А. И. Герцене и Н. П. Огареве (1900–е гг.). Автограф. 13 л. (ОРРГБ. ф. 746, 6, 20); Хронологическая канва жизни Н. П. Огарева с 1838 по 1845 гг. (1900–е гг.). Автограф. 1 л. (ОРРГБ. ф. 746, 6, 21). 28 января 1900 г. Гершензон писал родным, что отправил Н. А. Огаревой-Тучковой письмо, в котором просил ее содействия для работы и предлагал приехать для переговоров в Саранск (Гершензон М. О. Письма к брату. 1927. С. 121). А 7 февраля он извещал их, что вчера получил благоприятный ответ (Там же. С. 122). 22 февраля 1900 г. исследователь посылает близким ночью с вокзала триумфальное сообщение: «Увожу несколько сот писем 40-х и 50-х годов – одного Огарева фунта два, затем Грановского, Герцена, Некрасова, Кавелина, Чаадаева, Варнгагена фон Энзе и пр. – все из Акшена, где провел двое суток, разбирая тысячи писем» (Там же. С. 125). Более подробно о пребывании у Огаревой-Тучковой он рассказывает в письме от 25 февраля – получено фунтов 15–20 важнейших писем, вдова поставила только одно условие: если Гершензон не будет писать биографию Огарева, то чтобы их вернул (Там же. С. 134). Следующая поездка в Акшен состоялась в апреле 1902 г. На основе этого эпистолярного материала появились и такие публикации, как например: Русские писатели в их переписке. Герцен и Огарев. – Русская мысль. 1902. № 11. С. 143–166; Н. П. Огарев. Первая женитьба. – Слово. 1908. кн. I. С. 41–110.]

1. Помещик

I

Село Верхний Белоомут, ныне Зарайского уезда, Рязанской губернии, бывшее
Страница 83

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org

«Государево дворцовое ловицкое село» на р. Оке, указом императрицы Екатерины II от 3/6 августа 1762 г. пожаловано было в вечное и потомственное владение камер-юнкеру и лейб-гвардии Преображенского полка капитан-поручику Михайле Егорову сыну Баскакову, «за отменную и всем верноподанным известную службу, верность и усердие к Ее Императорскому Величеству и Отечеству», то есть за помощь Екатерине при ее воцарении. В этой вотчине при 600 душах числилось 8127 дес., из них луговой земли 1470 дес., под строевым дровяным лесом – до 5500, а остальная земля – под дворами крестьянскими и в числе неудобной [117 – Труды Рязанской ученой архивной комиссии. Т. IX. Вып. 2. С. 120–121. [729 – имеется в виду: Влазнев Вас. Материалы для историко-статистического очерка бывших «Государевых Дворцовых рыбных ловцов сел: Белоомута, Ловец, Любичи и Дединова». – Труды Рязанской ученой архивной комиссии. 1894 год (десятый). Рязань, 1895. Том IX. Вып. 2. С. 103–136.]].

От Михаила Баскакова Верхний Белоомут перешел к его брату Ивану, а от последнего – к его дочери, Елизавете Ивановне, вышедшей замуж за Платона Богдановича Огарева: это были отец и мать «идеалиста 30-х годов», поэта и эмигранта Николая Платоновича Огарева. Мать скончалась в 1813 г., через несколько дней после рождения Николая Платоновича, и имение это по наследству перешло к нему. В 1834 г., по достижении совершеннолетия, он и вступил во владение белоомутской вотчиной. Перед нами копия официального акта о вводе Н. П. Огарева во владение Верхним Белоомутом: 3 июня 1834 года зарайский исправник Лагвенков ввел московского главного архива министерства иностранных дел студента Николая Платоновича Огарева во владение доставшимся ему по раздельному акту с отцом его, действительным статским советником Платоном Богдановичем, и сестрой, полковницей Анной Платоновной Плаутиной, движимым и недвижимым имением, состоявшим по 7-й ревизии из 1350 душ, с их женами и обоюбого пола детьми, с господским и крестьянским строением, со скотом рогатым и мелким, с лошадьми, птицей и со всем крестьянским имуществом.

По свидетельству В. К. Влазнева, рязанского этнографа и публициста, уроженца Верхнего Белоомута [118 – Там же; кроме того, «Под знаменем науки», юбил. сборн. в честь Н. И. Стороженки. Москва, 1902. С. 658 и сл., и Русская Мысль. 1902. Кн. XI. С. 116. [730 – Мендельсон Николай. Н. П. Огарев в воспоминаниях его бывшего крестьянина. – Под знаменем науки. Юбилейный сборник в честь Николая Ильича Стороженка. М., 1902. С. 657–663; воспоминания писателей-самородков. – Русская Мысль. М., 1902. Кн. XI. С. 116–117.]], об Огаревых вообще и в особенности о Н. П. Огареве среди крестьян сохранилась самая добрая память. Барщины здесь совсем не существовало, а оброк был не велик: вначале бедные крестьяне платили 5 руб. асс., средние – 10, богатые – 15; позднее платили оброки за ? тягла 15 руб., за ? – 30 руб., за ? – 45 руб. и за полное тягло 60 руб. Соразмерно obroku, крестьяне пользовались лугами, лес же отпускался на необходимые потребности каждому. Во внутреннее управление господа не вмешивались, бурмистры избирались сходом, и он же определял оброчную раскладку, рекрутские и другие общественные повинности. Белоомутские крестьяне жили хорошо, вели большую торговлю пшеницей, рогатым скотом, держали трактиры, заключали контракты по откупам, подрядам и другим делам, вследствие чего многие крепостные приобрели большое состояние. До 1839 года Н. П. Огарев наезжал сюда не более двух-трех раз, всегда на самое короткое время. Г. Влазнев передает со слов стариков несколько случаев, характеризующих гуманность молодого помещика, который, между прочим, строго запрещал крестьянам кланяться ему в ноги и стоять перед ним без шапки, давал крестьянам заимообразно деньги на покупку рекрутских квитанций и наем охотников и т. п.

Пока старик Платон Богданович был жив, молодому Огареву не приходилось и думать о вмешательстве в его крепостное хозяйство: отец из патриархального принципа крепко держал в своих руках бразды правления и еще на смертном одре назначил женившемуся сыну, который через несколько месяцев должен был унаследовать все громадное имущество, ничтожное содержание в 4000 руб. асс. на год. Эта роль бесправного барина, человека, чувствующего себя ответственным за зло окружающей его жизни и вместе не властного вмешаться в нее, заставляла Огарева сильно страдать. Уже с половины 1836 года он горько жалуется на это в письмах к друзьям; так, в самом начале 1838 г., он пишет: «Индустрия – великая вещь, а я, честь имею вам рекомендовать, отчасти в числе г-д проприетеров, следовательно, людей наиболее ею занимающихся, – говорю отчасти, ибо моя воля стеснена отцом, а болезнь его и детская привычка покорности не позволяет с ним спорить; но как это больно, друг! видеть пользу и не иметь воли сделать ее; это для меня одно из удушающих несчастий; я равнодушно не могу думать об этом, ибо в душу гнездится

ужасная мысль... а нет – другого конца не вижу. Думаю: я бы то или другое сделал, но теперь нельзя, когда же?.. [178 – Гершензон М. Н. П. Огарев и его крепостные... С. 85.]

Эта «ужасная мысль» – об освобождении через смерть отца ради «пользы других» – осуществилась 2-го ноября 1838 года. И вот уже в начале января следующего года молодой наследник говорит в письме к другу об обязанности сделать из доставшихся ему 4000 душ по возможности что-нибудь лучшее, «по возможности вывести их из полускотского состояния», а вслед затем сообщает, что занят, между прочим, составлением «прокламации к своим подданным» [179 – Там же. С. 85–86.]. Очевидно, в это время у него сложился план освобождения белоомутских крестьян, к исполнению которого он и приступил в марте того же 1839 года.

Огареву приходилось считаться с волей и вкусами его жены, Марии Львовны, и есть основания думать, что она, если не прямо, то косвенно противилась его замыслу. Так, вероятно, в апреле 1839 г., он пишет ей из Белоомута, что с величайшим нетерпением ждет ее ответа: «Неужели же ты мне напишешь: нет? Этого быть не может. Надо, надо кончить это дело, я чувствую, что это будет один из хороших поступков. Разумеется, не что-нибудь отличное, потому что я, право, ничего не теряю» [180 – Там же. С. 86.]. Последние слова имеют целью, конечно, успокоить жену относительно денежных последствий дела. Что с этой стороны были возражения, показывает следующий отрывок из французской записочки Огарева к Марии Львовне, должно быть, начала 1840 года: «Marie, клянусь, что я тебя не понимаю. За что ты сердись на меня? Находишь ли ты, что 4 тыс. так уж мало? Ну, если хочешь, возьми себе сколько хочешь. Я сказал – 40 тыс. на весь дом. Ну, устраивайся так, чтобы иметь на свой туалет сколько хочешь... Еще менее я понимаю, что тут дурного, не брать взаймы 30 тыс. для покупки совсем бесполезной, когда дела не в лучшем виде и потому что я хочу освободить своих рабов?.. О, Мария, Мария, дорогой ангел, неужели же я должен отказаться от моих планов, благородных, гуманных, честных, для того, чтобы развлекаться всю жизнь?» [181 – Там же.] Эти выдержки ясно показывают, что Огарев был не совсем свободен в своих действиях; если он взял с крестьян безотнositельно довольно большую выкупную плату, то высоту ее, как справедливо говорит автор примечаний к «Переписке недавних деятелей», следует приписать скорее денежным потребностям жены, чем идеалиста-мужа.

С другой стороны, сам Огарев приступал к освобождению своих крестьян без особенного пыла. В цитированном выше письме его от 8 января 1839 года, где идет речь о его обязанности вывести крепостных из полускотского состояния, он говорит: «А я не чувствую к тому способности, не чувствую влечения; эта обязанность еще не перешла в любовь. Я чувствую влечение к знанию и искусству. Я хочу писать, – это потребность, это желание, перешедшее в любовь» [182 – Там же. С. 86–87.]. Действительно, так называемая «гражданственность» в это время и еще долго потом стояла для Огарева на заднем плане. Уже с конца университетского периода, его внимание, как и внимание Герцена, обращается от общественных вопросов всецело в другую сторону – к вопросам частью чистого познания, частью личного совершенствования. Он не забывает, что конечная цель – все-таки практическая деятельность, борьба за правду; но он считает нужным предварительно вооружиться и очиститься для этой борьбы, – с одной стороны, «обнять весь мир знания, провидеть начало и результаты идей», с другой – вытравить в себе все дурные наклонности, наполнить душу любовью и научиться «столько сильно любить, сколько полно знаешь» [183 – Там же. С. 87.]. На этой внутренней, индивидуальной задаче, – на выработке мировоззрения и характера, – сосредоточивается теперь весь его интерес, и если прибавить сюда еще религиозно-мистическую окраску, которую приняли эти стремления у него, как и у Герцена, да страстный культ любви и дружбы, достигающий в это время у обоих кульминационной точки, то станет понятным сравнительное равнодушие Огарева к делу освобождения его крестьян.

15 марта 1839 года Огарев с женой приехал к ссыльному Герцену во Владимир [184 – «Приезд во Владимир Ог. с женой М.Л. – Герцен. Т. I. С. 333; Былое и думы. Герцен. Т. IX. С. 11–12; Т. XXII. С. 15, 16, 17, 18, 19–21, 22. Уехали марта 19. «Эти дни мы провели дивно, превосходно»; «четыредневное, светлое, ясное, святое свиданье!» – Т. XXII. С. 16, 17. – Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1812–1850. М., 1974. С. 195.]. Это было первое свидание друзей со дня выслушания приговора о ссылке и первая их встреча с женами друг друга. Пять дней, проведенные ими вместе, прошли в каком-то непрерывном упоении; известно, как все четверо пали на колени и молились перед распятием, как совершилась их «великая мистерия» слияния их в одну душу. Они верили, что в этом порыве «выгорело нечистое и себялюбивое начало их душ». «Дружба наша, – писала

Н. А. Герцен Огаревым спустя несколько дней после свидания, – лестница к совершенству, и ею мы дойдем до него. Дружба и любовь – ограда душам нашим, ограда, поставленная самим Господом; ничто нечистое, ничто низкое не переступало ее, и пылинка да не коснется нас во веки!»[185 – Герцен А. И. Огареву Н.П. 21 марта – 27 апреля 1839 г. Приписка рукой Н. А. Герцен. – Русская мысль. 1889. № 10. С. 9.] Таково было и настроение Огарева.

И вот, 19 марта, прямо из Владимира, еще не остыв от пережитых здесь восторгов, Огарев поскакал в Белоомут, чтобы переговорить с здешними мужиками об их освобождении. Во Владимире друзья, вероятно, и совсем не говорили об этом деле; во всяком случае замечательно, что в двух письмах Герценов от 21 марта к Огареву и к Марье Львовне оно не упоминается ни одним словом. «Грустишь, чай, ты в одиночестве, – пишет Герцен Огареву. – Но, я уверен, после нашего свидания это одиночество именно принесет большую пользу. Я сам сознаю, что как-то улучшился взглядом и делом после четырех дней»[186 – Там же.] – и только; ни одного слова поздравления, сочувствия, поощрения или совета по поводу предпринятого Огаревым дела.

Г. Влазнев передает, что Огарев, созвав сход, объявил белоомутцам свое намерение освободить их и передать им всю землю за небольшую плату, и велел им прислать к нему выборных в Москву для составления договора. Г. Влазнев рассказывает также со слов белоомутских старожилов следующую историю. По отъезде Огарева, тогдашний белоомутский бурмистр, Ракитин, с некоторыми богатыми односельчанами задумали обойти и владельца, и свое общество. Именно, эти богачи, во главе с Ракитиным, всего 11 человек, поехали в Москву к Огареву и объявили ему о полном несогласии крепостных выйти на волю; при этом бурмистр и его товарищи выразили желание получить свободу с заливным заокским лугом, составлявшим третью часть всей луговой земли с Белоомута, и предлагали за этот луг и свое освобождение 50 тыс. р. серебром. Огарев наотрез отказался уступить им луг, как общую собственность всего крестьянского населения, и соглашался уволить их только с дворовой землей. Между тем, общество, в свою очередь, снарядило ходоков в Москву, которые и раскрыли происки Ракитина и передали Огареву согласие крестьян на их освобождение. Насколько точен этот рассказ, мы не знаем; но что-то в этом роде, по-видимому, действительно случилось, судя по аналогичным слухам, которые сообщает Анненков.

Как бы то ни было, зимой 1831–1840 г.г. очевидно, вопрос был окончательно выяснен с обеих сторон, и в начале марта 1840 г. мы снова видим Огарева в Белоомуте. Перед нами рукописное письмо его к Марье Львовне, помеченное: Белоомут, 5 марта. «Вот я где, – пишет он, – А отрады нигде. Здесь полупонятый умными, совсем не понятый дураками, я только печально могу взглянуть на этот быт полуобразованных мужиков. Те, которые подстригли бороды и надели длинные сюртуки, смекают и то, и другое, и, может быть видят во мне не злонамеренного человека; те, которые остались в серых кафтанах, хотят иметь барина, который спускал бы им неплатеж оброка. Вот из чего состоит это знаменитое село, где я обретаюсь на несколько часов... Теперь около полуночи. Завтра созову сходку, поговорю и поеду далее. Дней 16 или 17 достаточно на все»[187 – Гершензон М. Н. П. Огарев и его крепостные... С. 88.]

Формально договор с крестьянами был заключен только 18 октября 1840 года и затем, пройдя все нужные инстанции, утвержден государем 26-го июня 1842 г.[119 – История освобождения Огаревым белоомутских крестьян всего подробнее до сих пор была изложена В. И. Семевским во втором томе его «Крестьянского вопроса». С. 227–231; самый текст увольнительного акта помещен в указанной выше статье Г. Влазнева, в IX т. «Трудов Рязан. учен. арх. ком.». Далее см.: «Анненков и его друзья», СПб., 1892 г. (статья: «Идеалисты 30-х годов»); А. Д. Повалишин: «Свободные хлебопашцы в Рязан. губ.» (Труды Рязан. учен. арх. ком. 1892. т. VII. № 3)[731 – См.: Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. В 2 тт. Т. II. Крестьянский вопрос в царствование Императора Николая. СПб., 1888. С. 227–231. Влазнев Вас. Материалы для историко-статистического очерка... Приложения к описанию Н. Белоомута. Копия с отпускного акта г. Н. Огарева. – Труды Рязанской ученой архивной комиссии. 1894 год. Том IX. Вып. 2. Рязань, 1895. С. 103–136, 124–128. п. в. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835–1885 годов. СПб., 1892. С. 71–74; С. 113–115. Повалишин А. Д. Свободные хлебопашцы в Рязанской губернии. – Труды Рязанской ученой архивной комиссии. 1892 год. Том VII. № 3. Рязань, 1893. С. 34–36.] После этого Огареву оставалось еще только явиться в рязанскую гражданскую палату для совершения записи; но он, очевидно, не знал об этом

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
требования закона и уехал за границу, не исполнив его. Вследствие этого, сенат предписал отыскать его и понудить явиться в рязанскую гражданскую палату. Министерство внутренних дел разослало циркуляр об этом по всей империи, но, конечно, без пользы; затем тот же циркуляр был разослан всем консульствам за границей. Наконец, в ноябре 1845 года берлинское посольство известило, что Огарев являлся туда для засвидетельствования своего паспорта на обратный проезд в Россию и «на сделанное ему объявление отозвался, что он не понимает, почему договор его с крестьянами не приведен еще в исполнение, и что он возвращается в Россию именно для окончания этого дела». Из Берлина Огарев, ждавший денег от Герцена, выехал около 20 января 1846 года и, очевидно, немедленно по приезде в Москву отправил в Рязань человека с доверенностью на совершение записи в гражданской палате; эта запись была совершена 30 января.

Договор был заключен на следующих условиях. По 8-ой ревизии в Верхнем Белоомуте значилось 1870 душ: за исключением 42-х душ, ранее отпущенных на волю, и 8 дворовых, «проданных» с семействами Огаревым его сестре, ныне увольнялись в свободные хлебопашцы 1820 душ. Пахотной земли в вотчине не было, а числилось 8127 дес. леса, луга, выгона и усадебной земли, которые вместе с рыбными ловлями и прочими угодьями переходили в вечную собственность увольняемых крестьян. «За такое увольнение и уступки им в собственности всех помянутых земель и угодий» крестьяне обязались: во-первых, уплатить выкупных денег 142 857 руб. 14 коп. сереб., в число коих они при заключении первого условия, 18 окт. 1840 г., внесли Огареву 57 142 руб. 85 коп., а остальные 85 714 руб. 28 коп. обязаны уплатить в десятилетний срок со внесением ежегодно 4 % с остающейся к уплате суммы: во-вторых, уплачивать в законные сроки долг сохранной казне Московского опекунского совета по займу, сделанному Огаревым 18 марта 1837 г. на 26-летний срок в 310 000 руб. асс., сколько этого долга еще значилось за трехгодичной уплатой; наконец, в-третьих, по выплате в течение 10 лет выкупной суммы внести в 3-годовой срок без процентов оброчную недоимку 11 428 руб. 57 коп. сер. Недоимка эта позднее была прощена Огаревым.

По расчету, сделанному В. И. Семевским, долга сохранной казне оставалось еще в момент заключения договора 82 512 руб. серебром. Таким образом, сюда белоомутские крестьяне должны были вносить ежегодно в течение 23-х лет по 3588 руб. сер., да проценты из 5-ти за сто, что в первый год составляло 3946 руб. сер., во второй – 3767 руб. и т. д.; выкупная же сумма при раскладке поровну на 10 лет ложилась на них ежегодно платежом в 8571 руб. сер., да процентами, которые в первый год составили сумму в 3086 руб. сер., во второй – 2743 руб. и т. д. Итак, всего крестьяне должны были выплатить: в первый год около 19 тыс. руб. серебром, во второй – 18

/

и т. д. с ежегодным понижением.

О дальнейшей судьбе этой сделки мы имеем следующие сведения. В 1847 г. крестьяне просили Огарева перезаложить их в опекунском совете для покрытия выкупной суммы, «опасаясь, – писали они, – в противном случае после стольких пожертвований поступить в прежнее крепостное состояние». Из письма Огарева к белоомутскому старшине от 23 дек. 1847 г. видно, что опекунский совет выдал ему 56 673 руб. сер., так что за крестьянами осталось еще 13 071 руб., за какую сумму Огарев больше процентов не желал получить. Наконец в 1852 году, по причине затруднения в платеже долга опекунскому совету, общество продало купцу Розанову 1100 дес. строевого леса на вырубку за 550 000 руб. серебром, каковой суммой и был покрыт означенный долг; уплата же процентов опекунскому совету в размере 1 руб. серебром с лугового участка окончена в 1875 году.

Договор, заключенный Огаревым с белоомутскими крестьянами, вызвал в литературе самые противоречивые суждения. П. В. Анненков, излагающий его содержание «по слухам и воспоминаниям современников», признает сумму, полученную Огаревым, ничтожной в сравнении с ценностью уступленных им угодий. Напротив, В. И. Семевский, имевший в руках копии с делопроизводства по увольнению крестьян Огарева, находит сделку обременительной для крестьян и замечает: «Так как Огарев был не заурядным помещиком, имевшим в виду только свои интересы, а очень много мечтал в это время с приятелями относительно уничтожения крепостного права в России, то от этого «идеалиста 30-х годов» можно было бы ожидать большей

Суждение В. И. Семевского, как заметил уже автор превосходного исследования о крепостном праве в Рязанской губ. А. Д. Повалишин, основано на ошибке. Дело в том, что г. Семевский при определении единицы выкупа принял в расчет только количество освобождаемых душ и, разделив выкупную сумму на число увольняемых крестьян (236 796 руб. на 1820 душ), пришел к заключению, что Огарев взял по 130 руб. серебром с души, – цифра довольно высокая даже для Рязанской губ. На это Повалишин справедливо возражает, что такой механический расчет правилен только в тех случаях, когда крестьяне выкупали свою личность и не уносили с собой никакого имущества; в последнем же случае стоимость его непременно должна быть принята в расчет для правильной оценки условий выкупа. Деление же выкупной суммы на количество уступленных десятин (8127) дает выкуп за десятину в 29 руб. 13 коп. Теперь надо вспомнить, какова была уступленная земля: мы видели, что она состояла из 1470 дес. луговой земли и 5500 десятин леса. Белоомутские луга, по свидетельству того же знатока Рязанского края, расположены по р. Оке (следовательно, поемные) и едва ли не лучшие, после Дедновских лугов по всей губернии; что же касается леса, то он, очевидно, представлял миллионную стоимость, если только 1/5 его, проданная крестьянами, как мы видели, на сруб, спустя несколько лет после освобождения, принесла им 550 тыс. руб. сер., то есть сумму в два раза большую, чем весь их выкуп. Если прибавить сюда еще богатейшие рыбные ловли, то станет понятным, почему белоомутские крестьяне доньше считают Н. П. Огарева своим «благодетелем». Очевидно, такого же взгляда держался и чиновник межевого ведомства (позднее директор межевого департамента) Ржевский, который, по свидетельству Анненкова, приехав в 1861 году в Белоомут для размежевания, сказал старикам: «Видите, какая еще благодать остается вам по милости помещика, отдавшего вам все это за бесценок; а он теперь очень нуждается, – что бы вам собрать тысяч сто и послать к нему? На что старики задумчиво отвечали: «точно, надо бы».

Предоставляя в собственность крестьянам всю землю, Огарев в самом договоре определил способ пользования ею. Распорядок, установленный им, в высшей степени замечателен по замыслу, как попытка создать автономную крестьянскую общину, основанную на равновесии личного и коллективного начал. Вся луговая земля должна быть разделена крестьянами по взаимному их соглашению на 1820 равных участков, которые отныне остаются в их семействах собственными и наследственными, точно так же дворовые и огородные места в настоящем их размере становятся наследственной собственностью тех, которые на этих местах действительно поселены. Напротив, лесные дачи, дабы сохранить их от произвольного истребления, на участки не делятся, а остаются в общем владении увольняемых крестьян, с тем, чтобы количество нужного на сруб леса для каждого из нуждающихся в том крестьян определялось на мирской сходке; на основании состоявшегося здесь приговора сельское правление и должно выдавать крестьянину позволение с указанием места рубки. Земля выгонная, рыбные ловли и прочие угодья с удобными и неудобными местами остаются у крестьян также в нераздельном владении; здесь, – говорится в договоре, – обыкновенная мера участия каждого из крестьян определяется домашними их потребностями; но, в случае встретившейся чьей-либо нужды, выходящей из круга обыкновенности, как-то: в пользовании из тех угодий более значительном, нежели как обыкновенный быт допускает, – мера такового участия и условности, с ним соединенные, должны назначаться общим согласием крестьян на их сходке, которое сход утверждает своим приговором. Наконец, и отвод вновь мест под поселение должен производиться не иначе, как с мирского приговора, смотря по возможности и удобству.

Весь этот широкий план, однако же, на деле привел к весьма плачевным результатам, в значительной мере по вине самого Огарева. Анненков рассказывает, что в Белоомуте уже и раньше богачи платили государственные повинности и оброк за неимущих, пользуясь за то их угодьями; теперь, при освобождении, выкуп лег преимущественно на тех же богачей, и, благодаря этому, бедные крестьяне сделались их неоплатными должниками, то есть попали к ним в полную кабалу [120 – То же самое рассказывает и Е. Ф. Корш: см. сборник «Помощь голодающим». Изд. Русских Ведомостей. Москва, 1892. С. 527. [732 – В примечании от редакции говорилось: «Но это освобождение не доставило крестьянам тех благ, какие бы можно было ожидать. Огарев уступил им свои владения (напр., у села Белоомут на Оке, с 4000 душ) за небольшую, сравнительно, сумму, но эта сумма была внесена местными кулаками, которые и извлекли из этой покупки значительные выгоды, тогда как остальная масса стала в зависимость от кулаков и, как говорят, скоро оказалась без земли, разорилась – и многие пошли по миру» (Из писем людей

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org сороковых и пятидесятих годов). (Сообщение Е. Ф. Корша.) – Помощь голодающим. Научно-литературный сборник. М. Издание «Русских ведомостей». 1892. С. 527.]].

В довершение правительство при утверждении освободительного акта отчислило некоторые оброчные статьи к ведомству государственных имуществ под предлогом необходимости оградить от расхищения столь ценные в государственном смысле угодья. Таким образом грандиозный замысел, великодушный и теоретически-правильный, на практике породил нелепость. По совершенному незнакомству с действительными условиями сельского быта, с жизнью вообще, Огарев оказался настоящим «идеалистом 30-х годов». По словам Анненкова, побочный брат Огарева, рожденный от крестьянки, никогда не мог простить поэту этого дела. «Зачем барченек этот, – говорил он, – не взял с богачей два, три, пять миллионов за свободу, которой они только и добивались, и не предоставил потом даром всему люду земли и угодья, освобожденные от пьявок и эксплуататоров?»

Но белоомутские крестьяне до сих пор чтут с благодарностью память своего бывшего помещика. Когда в 1877 году, 31 мая, он умер в Гринвиче, они, узнав об этом, на сельском сходе постановили приговор такого содержания: «Принимая во внимание все оказанные им нашему обществу неизгладимые из памяти благодеяния, как в бытность крепостного права, так и при отпуске на волю в свободные хлебопашцы в количестве 1820 душ, со всеми угодьями, состоящими при нашем селе, за соразмерную без отягощения нас сумму, мы единогласно постановили: дабы почтить память нашего незабвенного и любимого нами бывшего помещика Н. П. Огарева, с сего 1877 года учредить отныне и на все времена: в день смерти его, 31 мая, ежегодно в воскресный день, ближайший к этому числу, творить об упокоении души его и родителей его поминовение в церкви через священнослужителей сборной панихиды и, кроме того, ежедневно иметь поминовение души его с родителями; расход на это производить из общественных сумм». Кроме того, из двух новых приделов кладбищенской церкви в В. Белоомуте, освященных в 1879 году, один назван Никольским по святому, имя которого носил Огарев; наконец, в 1900 году, по ходатайству белоомутского общества, разрешено учредить в Белоомуте библиотеку имени Н. П. Огарева. Как в библиотеке, так и в волостном правлении висят его портреты. Когда летом 1901 года вдова поэта, Наталия Алексеевна Тучкова-Огарева, прислала в Белоомут его портрет, сельский сход постановил искреннейше благодарить ее «за в дар присланный портрет ее супруга, – сказано в приговоре, – бывшего нашего помещика Николая Платоновича Огарева, память о котором в продолжение шестидесяти лет со дня освобождения нашего жила, живет и вечно будет жить в сердцах наших семейств, как об отце и благодетеле, щедро наградившем наше общество своим имуществом, которым мы, владея и пользуясь, живем обеспеченно» [188 – См.: ОР РГБ. Ф. 69. Герцен А. И. Огарев Н. П. X. 81 – Приговор Верхне-Белоомутского сельского схода (Зарайск. уезда, Рязанск. губ.) о вынесении Н. А. Огаревой благодарности за ее дар – портрет Н. П. Огарева. Рукоп., 22 x 35. 1901, 22/VII, 4 лл. (1 ч.); X, 82. Огарева Наталия Алексеевна. Телеграмма от Верхне-Белоомутского общества. 1902, мая 31. 1 л.]. Немногие из помещиков крепостного времени оставили по себе такую светлую память среди своих крестьян, немногие поминаются донныне в сельских церквях. И есть что-то глубоко-скорбное и вместе примиряющее в этих заботах рязанских мужиков о душе изгнанника, чье тело зарыто в далекой, чужой земле [189 – См.: ОР РГБ. Ф. 69. Герцен А. И. и Огарев Н. П. 27, 8–12. (Документы, связанные с церемонией перенесения праха Н. П. Огарева из Англии в СССР в 1966 г. 2 марта 1966 г. прах Н. П. Огарева был перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве).].

II

По освобождении белоомутских крестьян у Огарева оставалось еще, по-видимому, около 2000 крепостных. Почему он не освободил их? Думал ли он, что есть и другие способы «вывести их из полускотского состояния», кроме отпуска на волю? Очень вероятно, что он решился предоставить Белоомут его собственным силам именно потому, что мог обеспечить эту общину более чем достаточными природными ресурсами, тогда как остальные его вотчины были гораздо беднее. Анненков рассказывает, что к прочим своим деревням Огарев думал приложить иную систему освобождения, именно – путем устройства фабрик на вольном труде, которые дали бы крестьянину возможность всегда находить заработок. Но в ближайшее время он не исполнил этого плана; весной 1841 года он уехал за границу и прожил там, с

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
небольшим перерывом, почти пять лет. Когда в начале 1846 года, окончательно разойдясь с женой, он вернулся в Россию, его денежные дела были крайне расстроены и, вдобавок, ему приходилось выдавать крупные суммы на содержание жене. В конце 1846 года мы видим его в Старом Акшене, родовом имении его отца, Саранского уезда, Пензенской губернии. Здесь он самолично принимается за хозяйство и, как видно, пытается осуществить свою старую мысль об улучшении быта крестьян чрез вольнонаемный труд на заводах. Его настроение и взгляды были теперь далеко не те, что шесть лет назад. Без сомнения, он с самого себя списал портрет Андрея Потапыча в первой главе своей стихотворной повести «Господин»:

Печально в угол из угла
Бродя один в своей квартире,
Решил он, что пора пришла,
Чтоб дело делать в этом мире:
Начать воспитывать крестьян,
В их нравах сделать улучшения,
Зерно ума и просвещения
Посеять в глушь далеких стран.
Решил – и в путь пустился дальний,
В свою деревню, край печальный.[190 – Огарев Н. П. Господин
(Повесть). Глава первая. (Середина или конец 1840-х гг.)]

Сохранились три письма Огарева от второй половины 1847 г., чрезвычайно ярко рисующие его замыслы и деятельность по отношению к крепостным в эту эпоху[121 – Сборник «Помощь голодающим». Изд. Русских Ведомостей. Москва, 1892. С. 521 и сл.[733 – Из писем Н. П. Огарева к Е.Ф.К. 28 июня (1847 г. из Саранского уезда); (1847 г.) 20 августа. Акшино; Евг. Ф.К. и Тимофею Ник. Грановскому (1847 г.) – Там же. С. 521–528.]]. Поэт, мечтатель, идеалист превратился в деятельного, рассудительного, настойчивого хозяина; он устраивает сахарный и винокурный заводы, даже сам работает на них в качестве чернорабочего для ознакомления с техникой производства, собирается купить бумажную фабрику в Симбирской губ., ездит на ярмарки и торги, ведет обширное сельское хозяйство и пр. Подобно тому же Андрею Потапычу, он держит у себя на полках

Творенья Тэйра и других
Новейших лет индустриалов,
Еще народных школ обзор

И ряд практических журналов.[191 – Огарев Н. П. Господин (Повесть).]мало того, он сам пишет агрономические и экономические статьи.

Огарев поселился в деревне несомненно с двойной целью: добыть денег на уплату долгов и провести совершенно определенный, зрело обдуманый план реформы крепостного уклада, которая представлялась ему в данном случае, по-видимому, более целесообразной, чем простой отпуск на волю. Это был план педагогического свойства в самом широком смысле слова: план приучения крепостных к свободному труду. Эти две задачи казались ему неразрывно связанными одна с другой; он знал, что вольный труд гораздо производительнее рабского.

Упомянутые выше письма Огарева 1847 года (к Коршу и Грановскому) показывают, что он не упразднил барщину, он только всячески поощрял переход на оброк, который взимал в размере 60 руб. ассигнациями; все же остальные работы, как сельскохозяйственные, так и заводские, кроме немногих, исполняемых в барщине, он старался производить платным трудом. Это была ломка всего хозяйственного строя и, разумеется, на первых порах она должна была встретить отпор со стороны крестьян. Преодолеть это глухое сопротивление, не прибегая к насильственным средствам, оказалось почти невозможным. Огарев рассказывает друзьям, что однажды даже велел наказывать одного мужика розгами, чтобы заставить его вторично перепахать дурно вспаханное поле. «Вы скажете – плантатор! Потому что дело идет о барщинной работе. Я вам отвечаю, что мужики свою собственную пашню пахут точно так же скверно, утверждая, что если Господь уродит, то хлеб будет». Впрочем, наказание розгами он употребил только один этот раз, заменив его ссылкой в заводские работы на несколько дней. Апатия крестьян, их лень, грубость нравов, невежество приводили его в ужас, отнимали у него энергию. «Здесь надо иметь страшное терпение, друг мой, – пишет он, – чтобы выдерживать упорное неразумие общины, которое оскорбляет на каждом шагу, и делать свое дело по методу, не вовсе свойственной моему характеру, т. е. приказывать и требовать беспрекословного повиновения. Сколько ни стараешься достигнуть повиновения,

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
приобретением доверия, но нет!.. Я же к несчастью, особенно поставлен в тяжелое положение хлопотать с мужиками, которых здравый смысл развращен влиянием многочисленной дворни со всеми ее лакейски-аристократическими замашками, местничеством и ленью, хлопотать с этой самой дворней и заставлять делать то, что хочу, стараясь обходиться по возможности без плантаторских средств убеждения. Все, что могу сказать, – это ужасно трудно. Но необходимо. Для собственных выгод мне надо систему барщинной работы свести на систему заплатного труда, и это никак не ложится в мужицкие головы. А ведь, кажется, не глупый народ, да вот с детства нянька зашибла; ничем не вразумишь»[192 – Гершензон М. Н. П. Огарев и его крепостные... С. 95.]

Главным средством «вразумления» должна была стать, конечно, школа. Вопросы народного образования давно уже занимали Огарева. Уже около 1836 года он пишет – и бросает, не кончив, – трактат о воспитании; несколько позднее он изобретает новую «методу обучения в народных училищах» и просит друга прислать книг о ланкастерской системе, чтобы сравнить ее со своей[122 – П. В. Анненков. Там же. С. 52 и 58. Описка у Огарева при переносе со строки на другую; в черновой, вероятно, было: первого.]. Теперь, едучи в деревню на оседлое житье, он, разумеется, подобно своему Андрею Потапычу, привез с собой и «народных школ обзор». И вот, летом того же 1847 года из Акшена отправляется в Москву, к Грановскому и Коршу, разработанный до мелочей план народной школы, и затем в письмах беспрестанно повторяется просьба об учителе, которого должны отыскать те же друзья; школу предполагается открыть тотчас по приезде учителя. План этот, писанный рукой самого Огарева, находится в Московском Румянцевском музее среди бумаг Е. Ф. Корша; он настолько замечателен, что мы считаем нужным воспроизвести его здесь целиком.

Ecole polytechnique populaire.

«Прежде всякого плана школы нам надо согласиться в основаниях (principes) народного образования. Для этого я предложу один вопрос: что мы называем невежеством? Если мы согласны в определении невежества, то мы не можем разойтись в определении образования. Невежество – двух родов: или простое незнание истины и действительности (g alit), или искаженное понятие истины и действительности, что составляет заблуждение (erreur) и предрассудок (superstition). В этом, я думаю, спорить нельзя. Теперь посмотрим, в какой форме и тот, и другой род невежества является в нашем народе. Станем отвечать на 1-ый вопрос: чего наш народ не знает? – Он не знает:

1) Личного достоинства человека. Отсюда отсутствие понятия чести, права и гражданства. Однако в народе существует некоторый кредит, однако существует некоторого рода законность, однако каждый мужик – член общины. На это я стану отвечать в отделе невежества *par erreur et superstition*. Из понятия личного достоинства отчасти происходит отсутствие деятельности. Говорю отчасти, потому что это только одна из причин косности нашего народа; о других я скажу после. Косность, непосредственная косность, лень ума и рук, если она не есть апатия после огромных несчастий или идиотизм, необходимо заставляет предполагать отсутствие понятия о личном достоинстве. Человек самостоятельный не может не действовать.

2) Народ не знает никакого научного объяснения естественных явлений и приложения науки к промышленности. Его труд основан на неподвижной рутине, и все его понятия в механике и земледелия тотчас перебрасывают в невежество *par erreur et superstition*.

Теперь разберем же его заблуждения и предрассудки.

1) Он привык думать, что рожден рабом и что на это воля Господня. В привычке к рабству и в вере в фатализм Божьего произвола – корень всех его заблуждений и предрассудков.

Он верит, что жизнь его, его достояние, удача и неудача в предприятиях до такой степени в руках Провидения, что он даже не заботится сознательно о сохранении жизни и здоровья. Если у него дом неудобен, одежда нехороша, двор грязный, он

ничего не спешит поправить или изменить, потому что жизни-то не спасут никакие человеческие пособия и все будет только как Богу угодно. Он скверно пашет и молится о дожде или ведре. Эта вера снимает с него обязанность сколько-нибудь мыслить, даже запрещает ему мыслить, и попы спешат ему сказать, что изменить statu quo, на который была воля Господня, значит идти против воли Господней. Если вы откровенно подумаете, то, может быть, и возразите мне, что попы говорят не тем языком; но, без сомнения, согласитесь, что они при всяком удобном случае говорят именно ту своим языком. Заметьте по статистическому опыту в наших деревнях, что не более 5 % крестьян богатеют. Мы сами невольно привыкли считать их исключительными людьми. Если остальные, то есть масса (не исключительные люди), работают и кормятся, то это потому, что они по невольному и бессознательному опыту чувствуют, что Провидение не положит им печеного хлеба в рот и не спасет их от замерзания, если бы они голые вышли на мороз. Но даже и исключительные люди в поступках идут на авось, – слово, которое опять выражает фатализм воли Господней. Заметьте, что ни в одном языке не существует этого слова, кроме нашего. Французское peut-être (а другие языки не выразили ничего лишнего против смысла этого французского слова) выражает сомнение и надежду; оно редко приходит в голову француза. А наше авось выражает положительное вероятие и употребляется беспрестанно, особенно с присовокуплением: Бог поможет. Авось Бог поможет даже на языке наших воров – весьма обычная поговорка. Что же такое эта вера в фатализм Провидения, которому, заметьте, верят без всяких нравственных оснований за или против какого-нибудь дела? Это – ужаснейший формализм веры, признающий деспотизм Бога помимо всякого разумного и нравственного содержания. Это начало лежит в нашей церкви, которая не столько выезжает на христианской морали и Моисеевых заповедях, сколько на формальном богослужении обрядов, постов, земных поклонов, вообще всяких..., которые мы согласны делать перед существом, безусловную власть которого мы признали и которого боимся, как чорта. Наша народная вера в фатализм Божьего произвола есть рабский страх перед властью, признанной формально, без всякого нравственного содержания; это какой-то обрусившийся иудаизм, который поддерживает косность, рабскую робость, уничтожает самостоятельность человека, мешает пользоваться изучением сил природы, и все нравственные понятия сводит на жалкий формализм церковных постановлений.

2) Как вера в фатализм божьего произвола дает нам формальную религиозность помимо всякого нравственного содержания, так привычка к рабству, признанному законодательством, дает нам формальную законность помимо всякого права, формальное судопроизводство помимо правосудия и общинный быт, который есть формальное равенство. Я не знаю, как иначе назвать равенство подати при неравенстве сил, равенство земель при неравенстве трудов и капиталов. Наша община есть равенство рабства. Мир (мирское управление) есть сборище, на котором каждый является палачом и жертвой, завистником и боящимся зависти; мир есть выражение зависти всех против одного, общины против лица. Если на Западе идея равенства требует, чтоб всем было равно хорошо, то на миру равенство требует, чтобы всем было равно дурно. Результат всего общинного, административного и судебного устройства тот, что мужик (лучше скажу, русский человек вообще) не в состоянии понять, чтобы человек мог не принадлежать чему-нибудь, что он может быть сам по себе. Все, что здравый смысл должен вносить в общественную жизнь, у нас пробивается по секрету, обходя обманом закон и общинное устройство. Все это опять приводит к отсутствию деятельности и честности, к вечному испугу и нехотению постоять за свое право открыто. Гражданственный формализм делает то, что для народа идеал грамотного человека есть делатель фальшивых бумаг, то есть человек, который может писать фальшивые виды и кляузные просьбы и ответы; а между тем кляуза есть – хотя воровским путем – восстановление общечеловеческого права, потому что обманывает формализм гражданственности, отличающийся отсутствием права. Странное совпадение плутовства с правосудием!

3) Предрассудков в земледелии и в обыденной жизни не оберешься. Сюда относятся и привычка к трехпольному хозяйству, и привычка к известной стройке жилищ, способствующей грязи и болезням, и смесь поверий языческих и христианских, которые столько же смешны, сколько отвратительны. В отношении гигиены они уже становятся смертоносными.

Итак, три рода предрассудков: религия, гражданственное устройство (разумея под этим общинный быт, как коренное основание) и хозяйственное устройство. Общий результат их – опять косность в нравственном и индустриальном отношении. И вот против чего должно действовать воспитание. Очевидно, что невежество заблуждений и предрассудков составляет для воспитателя действительную борьбу, между тем как

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
простое незнание непосредственно устраняется учением. В борьбе с предрассудками посредством воспитания мало одного учения, весь образ жизни учеников должен быть устроен ежеминутным противодействием предрассудкам, привитым с первого детства. Эта задача весьма нелегка, особенно при иных препятствиях, которых задняя мысль должна преследовать воспитателя. Но какие бы ни были препятствия, единство метода необходимо в воспитании. Этот метод, очевидно, должен быть противоположен всякому предрассудку. К счастью, этот метод есть существенная человеческая сторона в каждом человеке: это – рассудок, здравый смысл. Воспитывать здравый смысл значит истреблять предрассудки.

4) После этого введения перехожу прямо к плану моей школы сельского хозяйства.

А. Образ жизни учеников.

1) Ученики не будут принуждаемы исполнять какие бы то ни было обычаи, от которых пахнет обрядом и формализмом.

2) Ложь и обман будут преследоваться учителем следующим способом: показывая, что ложь из боязни напрасна, потому что отношения ученика и учителя отнюдь не будут основаны на страхе, а на уважении и соревновании. Обязанность учителя – всегда выказывать, во-первых, бесполезность и ненужность обмана, и потом его подлость. Это единственный путь приучить к честности.

3) Ученики встают в одно и то же время. Вставши, убирают комнату, умываются, расчесывают волосы и тогда идут к своим занятиям.

4) Постная пища уничтожается. Кушанья должны быть разнообразны; кроме мяса, приготовляемы из всяких овощей, легко добываемых мужиком. Развитие вкуса должно уничтожить лень. Уже фурье заметил, что хороший обед – главная цель индустрии.

5) Ученик не входит в школу с грязными ногами.

6) Ученик, раз поклонившись на улице учителю, помещику или кому из старших, обязан надевать шляпу.

7) Ученик, прося прощения за проступок, не смеет становиться на колени. Он предупрежден, что это считается подлостью.

8) Матери, отцы и родственники могут навещать учеников, но ученики домой не отпускаются.

9) Время труда, завтрака, обеда и сна определено. Труд разнообразен. Урок и телесная работа сменяются 2 раза в день.

10) Ученики спят на кроватях. Сменяют белье два раза в неделю. Никогда не спят ночь одетые. Кафтан должен быть вычищен и платье не валяться где попало.

11) В комнатах воздух чист и зимой определенная температура.

12) Телесных наказаний не существует. Maximum наказания – отдельный арест.

14 (sic). Ученики должны знать наперед, что по окончании курса, в награду за успех, они получают освобождение от крепостного состояния с условием пробыть 4 года в своем крае[123 – Ученики из моей деревни, может, уже и прежде будут свободны, но обязаны остаться в школе и в нашем крае означенное число лет.]

В. Наука.

Курс разделен на 4 года. Главное положение в течение трех первых лет: ученику ничего не говорится о фантастических предметах и исторических предрассудках. Учитель самыми уроками и обращением должен пробуждать соображение так, чтобы оно противоречило закоренелой нелепости.

Вот самые уроки:

1-й год. 2 первые месяца грамота по методе Жакото. Ученик учится считать по пальцам и по счетам и писать цифры. Читать он учится печатное по гражданским буквам. Книгу избрать довольно трудно и надо подумать. Церковной печати он вовсе не учится. Читать ему придется больше писанное, чем печатное, потому что писанных материалов мы предоставим больше. Выучившись писать, ученики продолжают писать под диктовку, которой содержание зависит от нас. Учатся арифметике. Утренний класс занимается арифметикой и объяснением атмосферических явлений (метеорологией и физикой), опытами легко понятыми и не требующими математических расчетов. Вечерние классы составляют диктовку предметов, которые должны быть опытом объяснены на другое утро. К концу зимы (а наша школа не может иначе начаться, как осенью) даются понятия о химии. Делаются аналитические опыты над телами, которые мы наиболее окружены. С весны знания учеников в физике и химии прилагаются к почве и растительности; но все химические сведения относятся только к качественному разложению, а не к количественному.

2-й год. Преподается геометрия. Уже с лета ученику даются геодезические понятия, и переход к геометрии будет не труден. Физика переходит к механике, то есть к объяснению законов движения, и дается теоретическое понятие о машинах. Химия переходит в количественный анализ, и объясняется теория пропорции. Анализы не производятся над телами редкими, а вертятся около почв и употребительнейших веществ.

3-й год. Физика и механика преподаются подробнее. Присовокупляется популярное изложение астрономии. Химия, не прекращая приложений к земледелию и физиологии растений, переходит в физиологию животных и прилагается к скотоводству. Дается понятие о геологии и ботанике, преподаются лесоводство, технология и сельское хозяйство.

4-й год. Продолжаются естественные науки со включением анатомии и краткой зоологии. Преподается сельская и техническая архитектура. Это в утренние часы. Вечерние часы посвящены: а) Грамматике, которая до сих пор ограничивалась правописанием по рутине, а теперь должна логически разобрать состав речи. б) География с приложением к производительности и торговле разных стран. в) Политическая экономия. г) Кое-что об истории, и отсюда е) понятие права, нравственности и прямое нападение на предрассудки (в известных границах). Entre autre[124 – Среди прочего (франц.)], ф) критический обзор наших постановлений.

Мне скажут, что это почти университетский курс. Если б и так, что за беда? Но размер науки и практическая цель покажут, что это не университетский курс, а именно тот, который должен образовывать селянина. Нам предстоит или просто выучить грамоте 50 школьников, из которых разумеется, ничего не выйдет, кроме людей, которые забудут читать и писать за неимением книг и времени, или образовывать человек 10–15 сельских учителей и начальников и пустить их как ферменты в наши общины. Я думаю, последнее разумнее, кроме того, что для малого числа учеников мы выберем лучших субъектов, что мужикам не в тягость отдать в школу по 1 мальчику со 100 душ и, следовательно, не будет недовольных, которые бы приходили смущать учеников, или дать повод к иным неприятностям. О школе для женщин я ничего не говорю; да мне кажется, что для нее и час не пробил, да и нам нельзя растрчивать внимание на слишком много предметов. Еще замечу, что в продолжении ваго[125 – описка у Огарева при переносе со строки на другую; в черновой, вероятно, было: первого.] времени мы с учителем обязаны составить народно-учебную книгу.

С. Телесная работа.

1- й год. Зимой: столярное, кузнечное, слесарное и медное ремесло. Летом: огород.

2- й год. Зимой: в мастерских ученики делают усовершенствованные полевые орудия и модели самых несложных машин.

3- й год. Ученики строят модели мельниц, молотилен etc. Летом: огород.

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
4-й год. Зимой продолжают устройство моделей. Летом: строят какой-нибудь завод, который сами пускают в ход на 5-ю зиму.

Возделывание огорода соединено с изучением систем сельского хозяйства. Ферму ученики посещают при объяснении возможных улучшений. Завод. Соимый учениками, должен быть рассчитан на выделку знакомых ученикам плантаций.

D. Гигиена.

Порядок в жизни, чистота жилища и мастерских, чистота воздуха в них и здоровая пища; к этому ученики приучаются бессознательно, а впоследствии им объясняется, почему что здорово или нет. Медицинские сведения ограничиваются гигиеническими понятиями и наставлением, как поступать с внезапно заболевшими и в несчастных случаях. Ученики должны уметь пускать кровь из руки.

Порядок в жизни влечет за собой:

E. Распределение труда.

Встают в 4 часа. От 5 до 8 ? класс. От 8 ? до 9 завтрак. От 9 до 10 мастерская или огород. В час обед, до 3 отдых. От 3 до 6 класс. От 6 до 8 мастерская (при свечах) или огород. В 8 ужин, потом сон. Выходит час на чистку комнат и себя, 6? часов класса, 6 часов телесной работы, 4 часа на еду и отдых и 8 часов сна.

Воскресенье зимой: отдых, состоящий в гимнастических упражнениях в зале, занятиях на скотном дворе, беседах с учителем, чтении ненаучных книг.

Воскресенье летом: прогулки по лесам, полям, оврагам, приуроченные к лесоводству, ботаническим и геологическим сведениям и съемке планов.

Можно учредить воскресный класс, в котором ученики будут учить детей просто грамоте.

Данные все говорят в пользу моего плана. Наука выведет из незнания. Предрассудки не будут иметь пищи, а, напротив того, наука нечувствительно перебросит из них совсем в другую сферу. Воспитаем мы людей практических, к делу прилагаемых, здоровых умом и телом; добросовестных, потому что им не будет ни примера, ни поощрения к обману; мужественных духом, потому что их отучат от испуга и приучат к чувству самостоятельности; трудолюбивых, – это уже обязанность учителя и моя страсть к труду. Они выйдут свободными людьми, хотя и обязаны остаться 4 года в нашем крае, чтобы успеть иметь влияние и обучать других. Во всяком случае, мы образуем человек 10 отличных мужиков- пропагандистов, и воскресными классами мы обучим большое количество детей грамоте. Чего же более? А между тем приготовится к печати курс популярной энциклопедии.

Лета учеников для поступления в школу entre 12 et 14.

Из сего видно, что требуется от учителя и насколько он должен быть близок мне, единомыслен и единомушен. Плата от 1500 руб. до 2000 руб. в год и хорошее содержание. Вот мое поручение: сыскать учителя. Он будет называться моим лаборантом, и когда будешь писать о нем, так и называй. Если он не сведущ в сельском хозяйстве, выучится здесь; но математику должен знать хорошо, а естественные науки отлично и иметь привычку производить опыты. Умственные способности – само собой разумеется, какие. Хорошее поведение необходимо. Когда найдешь, напиши тотчас, мне хотелось бы в сентябре открыть школу. Если к тому времени не найдется, то нельзя иначе открыть как после Нового года, ибо я от половины октября до половины декабря буду в Москве.

Введение этой программы есть оглавление большой статьи, которая будет писаться года три и больше»[193 – М. О. Гершензон сообщал родным 31 января 1901 г.: «Сегодня нашел писанный собственноручно Огаревым план «политехнической» школы для крестьян, которую он думает устроить у себя – страшно интересный, но в России его невозможно напечатать» (Гершензон М. О. Письма к брату. С. 150). Беловая рукопись этого плана хранится в ОР РГБ. Ф. 69. (Герцен А. И.

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org и Огарев Н. П.), VII, 112. Ecole Polytechnique Repopulate. 2 лл., 4 стр. 22 х 14,5 (См.: Аскарянц А. В. Описание рукописей Н. П. Огарева. М., 1952. С. 63). «Черновик начала проекта был обнаружен жандармами при обыске в Старом Акшене в 20-х числах марта 1850 г. и отправлен в III Отделение. Обыск был произведен по распоряжению пензенского губернатора А. А. Панчулидзева, который стремился получить хоть какие-либо доказательства виновности Огарева, после того как последнему удалось при аресте 24 февраля 1850 г. скрыть все свои бумаги. <...>Беловая рукопись была послана Е. Ф. Коршу в июле или августе 1847 г. с письмом, в котором Огарев обращался к Е. Ф. Коршу и Т. Н. Грановскому с просьбой подыскать учителя для проектируемой школы» (Огарев Н. П. Избранные социально-политические и философские произведения. В 2 тт. Т. II. М., 1956. С. 556).]

План этот едва ли нуждается в пояснениях. Можно оспаривать ту или другую его подробность, но основным его пунктам нельзя отказать в рациональности, за исключением, впрочем, одного: едва ли можно признать правильной предлагаемую Огаревым систему полного обособления учеников от их семейств, то есть от той среды, в которой они сложились и в которую вернутся после школы [126 – В этом деле Огарев далеко опередил свое время: специалисты по сельскохозяйственному образованию только в наши дни пришли к мысли о школе-ферме, какую он проектировал в 1847 году. Так, олонецким земством года четыре назад выработан тип школы-фермы, в общих чертах близко напоминающий план Огарева. По сообщению «Пермских Губернских Ведомостей», каждой такой школе предполагалось отвести участок земли не менее 50 десятин. На этом участке полевое хозяйство должно быть поставлено в той форме крестьянского хозяйства, какая желательна для данного района в будущем, при школе должны быть ученики от 30 до 40 человек; ученики школы должны производить все сельскохозяйственные работы под непосредственным наблюдением управляющего школой; в зимнее время ученики должны обучаться ремеслам кузнечно-слесарному и столярно-плотничному, в пределах потребности крестьянского хозяйства; в свободное от работ в мастерских время должны проводиться беседы управляющего с учениками, имеющие прямое отношение к ведению фермерского хозяйства; курс школы 3-летний; все ученики в течение этого периода должны проживать в школе. [734 – В примерно указанный исследователем временной период такого сообщения не обнаружено. Но «Пермские губернские ведомости» в принципе уделяли большое внимание вопросам просвещения, народного образования, учебным заведениям для простых классов. В рубрике «По Пермскому краю» практически постоянно публиковалась информация, аналогичная той, которую дает Гершензон.]]].

Но весь план остался на бумаге: школы Огарев не устроил. Около этого самого времени он завел в Акшене больницу, в которой сам усердно работал, и до сих пор там сохранилось немало больничных принадлежностей и инструментов, равно как и книг по медицине на разных языках. Что помешало ему открыть школу, мы не знаем. Мысль о ней была, конечно, с восторгом принята друзьями; по-видимому, были даже разговоры о том, чтобы и Герценам и Коршам переехать в Акшени – воспитывать своих детей в этой школе. В неизданном письме Герценов к Огареву из Парижа от 3-го августа 1847 года Наталия Александровна Герцен писала: «А что же, школа будет у тебя в деревне? Тогда мы привезем наших детей туда учить, и учителей, и я сама буду учить, чему умею, и Марью Федоровну [127 – М. Ф. Корш, сестра Евгения Федоровича Корш; Федя – сын Евгения Федоровича, теперь академик Ф. Е. Корш.] привезем, потому что, верно, и Федя будет в этой школе. Саша [128 – Восемилетний тогда сын Герценов, позднее известный физиолог.] учится здесь гимнастике, а тогда уж не надо будет: возле лес и река есть! Заводи же поскорей школу, а я здесь научусь поскорее, да мы выпишем туда и Гр(ановского) преподавать историю; твоего и нашего состояния вместе достанет, чтобы учредить все и содержать всех хорошо, только вина не будем выписывать много, да вино и заниматься будет мешать. Составь выбор книг, мы запасемся здесь, чем нужно... и вырастет юное поколение, и будет жить, мы состаримся, умрем и будем жить в них. А похоронят нас в твоей деревне. Большие люди – как дети, которые заиграются до того куклой, что воображают ее живую, а она из тряпочек; да только моя кукла не из тряпочек, а не жива она оттого, что холодно» [194 – Герцен А. И. Огареву Н. П. 3 августа (22 июля) 1847 г. Приписка Н. А. Герцен. – Гершензон М. Н. П. Огарев и его крепостные. С. 104–105.].

Изложенным исчерпываются все наши сведения об отношениях Огарева к его крепостным. Пензенских своих крестьян он так и не освободил. В конце 40-х годов его пензенские деревни перешли к его друзьям Н. М. Сатину и Н. Ф. Павлову; вскоре затем Огарев купил Тульскую бумажную фабрику (в Корсунском уезде, Симбирской губ.), на которой и работал до 1855 г., когда она сгорела. Он и здесь пользовался крепостным трудом, стараясь по возможности заменить его вольнонаемным. Одно его письмо от начала 1854 г. [129 – К С. И. Астракову, см.: «Полярная Звезда». Изд. графа Салиаса. 1881 г., февраль. С. 29.] показывает, что у него возникла и мысль о фабриках, основанных на ассоциации труда, но его пугала косность русского крестьянина, развращенного крепостничеством: «уверенный, что его никак нельзя прогнать за тунеядство, он не хочет делать все, что может, и едва ли способен на это, даже при ассоциации труда»; главное зло он видел в том, что «нет стремления жить лучше» [195 – Огарев Н. П. Астракову С.И. 26 января 1854 г.: «Мое пребывание на фабрике навело меня на разные размышления. Во-первых, как была бы выгодна фабрика на ассоциации труда, для всех участвующих лиц, а во-вторых, как крепостничество портит русского работника. Уверенный, что его никак нельзя прогнать за тунеядство, он не хочет делать все, что может и едва ли способен на это, даже при ассоциации труда. Косность неимоверная. <...> Когда нет стремления жить лучше, – о, что же остается? – возмутительная мера – власть, или уничтожение фабрикации» (Полярная звезда. 1881, февраль. С. 29)]. Вскоре после пожара фабрики, в 1856 году, он навсегда покинул Россию.

Огарев сам – полнее и красноречивее, чем мы могли бы это сделать, – подвел итог своей практической деятельности в России. По всей вероятности, в годы акшенского эксперимента (1847–1849 гг.) написал он начало стихотворной повести под заглавием «Деревня» [196 – Огарев Н. П. Деревня. (Повесть), 1847, первая половина. Не окончена.]. Ее сюжет – именно этот его неудавшийся опыт. После изучения философии в Берлине, объехав Европу и изнуренный несчастной любовью, Юрий возвращается в Россию и поселяется в своем родовом поместье, задавшись целью:

Познанья, ум и жажду дел,
Которой цели не умел
Определить доселе верно,
К тому направить, чтоб село
Его трудилось и цвело,
Чтоб грамоте учились дети
И мужики умнели бы без плети.

К этой цели он идет теми же двумя путями, которыми, как мы видели, шел Огарев: учреждает школу, а главное, старается заменить барщину платным трудом. Поэма осталась неоконченной, но среди бумаг Огарева сохранилось следующее «Письмо Юрия» [130 – Печатается полностью впервые. Рукопись черновая, кое-где стих не отделан или даже не окончен. Взятое в скобки в рукописи подчеркнуто.]:

Мой друг! Я думал сделать много!
Я думал, здесь себе исход
В труде рассчитанном найдет
Ума немолчная тревога,
Подобно, как пары. Стремясь,
Для цели движут тяжесть масс,
Иначе в пустоте окружной
Разносятся бессильно и ненужно.

Бразды правленья взял я в руки,
Изгнав уныние, как грех,
С надеждой юной на успех,
С запасом мысли и науки,
Желаньем лучшего томим,
С тем уважением прямым
К лицу, к его правам, свободе,
Которое хотел вселить в народе.

Я думал, барщины постыдной
Взамен введу я вольный труд,
И мужики легко поймут

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
Расчет условий безобидный.
Казалось, вызову я вдруг
Всю жажду дела, силу рук,
Весь ум, который есть и ныне,
Но как возможность, в нашем селянине.

Привычкой связанный ленивой,
Раб предрассудков вековых,
В нововведениях моих
Следы затеи прихотливой
Мужик мой только увидал
И молча мне не доверял,
И долго я на убежденье
Напрасно тратил время и терпенье.

И – как мне это было ново! –
Чтоб труд начатый продолжать,
я должен был людей стращать!
Пойми насквозь ты это слово:
я должен был стращать людей!
И чем же? – властью моей,
Которой от души не верю,
Которую я гадко лицемерю.

Да! Гадко! Гадко и бесплодно!
Я этим верить приучу
Во власть мою, а хлопочу
Дать почву вольности народной!
И впереди моя судьба –
увидеть прежнего раба
Там, где хотел я человека
Воспитывать для всех успехов века.

Что ж выхожу перед собою
И пред людьми я, наконец?
Что? Барин? Подданных отец?
То есть плантатор пред толпою
Сих белых негров? Иль опять,
Как и назад тому лет пять, –
Мечтам не верящий мечтатель,
В горячке вечной подвигов искатель?

Итак, мой друг, вперед ни шагу!
Желанья тщетно пропадут,
я только на пустынный труд
Растрочу силу и отвагу.
Один не изменю я ход,
Который избрали – народ,
Его правительство и барство,
Вся гнусность под названьем – государство.

И выход есть один: терпенье!
Терпенье! В этом слове, друг,
две вещи высказаны вдруг:
Бесплодная работа и мученье!
Терпенье – выход!.. Так сносить
Среду, где довелось жить,
Насколько б ни было в ней скверно, –
Есть выход? О!.. Как это лицемерно!

Так что ж? Теперь – еще покуда
я сил запас не истощил,
Для денег, денег не ценил –
Уж не бежать ли мне отсюда?
Чтобы уйти, я мужикам
Именье все и волю дам..
Но этим, не исправив нравы,
я послужу невеждам для забавы!

И все же жаль мне цель оставить –
Устроить в стороне родной
Хоть этот мирный угол мой
Так, чтоб в нем мог себя поздравить
С свободой прочной селянин,
Деревни вольной гражданин.
Вот все, чего ищущи... Ужели
Для этого мы даже не созрели?

О, если так, то прочь терпенье!
Да будет проклят этот край,
Где я родился невзначай –
(Уйду, чтоб в каждое мгновенье
В стране чужой я мог казнить
Мою страну, где больно жить,
Все высказав, что душу гложет, –
Всю ненависть, или любовь, быть может).

Хочу, по крайней мере, чтобы
Хоть умер я на почве той,
Где любит волю род людской,
Где я глаза б закрыл без злобы,
Вдали от всех тупых рабов,
От всех властителей-глупцов,
От казней темных и злодейских
И всех смешных надзоров полицейских.

(Но до конца я стану в чуждой стороне
Порядок, ненавистный мне,
Клеймить изустно и печатно,
И, может, дальний голос мой,
Прокравшись к стороне родной,
Гонимый вольности шпионом,
Накличет бунт над русским небосклоном).

Это был обет и пророчество.

2. Поэт

I

Если бы понадобилось определить основной мотив поэзии Огарева одним его стихом, мы привели бы стих: «Душа грустит. Стремясь и желая» [197 – Огарев Н. П. Фантазия («Свеча горит. Печальным полусветом»), <1841 г.>.]... Этими самыми двумя словами: стремление и желание, он сам обыкновенно определяет свое душевное состояние, и первое, общее впечатление, производимое его поэзией на читателя невозможно выразить иначе, как именно этими словами. К чему стремление, это видно с первого взгляда: стремление к полноте и гармонии бытия, жажда и такого момента, когда все душевные силы безраздельно поглощены одним чувством, – жажда «полного аккорда». При каких условиях должно осуществиться это стремление, какого порядка должно быть поглощающее чувство – безразлично, лишь бы пережить гармонический момент. Это безусловное никакими конкретными признаками, совершенно идеальное требование составляет основной мотив поэзии Огарева и ее главное отличие.

Мы увидим ниже, что он знал моменты душевной полноты, – кто не знал их, особенно в молодости? И вот, характерно, что у него нет ни одного стихотворения, которое было бы посвящено изображению такого момента, точно так же, как нет ни одного, в котором выразилась бы жалоба или негодование на какую-нибудь реальную причину,

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org

внесшую диссонанс в звучавший аккорд. Его вдохновляет не самое счастье в его конкретной форме, и не скорбь об утраченном, опять конкретном счастье, а чистая жажда душевной полноты вообще. Очевидно, он писал только в такие минуты, когда никакое определенное чувство радости или боли не заполняло его души, то есть когда вещественные элементы последнего пережитого упоения уже утратили для него свое очарование.

Идеальное требование, призванным глашатаем которого является Огарев, в столь чистом виде не было выражено ни одним из наших великих лириков. Без сомнения, в душе каждого поэта – как, впрочем, в душе каждого человека – живет некий идеал красоты или гармонии бытия («счастия»), более или менее высокий, более или менее сознаваемый; но, повторяю, ни один из наших поэтов не сосредоточился так исключительно, как Огарев, на изображении тех чувств, которые вызываются самой жаждою этой красоты. Душевная гармония, «полный аккорд» составляют в сущности содержание всякой лирики; но из трех моментов этого явления: из стремления к гармонии, вкушения ее и грусти о неизбежном ее нарушении – русская лирика почти исключительно разрабатывала только два последних. Как Огарев является типичным выразителем первого из этих моментов, так типичными выразителями двух остальных (душевной полноты, с одной стороны, и скорби о ее мимолетности или невозможности – с другой) являются Фет и Лермонтов. В Пушкине оба последних момента соединены, ибо самое чувство скорби о недолговечности счастья, благодаря божественно-свободной игре необъятных душевных сил, превращается у него в свою противоположность, то есть дает ему внутреннее ощущение гармонии, блаженства. Напротив, Фет и Лермонтов односторонни в своих сферах, как Огарев – в своей.

На всем протяжении своего творчества, начиная с самой конкретной своей картинки, вроде «Шепот, робкое дыханье», и кончая мистической картиной своего пробуждения в могиле [198 – Фет А. Шепот, робкое дыханье, 1850 г.; Никогда. Предположительно датируется январем 1879 г.], Фет является певцом среднего момента: достигнутой полноты души. Он исчерпывает блаженство мгновения с неслыханной интенсивностью, и дает нам всю гамму наслаждения – от его земного подножия до его мистических отголосков. Мы не станем спрашивать себя здесь, как случилось, что жизнь уготовила ему эти мгновения в таком завидном обилии; для нас безразлично, объясняется ли это сравнительной близостью к природе и, значит, осуществимостью его идеала, или же счастливой организацией поэта. Для нас важно, что он ощущал вдохновение преимущественно в те минуты, когда его стремление к полноте чувства находило себе удовлетворение вовне. И у него, конечно, гармония неминуемо каждый раз нарушалась, но тогда и вдохновение покидает его, и он кладет перо, ограничиваясь удостоверением грустного факта: «Миг один – и нет волшебной сказки, и душа опять полна возможным» [199 – Фет А. Фантазия. Изд. в 1850 г., без заглавия. Миг еще... и нет волшебной сказки, и душа опять полна возможным.]. Так велика, так абсолютна достигаемая им в наслаждении полнота чувства, что содержание момента, конкретное или идеальное, не оставляет в его душе места ничему другому: когда конкретное, тогда для него

Только в мире и есть, что душистый

Милой головки убор... [200 – Фет А. Только в мире и есть, что тенистый..., 1883 г., 3 апреля.]

– когда идеальное, тогда он в мгновении созерцает вечность. Не остается места и вытекающему из опыта сознанию непрочности счастья, хотя этот опыт, без сомнения, не был чужд и Фету.

В этом его основное отличие от Лермонтова, вся энергия которого сосредоточивается не на вкушении блаженства (оно в первое же мгновение отравлено для него сознанием непрочности всякого счастья), а на протесте против тех внутренних и внешних сил, которые разрушают блаженство: против рассудка, спугивающего своим непрощенным словом сладкий недуг страсти; против судьбы, так горько прекословящей надеждам юности; против холодных и бездушных людей. И так сильна в нем отрицательная сторона, эта жажда освобождения от оков, мешающих блаженству, что положительный идеал – самое блаженство – почти исчезает из его глаз:

Дайте волю, волю, волю,
И не надо счастья мне,

говорит он. Ему нужно не самое наслаждение, а свобода от оков, да разве еще тот слабый намек на блаженство, который мог бы поддерживать в душе стремление к

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
нему, – не самая любовь, а только звуки сладкого голоса, поющего про любовь. Лермонтов «без страха ждет довременный конец» [201 – Лермонтов М. Ю. Желанье (1832 г.). Автограф второй редакции, состоящей всего из восьми стихов, сохранился в рабочей тетради поэта среди стихотворений 1832 г. Здесь стихи 5–8, завершающие стихотворение, читаются так: Чтоб я с ней по синю полюускал на том коне. Дайте волю – волю – волю – и не надо счастья мне! Не смейся над моей пророческой тоскою (1837 г.). В тексте «Но я без страха жду довременный конец».], который прекратит пустую и глупую шутку и, вместе с нею, мучительную борьбу. Для Фета смерть не существует, она – тень у ног его, безличный призрак: пока он жив, смерть не властна умалить его наслаждение, а когда она наступит, он вместе с объектом счастья утратит и способность, и самую жажду упоения, вместе с пищей – и самое чувство голода.

Вокруг Фета и Лермонтова, со взятой нами точки зрения, группируется вся русская лирика: ее содержанием является преимущественно либо реальный момент достигнутой гармонии со всеми сопутствующими ему мажорными тонами, либо реальный момент ее разрушения со всеми сопутствующими этому моменту минорными тонами. И то, и другое почти совершенно чуждо Огареву.

Его не вдохновляет на творчество то непосредственное ощущение душевной полноты, которое дают всем людям красота, любовь, природа, минута вдохновения, и которое у Пушкина, у Фета, Майкова, Полонского, Ал. Толстого исторгает чарующие звуки. Но его не вдохновляет и обратная сторона чувства, – реальные диссонансы, живущие в душе или извне вторгающиеся в гармонию. Все обычные мотивы этого порядка ему чужды, или звучат у него лишь изредка и мимолетно: чужды ему жалобы на суетность, быстротечность и случайность явлений жизни, на неизбежность смерти, на судьбу, на разлад разума и чувства и на раздвоение культурного человека, на «людских сует ничтожность» [202 – Пушкин А. С. Борис Годунов (1825)]. В тексте: «Ничтожность мирских сует» (монолог Пимена).], на злобу и ложь людей, на муки и непостоянство любви. Его вдохновляет, повторяю, одно: чистое, лишенное всяких материальных признаков стремление к полноте чувства. Его поэзия дает нам, если можно так выразиться, чистую форму духовного голода, – и мы сейчас увидим, какие бесконечно-разнообразные и сложные ощущения рождает в нем этот на вид однообразный мотив.

У Огарева есть одно необыкновенно-задушевное и музыкальное стихотворение, которое можно было бы назвать историей его сердца. Вот оно:

Я помню робкое желанье,
Тоску, сжигающую кровь,
Я помню ласки и признание,
Я помню слезы и любовь.
Шло время – ласки были реже
И высох слез поток живой,
И только оставались те же
Желанье с прежнею тоской.
Просило сердце впечатлений
И теплых слез просило вновь,
И новых ласк и вдохновений,
Просило новую любовь.
Пришла пора – прошло желанье
И в сердце стало холодно,
И на одно воспоминанье

Трепещет горестно оно. [203 – Огарев Н. П. Я помню робкое желанье. 1842 г., 24 февраля.]

Вся его жизнь представляется ему непрерывной вариацией одного основного мотива, который он называет «желанием»; в юности – желание, легко находящее себе удовлетворение, потом желание, труднее осуществи мое, но сохраняющее еще всю свою полноту и свежесть, и, наконец, самая горестная пора, пора, когда желание ослабело. Этот мотив мы находим уже в самом раннем его воспоминании: когда ребенком, он, бывало, летней порою сживал в лесном гроте, то –

смутным помыслом объят был детский ум
Средь грез таинственных и робкого желанья. [204 – Огарев Н. П. Воспоминания детства. II. Лес, 1857 г., 2 мая – 14 октября.]

Что же такое это Огаревское желание, в котором поэт видит единственную быть и

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosofff.org
суть своей жизни? Как оно возникает и к какой направлено цели?

Огарев неоднократно изображает момент возникновения «желания». Вот, в ясный летний вечер, он стоит на берегу пруда и смотрит, как гаснет день, как загорается в небе звезда, как ласточка стрелою несется над водой; и смутный сон наполняет его душу, – ей грустно и легко, воспоминание воскрешает перед нею такую же картину в прошлом, но вместе с тем и –

все, что было,
что сладко сердце разбудило
и промелькнуло навсегда. [205 – Огарев Н. П. Вечер («Когда настанет вечер ясный»), <1841 г.>.]

Или, вот, он вечером, усталый от дневных забот и шума, едет молча по тряской мостовой; на повороте улицы он видит дом – знакомый дом! И сквозь окно он видит белое платье и чей-то медленно идущий образ: – он восторжен, «сердце билось сильно». Но чаще всего «желание» порождается в нем звуками музыки – внезапно вспомнившейся или случайно услышанной мелодии. Схематически этот душевный процесс может быть изображен таким образом: среди будничного или подавленного настроения какой-нибудь внешний возбудитель (картина природы, музыка, лицо незнакомки в дилижансе, напоминающее когда-то милые черты) воскрешает в нем жажду упоения, полноты чувств; он озирается – вокруг нет ничего, что могло бы утолить эту жажду; и вот он обращается мыслью назад («Назад влечет меня желанье»)[206 – Огарев Н. П. Поэма «Юмор». Часть первая, опублик. в 1857 г.] и старается наполнить внутреннюю пустоту воспоминанием о пережитых раньше минутах блаженства. Эта естественная и знакомая каждому человеку связь между «желанием» и воспоминанием объясняет нам, почему три четверти пьес Огарева – этого по преимуществу певца «желания» – имеют своим предметом воспоминание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (<http://www.litres.ru/mihail-gershenzon/izbrannoe-molodaya-rossiya/?lfrom=236997940>) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

Остаф. архив. Т. I. С. 457–59; Рус. Биограф. Словарь. Т. Об-Оч. 1905. Ст. г. А. Петрова.

2

Записки С. Г. Волконского. 1 изд. С. 407.

3

Зиму и весну 1815–1816 гг. Орлов по болезни провел в Париже, лето – на водах в Бареже и в Петербург вернулся в ноябре 1816 г.

4

Н. Тургенев. *La Russie et les Russes*. I. С. 172–73; Вигель. Нов. изд. Ч. V. С. 51–52.

5

Бумаги Жуковского, – см. Отчет Императ. Публ. Библиотеки за 1887 г. Приложение. С. 82.

6

«Записка о тайном обществе», представленная Орловым следственной комиссии 1826 г. Довнар-Запольский. Мемуары декабристов. 1906. С. 3 и 25.

7

Русская Старина. 1904, март. С. 491; апрель. С. 26. Тургенев, I. С. 222–224. Доклад следств. ком. по делу 14 дек.

8

Остаф. архив. I. С. 347 и 653.

9

Русская Старина. 1904, март. С. 491–92; Тургенев, I. С. 86; Якушкин. С. 45. «Записка» Орлова, у Довнар-Запольского. Цит. соч. С. 3.

10

Это, как и все дальнейшие письма, цитируемые в настоящей статье без указания источника, печатаются здесь впервые, с рукописных подлинников, и – где не оговорено противное – в переводе с франц. языка.

11

Русская Старина. 1887, июль. С. 228 и сл.

12

Отчет Императорской Публ. Библиотеки за 1896 г. С. 192–95.

13

Киевская Старина. 1897, июль – авг. С. 65 и сл. Записка Мартоса о школе Орлова любопытна и как показатель тех великих надежд, какие возлагало тогда наше общество на ланкастерскую систему в смысле быстрого просвещения масс. Он пишет: «Смотря на сей превосходнейший способ, в наш век юношеству доставленный, переходить скорыми шагами из тьмы во свет, открывающий великолепные виды к дальнейшему просвещению, нельзя не сказать: вот наступили последние времена невежества, которое стремглав падет в бездну, как Люцифер, со всеми темными легионами своими; а божественный свет ума, коего все жаждут с несытостью, взыдет на верх круга народных смыслов и будет озарять всех и вся так удобно и легко, как озаряет вселенную свет солнца».

14

Речь Орлова напечатана в Сборнике Имп. Русск. Ист. Общества. Т. 78. 1891 г. С. 519–528.

15

Остаф. архив. I. С. 299, 306, 297, 346.

16

Письма Орлова к Бутурлину не напечатаны; за сообщение их приношу благодарность П. Е. Щеголеву.

17

Остаф. архив. I. С. 192.

18

Остаф. архив. I. С. 260.

19

Сколько-нибудь сносной биографии Раевского нет; библиографию см. в Русском Вестнике. 1898, март.

20

По-русски, как и следующие письма.

21

М. В. Довнар-Запольский. Мемуары декабристов. 1906. С. 6.

22

Сравн. показание Комарова, – Довнар-Запольский. Цит. соч. С. 34–35.

23

В письме к редактору Колокола по поводу выхода в свет записок Якушкина Н. И. Тургенев говорит, между прочим: «Я нахожу также несколько неосновательных и неверных рассказов о других лицах, кроме меня, и именно о Мих. Орлове» (Колокол. № 155, от 1 февр. 1863 г.).

24

См. Записки И. Д. Якушкина. С. 53, и Русскую Старину. 1872. VI. С. 602. Кроме того: Тургенев. La Russie... I, 118. Волконский С. С. 410–12. Русская Старина. 1873, март. С. 374 и 1872, май, С. 775 сл.

25

Биография В. Ф. Раевского написана П. Е. Щеголевым и издана отдельно в 1905 г. О рано умершем Охотникове известно мало; вот его любопытная характеристика, сделанная М. Ф. Орловым в письме к жене (Орлов пишет из своей калужской деревни в апреле 1823 г.): «Охотников пробыл здесь два дня и, все раскритиковав, все разбранив, изложив все свои философские воззрения, увозит теперь это письмо, с тем, чтобы сдать его на почту в Козельске или Мещовске. Не знаю ничего несноснее этого воплощенного нравственного совершенства, которое оговаривает всякий чужой поступок и берет на себя роль ходячей совести своих друзей. В сущности он прекраснейший и достойнейший человек, и я люблю его от всей души, но у него привычка говорить другому в лицо самые грубые истины, не догадываясь, что каждая из них бьет того словно обухом по голове». Сравн. отзыв Липранди. – Русский Архив. 1866. № 8–9. С. 1252.

26

Что Орлов знал его еще из Петербурга, доказывается письмом Орлова к А. Н. Раевскому на Кавказ, от 8 июля 1820 г., где есть «поклон юному Аруету Пушкину».

27

Екатерина Николаевна Орлова послужила Пушкину прообразом для его Марины в «Борисе Годунове». В сентябре 1925 г. он писал Вяземскому из Михайловского: «Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова! знаешь ее? Не говори однако ж этого никому». (Соч. Пушкина. Изд. Академии Наук. Переписка. Под ред. В.И. Саитова. Т. I, СПб. 1906. С. 289).

28

Русская Старина. 1883, декабрь. С. 657–58.

29

Воспоминания Липранди. – Русский Архив. 1866. № 10. С. 1438–41.

30

Сборник Императорского Русского Историч. Общества. Т. 78. С. 90–118; Заблочкин–Десятовский. Граф П. Д. Киселев. Т. I. С. 158 слл.

31

Русский Архив. 1884. 4. С. 391.

32

Вот кстати любопытные цифровые данные о его состоянии и о тогдашних ценах. В июле 1822 г. он сообщает жене расчет, по которому хотел бы продать это имение с заводом, если бы нашелся покупатель: 230 заводских рабочих – по 1 тыс. руб., 500 крестьян – по 300 руб., 23 000 десятин – по 30 руб., постройки – 70 000 руб., инструменты – 50 000, материал – 100 000, а всего 1 290 000, но если бы дали миллион, то взял бы.

33

Русская Старина. 1883, дек. С. 659.

34

Шильдер. Николай I. Т. I. С. 238.

35

Ребенок-черкес, приемыш А. Н. Раевского, который вывез его 3-х лет раненого с Кавказа и на коленях привез в Киев.

36

Собака.

37

Русская Старина. 1899, май. С. 241.

38

Анненков. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. – Вестник Европы. 1874, янв. С.
Страница 107

8.

39

«Демон», черновые наброски этого стихотворения и варианты XLV строфы I гл. «Онегина».

40

Русская Старина. 1899, май. С. 143.

41

Общественное движение в России. Т. I, – статья В. И. Семевского. С. 46 и слл.; Якушкин. С. 74 и слл.; Доклад следственной комиссии, и пр.

42

Итак, генерал, все кончено (франц.).

43

Как кончено? Это только начало конца (франц.).

44

Кн. П. В. Долгоруков в своем некрологе кн. С. Г. Волконского (Колокол. № 212, от 15 янв. 1866 г.) говорит, что после 14-го декабря старик Раевский уговаривал Волконского бежать за границу, но тот не послушался его и 7 января поехал в Умань, где и был взят.

45

Записки кн. Волконской. Приложения. С. 124.

46

Русский Архив. 1874. I. С. 389.

47

Рескрипт и аттестат напечатаны в «Приложениях» к Запискам кн. Волконской. С. 128.

48

Довнар-Запольский. Цит. соч. С. 311.

49

Собственноручные повеления Николая на имя ген.-м. Сукина. – Былое. 1906, май. С. 202.

50

Эта записка, как и дополнительные показания Орлова, напечатаны в сборнике: М. В. Довнар-Запольский. Мемуары декабристов. 1906. С. 1–26. В предыдущем изложении мы пользовались ею с величайшей осторожностью.

51

Воцарение императора Николая I (Из дневника Г. И. Вилламова). – Русская Старина. 1899, март. С. 670–671.

52

Так показал на следствии и сам Муравьев.

53

Это разрешение было ему дано на следующий день после водворения М. Ф. Орлова в Алексеевском рavelине, 30 декабря (Былое. Там же. С. 202).

54

Письмо А. Н. Раевского к отцу от 21 янв. 1826 было впервые напечатано (в русском переводе) в Русской Старине, 1884 г., май, и затем перепечатано в «Приложениях» к Запискам кн. М. Н. Волконской, в обоих случаях – с пропуском приводимых здесь в тексте слов Николая I о Волконском; перед нами подлинник письма.

55

Мы знаем теперь, на что намекает последними словами А. Раевский: это, во-первых, история вскрытия Волконским пакета, адресованного Киселеву, которую передает в своих Записках кн. Волконская, во-вторых, ложь, в которой уличала его следственная комиссия. В «Донесении» последней читаем: «По всему видно, что и деятельнейшие в тайном обществе, точно не стыдясь, обманывали друг друга. Так г.-м. кн. С. Волконский сообщал Пестелю, что он подговорил многих офицеров из всех полков 19-й дивизии... называл некоторых, будто бы, принятых им... и после должен был признаться, что все было им вымышлено из тщеславия, для доказательства его преступного усердия».

56

Эти слова написаны по-русски.

57

«Записки» кн. С. Г. Волконского. Приложение. С. 453.

58

Русская Старина. 1878, июнь. С. 337.

59

По-русски, как и дальнейшие его письма.

60

У Раевского здесь описка: «Репнина».

61

Чтобы получить немного денег (франц.).

62

Последняя фраза написана по-французски.

63

«Из записок декабриста». Русское Богатство. 1904, март. С. 55.

64

Барон А. Е. Розен. М. Н. Муравьев. – Русская Старина. 1884, янв. С. 69.

65

Шильдер. Николай I. Примеч. № 519.

66

Русский Архив. 1897, янв. С. 9.

67

Остаф. архив. I, С. 459; Шильдер. Николай I. С. 447.

68

Из писем Кристина. – Русский Архив. 1884. № 6. С. 148.

69

Соч. Герцена. Русск. изд. Т. VI. С. 4 сл. Т. II. С. 131.

70

За неимением лучшего (франц.).

71

Книга Орлова «О государственном кредите» вышла анонимно в 1833 г. и позднее (1840) была переведена на нем. яз.: см. Русский Архив. 1899. I. С. 633–34.

72

Шевырев в 1843 г. написал некролог Орлова и посылал его для прочтения Чаадаеву. В Императорской Публ. Библиотеке находится рукописное письмо последнего к Шевыреву без даты: «Покорнейше благодарю вас, милостивый государь Степан Петрович, за сообщение вашей статьи умной, благородной. Все друзья и ближние нашего доброго Орлова вам за нее скажут спасибо. Без вас он бы пропал без вести. От всей души желаю, чтоб с вами цензура обошлась милостиво. Душевно вам преданный П. Чаадаев». Цензор не пропустил этой статьи, назвав Орлова «каторжным». – Остаф. архив. IV. С. 232.

73

Воспоминания М. В. Юзефовича. – Русский Архив. 1880. III. С. 432.

74

Русская Старина. 1878, июнь. С. 338.

75

Рассказывают, что перед своим вынужденным отъездом из Одессы А. Н. Раевский нашел случай встретиться с гр. Воронцовой на улице или на бульваре, и при свидетелях сказал ей: «Je pars. Soignez bien nos enfants!» (или «ma fille») (я уезжаю. Хорошо заботьтесь о наших детях (или «моей дочери») (франц.).

76

Русская Старина. 1885, ноябрь. С. 402–403.

77

Глава вторая, занимающая важное место в «Истории молодой России», здесь опускается, так как полностью входит в книгу «Жизнь В. С. Печерина», публикуемую в данном томе [Ред.] .

78

Письма Станкевича изданы впервые П. В. Анненковым в 1857 г. Они обнимают время с 1831 по 1840 г. и составляют том в 353 страницы. Его Сочинения (стихи и проза) изданы А. И. Станкевичем в Москве, в 1890 г. Настоящий очерк основан преимущественно на материале писем; кроме цельных выдержек, отмеченных кавычками, мы очень часто пользуемся в тексте отдельными выражениями писем, не указывая этого. [724 – Гершензон имеет в виду книгу: Станкевич Николай Владимирович. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. М., 1857, а также: Н. В. Станкевич. Стихотворения. – Трагедия. – Проза. М., 1890.]

79

Страстное желание, томление (нем.) .

80

Туда, туда, хотела б я, о, мой любимый, устремиться (нем.) .

81

Жизнь есть только заблуждение (нем.) .

82

Истина (нем.) .

83

«Что могу я знать, на что смею надеяться... Что я должен делать?» (нем.) .

84

Всеведущее добро господствует над миром (нем.).

85

Незыблемая (неизменная) идея (лат.).

86

Из самого источника (лат.).

87

В отказе от самого себя находить себя (нем.).

88

Только спокойно (нем.).

89

См. его предсмертные заметки «Об отношении философии к искусству». Соч. М., 1890. С. 176 слл. [725 – Станкевич Н. В. Стихотворения. – Трагедия. – Проза. М., 1890. С. 176–182.]

90

П. Б. Струве.

91

См. замечательное письмо В. Боткина 1842 г. у Пыпина: Белинский. II. С. 142. [726 – Боткин В. П. Белинскому В.Г. 20–23 марта 1842 г. // Пыпин А.Н. Белинский, его жизнь и переписка. Т. II. Спб., 1876. С. 142.]

92

Своего рода (лат.).

93

Незаконченное, неустойчивое (нем.).

94

Становление (нем.).

95

Лишь того, кто пылает, освежает источник (нем.).

96

Со всеобщим (нем.).

97

Этот мудрый фатализм, это – если можно так сказать – благоговенье перед грядущим с удивительной силой выражены Вильгельмом Гумбольдтом в одном сонете: «Есть власть судьбы, таинственная власть. В соединении с силами природы она определяет смертным час страдания и час блаженства; пред ней одной я голову склоняю. Кто чтит судьбы священный приговор, того и тяжкое не сломит горе, и в счастье он надменно не ликует, познав и милости и кары правосудье. Как светила свершают путь свой лучезарный, так неизменно, неотразимо-властно судьба, из тайной дали исходя, пересекает суетные круги желаний наших. Так легкий след в песке сыпучем смывают в час прилива волны моря». [– Humboldt W. Sonette. Berlin, 1853. S. 58 («Friede mit dem Schicksal»)] – Примеч. И. Б. Павловой.

98

Я становлюсь трезвым (рассудительным) (нем.).

99

Всеобщего (нем.).

100

Потустороннее (нем.).

101

Оно составляет приписку к огромному письму Герцена от 1–2 января 1845 г., напечатанному в Русской Мысли 1891 г. VI. С. 21–26. Там же напечатаны и первые строки приписки, до слов «такой же минуты»: этими словами начинается новый листок, который не был в распоряжении издателя «Переписки недавних деятелей».

102

В надежде (лат.).

103

Из одного куска (нем.).

104

В письме от 13 сентября 1844 г. Огарев писал: «... есть границы слабости и силы.. Один из самых сильных людей, один из самых близких мне по духу и по душе – Фролов, а иногда и этой силе непереступимая граница. Есть у нас спорные пункты. У него близкое существо на том свете. Случай, несчастье, оскорбление природной святости душевной заставляют искать jenseits [потустороннего – нем.]. Право, чувство границ, зависимость от случая тревожит меня болезненнее всего на свете» и т. д. [727 – В письме от 13 сентября 1844 г. Огарев писал: «...есть границы слабости и силы.. Право, чувство границ, зависимость от случая тревожит меня болезненнее всего на свете» и т. д. – Гершензон М. История одной дружбы.. VIII. С. 95.]

105

Задняя мысль (франц.).

106

В ненапечатанном письме Герцена к Е. Ф. Коршу от 27 декабря 1855 г., хранящемся

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
в Московском Румянцевском музее, читаем: «Много, очень много оборвалось нитей,
связывавших меня с Русью, вместе с жизнью нашего друга... Я думал в случае моей
смерти прислать Сашу (сына) к Грановскому и хотел ему писать об этом. Теперь и
это лопнуло» [728 – Гершензон М. История одной дружбы... IX. С. 53.]

107

Королевского прокурора (франц.).

108

Это было в 1850 году, когда Огарев, Сатин и А. А. Тучков были арестованы и
увезены в Петербург: Н. А. Тучкова, тогда еще не венчанная с Огаревым, поехала
вслед за ними; московские друзья, по-видимому, и самый арест приписывавшие
отчасти этому «незаконному» сожителю, сильно осуждали ее поездку. См.
Воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой. М., 1903. С. 80.

109

Несмотря ни на что (франц.).

110

Возможно, что к этому эпизоду относится стихотворение Огарева «Другу»,
написанное в 50-х годах:

Мы с давних пор делили пополам
И сердца жар, и мысли тайный трепет,
Но, зная, не впрок пошло бывшее нам,
И смолкло все, как глупый детский лепет.

Пожалуй, жаль! Но дружба не спасла,
И друга друг с младенческой улыбкой
Оклеветал!.. И скорбно жизнь прошла,
Прошла и вера к этой дружбе зыбкой.

Ну что ж? Ведь гнет ошибок и утрат
Нас не привел еще ко двери гроба?
Так не тужи, мой прежде бывший брат, –
Мы проживем, хоть врозь, но долго оба.

111

Дорогой! (итал.).

112

Огорчения, горести (англ.).

113

Глава пятая. И. П. Галахов. Глава создана на основе статьи – Гершензон М. И. П. Галахов. Один из «людей сороковых годов» (Вестник Европы. 1906. № 12. С. 485–501). В Отделе рукописей РГБ в фонде М. О. Гершензона хранятся «Заметки об Иване Павловиче Галахове», 1905. Автограф на отдельных листах, 38 лл. (ОРРГБ. Ф. 746. М. О. Гершензон, 9, 10).

114

Размышлять, ломать себе голову (нем.).

115

«Где Вы, дорогая Мари, моя фантастическая реальность» (франц.).

116

Таков путь к звездам (лат.).

117

Труды Рязанской ученой архивной комиссии. Т. IX. Вып. 2. С. 120–121. [729 – Имеется в виду: Влазнев Вас. Материалы для историко-статистического очерка бывших «Государевых Дворцовых рыбных ловцов сел: Белоомута, Ловец, Любичи и Дединова». – Труды Рязанской ученой архивной комиссии. 1894 год (десятый). Рязань, 1895. Том IX. Вып. 2. С. 103–136.]

118

Там же; кроме того, «Под знаменем науки», юбил. сборн. в честь Н. И. Стороженки. Москва, 1902. С. 658 и сл., и Русская Мысль. 1902. кн. XI. С. 116. [730 – Мендельсон Николай. Н. П. Огарев в воспоминаниях его бывшего крестьянина. – Под знаменем науки. Юбилейный сборник в честь Николая Ильича Стороженка. М., 1902. С. 657–663; Воспоминания писателей-самородков. – Русская мысль. М., 1902. кн. XI. С. 116–117.]

119

История освобождения Огаревым белоомутских крестьян всего подробнее до сих пор была изложена В. И. Семевским во втором томе его «Крестьянского вопроса». С. 227–231; самый текст увольнительного акта помещен в указанной выше статье Г. Влазнева, в IX т. «Трудов Рязан. учен. арх. ком.». Далее см.: «Анненков и его друзья», СПб., 1892 г. (статья: «Идеалисты 30-х годов»); А. Д. Повалишин: «Свободные хлебопашцы в Рязан. губ.» (Труды Рязан. учен. арх. ком. 1892. Т. VII. № 3) [731 – См.: Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. В 2 тт. Т. II. Крестьянский вопрос в царствование Императора Николая. СПб., 1888. С. 227–231. Влазнев Вас. Материалы для историко-статистического очерка... Приложения к описанию Н. Белоомута. Копия с отпускного акта г. Н. Огарева. – Труды Рязанской ученой архивной комиссии. 1894 год. Том IX. Вып. 2. Рязань, 1895. С. 103–136, 124–128. П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835–1885 годов. СПб., 1892. С. 71–74; с. 113–115. Повалишин А. Д. Свободные хлебопашцы в Рязанской губернии. – Труды Рязанской ученой архивной комиссии. 1892 год. Том VII. № 3. Рязань, 1893. С. 34–36.]

120

То же самое рассказывает и Е. Ф. Корш: см. сборник «Помощь голодающим». Изд. Русских Ведомостей. Москва, 1892. С. 527. [732 – В примечании от редакции говорилось: «Но это освобождение не доставило крестьянам тех благ, какие бы можно было ожидать. Огарев уступил им свои владения (напр., у села Белоомут на Оке, с 4000 душ) за небольшую, сравнительно, сумму, но эта сумма была внесена местными кулаками, которые и извлекли из этой покупки значительные выгоды, тогда как остальная масса стала в зависимость от кулаков и, как говорят, скоро оказалась без земли, разорилась – и многие пошли по миру» (Из писем людей сороковых и пятидесятих годов). (Сообщение Е. Ф. Корша.) – Помощь голодающим. Научно-литературный сборник. М. Издание «Русских ведомостей». 1892. С. 527.]

121

Сборник «Помощь голодающим». Изд. Русских Ведомостей. Москва, 1892. С. 521 и сл. [733 – Из писем Н. П. Огарева к Е. Ф. К. 28 июня (1847 г. из Саранского уезда); (1847 г.) 20 августа. Акшино; Евг. Ф. К. и Тимофею Ник. Грановскому (1847 г.) – Там же. С. 521–528.]

122

П. В. Анненков. Там же. С. 52 и 58.

Описка у Огарева при переносе со строки на другую; в черновой, вероятно, было: первого.

123

Ученики из моей деревни, может, уже и прежде будут свободны, но обязаны остаться в школе и в нашем крае означенное число лет.

124

Среди прочего (франц.).

125

Описка у Огарева при переносе со строки на другую; в черновой, вероятно, было: первого.

126

В этом деле Огарев далеко опередил свое время: специалисты по сельскохозяйственному образованию только в наши дни пришли к мысли о школе-ферме, какую он проектировал в 1847 году. Так, олонецким земством года четыре назад выработан тип школы-фермы, в общих чертах близко напоминающий план Огарева. По сообщению «Пермских Губернских Ведомостей», каждой такой школе предполагалось отвести участок земли не менее 50 десятин. На этом участке полевое хозяйство должно быть поставлено в той форме крестьянского хозяйства, какая желательна для данного района в будущем, при школе должны быть ученики от 30 до 40 человек; ученики школы должны производить все сельскохозяйственные работы под непосредственным наблюдением управляющего школой; в зимнее время ученики должны обучаться ремеслам кузнечно-слесарному и столярно-плотничному, в пределах потребности крестьянского хозяйства; в свободное от работ в мастерских время должны проводиться беседы управляющего с учениками, имеющие прямое отношение к ведению фермерского хозяйства; курс школы 3-летний; все ученики в течение этого периода должны проживать в школе. [734 – В примерно указанный исследователем временной период такого сообщения не обнаружено. Но «Пермские губернские ведомости» в принципе уделяли большое внимание вопросам просвещения, народного образования, учебным заведениям для простых классов. В рубрике «По Пермскому краю» практически постоянно публиковалась информация, аналогичная той, которую дает Гершензон.]

127

М. Ф. Корш, сестра Евгения Федоровича Корш; Федя – сын Евгения Федоровича, теперь академик Ф. Е. Корш.

128

Восьмилетний тогда сын Герценов, позднее известный физиолог.

129

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
К С. И. Астракову, см.: «Полярная Звезда». Изд. графа Салиаса. 1881 г., февраль.
С. 29.

130

Печатается полностью впервые. Рукопись черновая, кое-где стих не отделан или даже не окончен. Взятые в скобки в рукописи подчеркнуты.

Комментарии

1

Впервые – Гершензон М. История Молодой России. Тип. Т-ва И. Д. Сытина. М., 1908. XI + 315 С. Цензор и ценз. разр. не указаны.

Второе издание – Гершензон М. О. История молодой России. Гос. изд. М.; Пг., 1923. 318 С.

Печатается по тексту второго издания с устранением опечаток.

Комментарии составлены И. Б. Павловой; комментарии к гл. первой «М. Ф. Орлов» принадлежат В. Ю. Проскуриной.

* * *

Книге предшествовала большая собирательская, публикаторская работа – перу Гершензона принадлежало значительное число статей, посвященных деятелям 30–40-х гг., основанных на новых документальных материалах, он выпустил в свет стихотворения Огарева (1904), монографию о Чаадаеве «П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление» (1908). Исследование этой области отечественной культуры не прекращалось и в дальнейшем.

Прослеживая творческое развитие автора, Т. М. Макагонова приводит в качестве образца содержание 1904 г.: «Гершензон ищет в истории примеры выхода к духовной свободе личности. И находит такие примеры. Он публикует статьи и рецензии о Н. В. Станкевиче и его кружке, о В. С. Печерине, А. И. Герцене, П. Я. Чаадаеве. Он рассматривает не только литературные судьбы, но и эпизоды из них, пытаясь осмыслить их взаимосвязь и взаимозависимость. Он говорит о важности того, как относится каждый человек к окружающему его миру, пытаясь придать своим высказываниям степень философского знания» (Макагонова Т. М. Дни и труды М. О. Гершензона. /По материалам архива./ – Записки Отдела рукописей РГБ. Выпуск 50. М., 1995. С. 26).

Н. В. Котрелев и Е. Б. Рашковский отмечали, что либерально-демократические симпатии сближали Гершензона с определенным слоем московской гуманитарной интеллигенции, которая свои воззрения и настроения находила преемственными по отношению к освободительным чаяниям дворянской интеллигенции прошлого. В то же время его позиция отличалась значительной самостоятельностью: «уже к началу 20 в. ее можно определить как «религиозное народничество», что и обеспечило Гершензону позже близость к неославянофилам, «русскому религиозному ренессансу» (Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. I. М., 1989. С. 556). у исследователя рано возник интерес к декабризму, наследию Герцена и Огарева, либерально-гегельянскому западничеству 30–40-х гг. «По мнению Гершензона, идейная активность русской дворянской интеллигенции 19 в., облеченная в концептуально-философские формы личного правдоискания, личной рефлексии, личных

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
размышлений «о Боге, о смысле истории, о назначении человека и пр.», подвела черту прежнему «патриархальному мировоззрению» («Ответ П. Б. Струве по поводу «Ист. записок». – Русская Мысль. 1910. Кн. 2, 2 паг. С. 176). Стремление выразить этот мировоззренческий сдвиг явилось, по Гершензону, одним из определяющих стимулов выхода русской культуры на передовые рубежи общечеловеческой культуры» (Там же.)

Во вступлении автор разъясняет свой подход к изучению интеллектуальных, духовных исканий 30–40-х годов, их значения: «Изобразите историю общественной мысли в ее живой конкретности, а не в схоластических схемах, – тогда, будьте уверены, каждый юноша сам, и с жадностью, припадет к ней устами.

Эта мысль положена в основание предлагаемой книги. Не ряд характеристик представляет она собою, а цельную картину известной эпохи в преемственной смене личных переживаний. Вот почему я назвал ее историей».

«Я хотел изобразить в ней, – продолжает он, – русское умственное движение 30–40-х годов, по духу близкое одновременному движению на Западе, и имя «Молодой России», которым я назвал эту эпоху по аналогии с «Молодой Италией» и «Молодой Германией», должно указать на эту связь. Тридцатые годы прошлого века – период бурного умственного обновления во всей Европе. <...> Обновить жизнь – таков общий лозунг эпохи. В разных странах это движение приняло разные формы: в Италии – религиозно-политическую, в Германии – литературно-эстетическую...»

С момента появления книги критики по-разному писали ее название. В настоящее время предпочтение отдается орфографическому варианту: «История молодой России». Очевидно, что в данном случае прояснение грамматического вопроса зависит от исторических причин. В 30–40-е гг. в России не было таких четко оформленных общественных движений, как в некоторых европейских странах. При всей эффектности, аналогии с «Молодой Италией», «Молодой Германией» условны, допустимы лишь с оговорками. К стати, помимо «Молодых Италлий, Германий, Ирландий, Польш», существовала «Молодая Англия» («Young England»), которую составляли литераторы и деятели консервативно-феодалной ориентации (один из видных представителей – Дизраэли). В итальянской, германской, революционно-демократическом крыле ирландской, в польской организациях принципиальное значение придавалось политическим целям, практическим путям и средствам революционно-освободительной деятельности. Собственно, сам Гершензон отмечает, что обрисованное им «движение» носит «нравственно-философский характер» и приобретает значение, которого оно «и отдаленно не имело на Западе». В таком случае аналогия выходит относительной и узкой.

Однако «движение», включающее в себя, по представлениям автора, Орлова, Печерина, Станкевича, Грановского, Галахова, Огарева, не получило в истории русской мысли и литературы особого определения. (Впрочем П. В. Анненков в литературных воспоминаниях назвал 1838–1848 гг. «замечательным десятилетием».) Как идейно-эстетическое понятие утвердилось – «сороковые годы». К нему по содержанию и приближается трактовка своеобразного времени и людей в книге Гершензона.

Исходя из этого, название следует воспринимать как образное. Определение «молодая» не входит в обозначение конкретного социально-исторического явления и не может считаться собственным именем; словосочетание, предложенное исследователем, должно быть выделено кавычками, потому что имеет условное значение – «История «молодой России»». Но, избегая графического усложнения, разумнее поступить внутри кавычками. (Издатели позволили себе раскрыть здесь сокращения, принятые в словарях и иных изданиях энциклопедического типа [Ред.] .)

Некая «Молодая Россия» действительно вошла в русскую жизнь – прокламация 1862 г. двадцатилетнего П. Г. Заичневского, призывавшая к радикальным изменениям – социальным, экономическим, нравственным. С одной стороны, книгу о декабристе, филологе-филокатолике, поклонника немецкой классической философии, социалисте-утописте и лирике Огареве можно воспринимать в противовес к воззванию Заичневского. Но уже Страхов и Достоевский высказали мысль о преемственной связи между западничеством и нигилизмом (см. например: Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. и писем в 30 томах. Т. 12. Л., 1975. С. 169–172).

Отзывы на монографию приведены – Берман Я.З. М. О. Гершензон. Библиография. –
Страница 122

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
Труды Пушкинского Дома Академии наук СССР. Выпуск LII. 1928 (публикуется в томе 4 настоящего издания. – Ред.).

11 января 1908 г. автор писал родным: «Как идет «История Молодой России» – не знаю, рецензий еще не видел»: Гершензон М. О. Письма к брату. 1927. С. 169.

Рецензенты в основном сходились в понимании достоинств книги и ее уязвимых сторон. Они придавали важное значение тому, что Гершензон ввел в научный оборот богатый документальный материал («искусство собирания материала»), отмечали талант эссеиста.

Критик «Вестника Европы» разделял мнение исследователя о том, что допустимо описывать историю общественной мысли и ее течений не в общих очертаниях и характеристиках данной эпохи, а в образах отдельных личностей, в судьбе которых она отразилась всего явственнее. Ему представляется очень удачным выбор фигур Орлова, Печерина, Станкевича, Грановского, Галахова и Огарева для изображения в их лице господствовавших направлений тогдашней общественной мысли – «они были лучшими представителями «молодой России» в эпоху ее зарождения» (Вестник Европы. 1908. № 3. Библиографический листок, обложка).

В других откликах так или иначе высказывается упрек в отношении метода. С. М[ельгунов] писал, что перед читателем сборник статей в общепринятом смысле, то есть – очерки «из истории» (Русские ведомости. 1908. № 18, 22 января. С. 4).

М. Ольминский на страницах журнала «Образование» высказал точку зрения, что вместо цельного историко-литературного исследования мы находим в книге только шесть биографий или характеристик, причем такие персонажи, как Печерин, Галахов, не представляют интереса. Работа не прибавляет ничего нового к уже известному об идеалистах 30-х годов, в ней нет синтеза. «Несмотря на все уверения автора, получается, однако, впечатление, что при выборе лиц для характеристики М. Гершензоном руководила не мысль о цельности картины, а наличность в его руках неизданных или мало известных историко-литературных материалов. Что же касается идеализма автора, то он производит впечатление чего-то недостаточно продуманного, извне пристегнутого» (Образование. 1908. № 2. С. 129).

А. Кизеветтер называет Гершензона «писателем интересным, содержательным и изящным», его работы проникнуты «ищущей энергией мысли». Он считает книгу сборником психологических портретов крупных и характерных представителей русского общества 20–40-х годов. Автор опирается на множество свежих документов – в этом его несомненная заслуга. Кизеветтер особо выделяет очерк, посвященный Печерину, который почти весь составлен из нового материала и отчетливо и ярко воспроизводит перед читателем эту незаурядную личность. Но критик находит спорными методологические принципы Гершензона. Психологические биографии оказываются на поверку лишь иллюстрацией к предварительно сделанным автором общим выводам. «Схема общественного развития, выставленная М. О. Гершензоном, представляется нам искусственной, а приводимые им для иллюстрации этой схемы примеры избраны на наш взгляд довольно произвольно» (Русская мысль. 1908. № 6. С. 124).

Г. В. Плеханов писал, что мировоззрение современного российского интеллигента, его пристрастие к «иррациональному» приводят к тому, что в работе факты сплошь да рядом ведут междуусобную войну с теми выводами, которые автор из них делает. Слабость Гершензона-философа обнаруживается всякий раз, когда ему приходится оперировать с понятиями, высказывать ту или иную общую мысль. Тем не менее он талантливый исследователь в области истории общественной мысли. Критик выделяет очерк «В. С. Печерин», от которого «трудно оторваться».

Несмотря на мировоззренческие, методологические просчеты автора, Плеханов призывает читать его книгу. «Она дает много ценного фактического материала для понимания умственного развития. А что касается этого последнего, то Г. М. Гершензон трижды прав: «каждый русский должен знать историю русской общественной мысли...» (Современный мир. 1908. № 5. С. 114).

* * *

Глава первая. М. Ф. Орлов. – Впервые: Былое. 1906. № 10–11, под названием «Семья декабристов». С некоторыми изменениями и дополнениями вошло в книгу «История

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org молодой России» (М., 1908). В журнальной публикации статья предварялась введением, излагающим суть научного метода автора. Приводим текст этого введения, опущенного Гершензоном в книжной редакции статьи из соображений композиционного характера: «Михаил Федорович Орлов, его тесть Н. Н. Раевский – герой 12-го года, пушкинский «Демон» А. Н. Раевский, М. Н. Волконская, урожденная Раевская, Кишинев в 1821 году, Одесса в 1823-м и следствие над Орловым и Волконским в 1826 году – кто любит жизнь Пушкина и знает историю декабристов, тому эти имена и цифры говорят много. И тот знает также, что эти лица, как раз в эти годы, связаны между собой не только родственными узами, но составляют в совокупности как бы историческую ячейку, видную и типичную для того времени. Изобразить строение и быт такой ячейки, рассказать без притязаний, как отразился в ее судьбах основной исторический процесс данной эпохи, – это, вероятно, наиболее совершенный из всех нехудожественных способов воспроизвести характер какого-нибудь минувшего времени. Именно такова задача предлагаемых страниц. Нарисовать такую картину можно, разумеется, только на основании достаточного числа непосредственных документов, современных событиям, – в настоящем случае это оказалось возможным: сотни писем, поблекших от времени, сохранили нам не только память дел и отношений, но до известной степени и самую атмосферу тогдашней жизни. Эти письма когда-то вскрывались дрожащими от волнения руками и сами трепетали жизнью, но, долетев до цели и передав весть, они падали на землю, как голубь, охваченный сном. Почти чрез век они оживают для нас. Это не воспоминания и не летопись; это рассказывает о себе день за днем сама жизнь, само взволнованное ею чувство, сам работающий над нею ум. До сих пор мы знаем хорошо, то есть по непосредственным материалам, только три момента из истории декабристов: 1) их политические взгляды в разгар движения – по их уставам и проектам, 2) их психологию во время следствия – по их показаниям и 3) их психологию в поздней ссылке, в 50-х годах, когда большинство из них писало свои мемуары. Нам недостает одного, и, может быть, самого важного звена: мы никогда не сумеем понять правильно движение декабристов, пока не уясним себе интимной истории их роста и формирования» (Былое. 1906. № 10. С. 288–289). Многие сочинения и письма Орлова, впервые опубликованные в статье Гершензона по рукописям, вошли впоследствии в кн.: Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа; Политические сочинения; Письма / Изд. подгот. С. Я. Боровой и М. И. Гиллельсон. М., Изд-во АН СССР. 1963. По отношению к некоторым материалам (часть писем Орлова, переписка Раевских и др.) статья Гершензона сохраняет значение первоисточника.

2

Отец Орлова, Федор Григорьевич, был братом Григория и Алексея Орловых, руководителей заговора 28 июня 1762 г., возведшего на престол Екатерину II.

3

«Арзамасская» речь Орлова была произнесена 22 апреля 1817 г.

4

Тугендбунд (Союз Добродетели) – патриотическое общество в Пруссии. Деятельность Тугендбунда оказала определенное влияние на становление декабристских организаций.

5

В настоящее время приведенные Гершензоном сведения могут быть уточнены. Орден Русских рыцарей (так правильнее!) был основан Орловым и М. Дмитриевым-Мамоновым в 1814 г. (а не в конце 1817 г., как полагал Гершензон). С этим тайным обществом, имевшим целью установление в России олигархически-аристократического конституционного правления, было связано около десятка человек (среди них – Н. Тургенев, М. Н. Новиков и, видимо, Д. В. Давыдов). Хотя Орден и не заявил о принадлежности достаточно заметная роль в формировании декабристской идеологии.

6

Недовольство тем, что в «Истории...» Карамзина он не нашел «памятника славы нашей и благородного происхождения», Орлов высказал в письмах П. А. Вяземскому от 4 мая и 4 июля 1818 г.

7

Это назначение последовало 13 июля 1817 г.

8

Речь Орлова, произнесенная 11 августа 1819 г., – попытка в духе Союза Благоденствия использовать легальное общество для пропаганды передовых идей.

9

Эти письма (ныне полностью опубликованные) датируются соответственно 2 ноября 1819 и 20 декабря 1820 г. Они широко разошлись в списках и имели большой общественный резонанс.

10

Пушкинисты начала XX в. без достаточных на то оснований полагали, что М. Н. Волконская (урожд. Раевская) была предметом долгого и глубокого чувства Пушкина. Впоследствии это мнение неоднократно оспаривалось.

11

В Петербурге, до ссылки, Пушкин знал Байрона только понаслышке; на юге вместе с Н. Н. Раевским-младшим он пробовал переводить Байрона с английского оригинала, обращаясь за справками к юной Елене Раевской, прекрасно владевшей английским языком.

12

К. Н. Батюшков был адъютантом Н. Н. Раевского во время европейской кампании 1813–1814 гг.; выразительный портрет Раевского создан Батюшковым в записной книжке «Чужое – мое сокровище». Восторженная характеристика Раевскому дана Пушкиным в письме к брату, Льву Сергеевичу, от 24 сентября 1820 г.

13

Эти данные, основанные на тенденциозных показаниях Орлова, нуждаются в уточнениях. Судя по всему, Орлов стал членом Союза Благоденствия не в июле 1820 г., а в первой половине 1818 г.: его имя находится в списке так называемого Коренного Союза – группы членов-учредителей, игравших в обществе руководящую роль. В своих показаниях Орлов сознательно датировал вступление в Союз более поздним временем. Стремясь убедить Следственную комиссию в том, что его пребывание в обществе было весьма недолгим и почти случайным. Вывод Гершензона об отсутствии у Орлова «мысли об активной революционной деятельности» также нуждается в пересмотре: в свете сказанного становится ясно, что вся деятельность Орлова в Киеве и Кишиневе так или иначе служила целям Союза Благоденствия. Подробнее см.: Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 1. С. 181–184, 219–222 и др.

14

В настоящее время ни версия Якушкина, ни опровержения его оппонентов не могут быть приняты безоговорочно. Большинство современных исследователей полагают, что Орлов действительно выступил на московском съезде Союза Благоденствия с крайне радикальными предложениями. Однако эти предложения были выдвинуты вовсе не для того, чтобы вызвать заведомо негативную реакцию сочленов и создать благовидный предлог для выхода из общества (версия Якушкина). Предстоящий брак – слишком сомнительная причина для отхода Орлова от активной политической деятельности: об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что наиболее смелые приказы Орлова по дивизии, его покровительство агитационной деятельности В. Раевского, участие в ложе «Овидий», связанной с Кишиневской управой тайного общества, приходится на время после женитьбы. Выдвигая свои «условия» Орлов был вполне искренен. Участвовавшие крестьянские восстания, волнения на Дону, серия европейских революций 1820 г. – все это создавало «зажигательную» атмосферу, могло вселять надежду на успех активных революционных действий. «16 тысяч под ружьем» (орловская дивизия) давали, казалось, этим действиям надежное обеспечение. Неудача предложения Орлова обусловлена тем, что осторожные теоретики-пропагандисты не могли в принципе принять дерзкий, несколько авантюрный план, включающий элемент риска и азарта – в духе военных переворотов XVIII в. Важнейшая литература, посвященная «орловскому инциденту» на московском съезде, указана в кн.: Павлова Л. Я. Декабрист М. Ф. Орлов. М., 1964. С. 86.

15

Французский писатель Сен-Пьер (1658–1743), считался родоначальником широко обсуждавшейся в те годы идеи возможности установления всеобщего мира на началах разума. Изложение концепций Сен-Пьера Пушкин почерпнул у Ж.-Ж. Руссо (См. подробнее: Алексеев М. П. Пушкин и проблема «вечного мира» // Алексеев М. П. Пушкин. Л., 1972).

16

Приказы Орлова по дивизии, призванные искоренить палочную дисциплину, создали ему исключительную популярность среди солдат. Тем самым обеспечивалась безоговорочная поддержка Орлову со стороны «нижних чинов» в случае революционного выступления. В настоящее время, помимо приказов, впервые напечатанных Гершензоном, опубликованы еще три приказа и две инструкции Орлова.

17

3 декабря 1821 г. четверо рядовых Камчатского полка, по договоренности с фельдфебелем, вырвали из рук унтер-офицеров своего товарища, подвергавшегося экзекуции по приказу ротного командира Брюхатова. Орлов не только не пресек «бунта», но отстранил капитана Брюхатова от командования.

18

Ошибка Гершензона: адъютантом у Васильчикова был Н. Н. Раевский-младший.

19

При разборе бумаг Александра I была обнаружена его записка (около 1824 г.), в которой Орлов был упомянут в числе возможных влиятельных «миссионеров» тайного общества.

20

Фактотум – доверенное лицо.

21

С. Волконский был отправлен в Сибирь 23 июля 1826 г.

22

Возможно, подобная сентенция принадлежит не Николаю, а его брату, великому князю Константину Павловичу (ср. запомнившиеся современникам слова Константина Павловича, обращенные к А. Ф. Орлову во время коронационных торжеств: «А жаль, что твоего брата не повесили!»). В устах Николая публичное сожаление по поводу

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
«помилования» Орлова звучало бы как неуместный упрек самому себе.

23

Ныне Кропоткинская ул., 10.

24

Гершензон не вполне точен: в 1836 г. Пушкин действительно встречался в доме Орлова с издателями «Московского наблюдателя» (см. его письмо к жене от 11 мая 1836 г.), однако познакомился с ними значительно раньше.

25

Глава третья. Н. В. Станкевич. Глава создана на основе статьи – Гершензон М. Н. В. Станкевич (1813–1840). – Новый путь. 1904. № 11. С. 51–82. В Отделе рукописей РГБ в фонде М. О. Гершензона хранятся «Библиографические заметки о Н. В. Станкевиче и выписки из его сочинений и писем», 1904. Автограф, 14 лл. (ОРРГБ. ф. 746. М. О. Гершензон, 6, 4), а также «Заметки о Н. В. Станкевиче», 1900–е гг. Автограф, 1 л. (ОРРГБ. ф. 746, 6, 5).

16 ноября 1904 г. Гершензон писал по поводу статьи «Н. В. Станкевич», что уже получил корректуру, а ее объем будет составлять два листа (Гершензон М. О. Письма к брату. 1927. С. 166).

26

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 26 марта 1833 г. – Станкевич Н. В. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. М., 1857 (далее – Переписка...). С. 8. В тексте «... ибо человек, которому говоришь... как-то видом уже сбивает сказать не то, что чувствуешь, а другое».

27

Пушкин А. С. К*** («я помню чудное мгновенье»), 1827 г. Из письма Станкевича Н. В. Неверову Я.М. 26 марта 1833 г. – Переписка... С. 9.

28

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 18 мая 1833 г. – Переписка... С. 13. В тексте издания 1857 г. «жизнь деятельности!»

29

Козлов И. И. На отъезд («Когда и мрак, и сон в полях...») <1825 г.>, Новые стансы («Прости! уж полночь; над луною...») <1826 г.>.

30

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 1 июня 1833 г. – Переписка... С. 32.

31

Гете И. В. Годы учения Вильгельма Мейстера (1795–1796), слова из первой песни Миньоны (1784), книга третья, глава первая. Из письма Станкевича Н. В. Неверову Я.М. 11 июня 1833 г. – Переписка... С. 35.

32

Близкая фраза встречается в записке: Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 6 апреля 1832 г. «...я уже исповедался, заутреню будут у нас служить очень поздно, в 8 часов, а во время ее ты посидишь хоть у меня, – а до нее и после нее мы пофантазируем». – Там же. С. 5; и в письме: Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 18 мая 1833 г. «Ты любил побегать по двору в эту погоду. Когда бы здоровье, и я бы не отказался (сейчас только заметил я, что у бумаги поля загнуты, и что письмо надобно писать не так, как лекции С-а). Теперь бы мы с тобой пофантазировали...» – Там же. С. 14.

33

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 20 мая 1833 г. – Там же. С. 27.

34

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 2 января 1834 г. – Там же. С. 79.

35

фраза из стихотворения Ф. Шиллера «Кассандра» (1802). – Из письма Станкевича Н. В. Неверову Я.М. 20 мая 1833 г. – Переписка... С. 27.

36

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 15 сентября 1833 г. – Там же. С. 51.

37

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 8 августа 1833 г. – Там же. С. 45–46.

38

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 14 октября 1833 г. – Там же. С. 55.

39

Шиллер Ф. Отречение. 1784. Из письма Станкевича Н. В. Неверову Я.М. 24 июля 1833 г. – (Переписка... С. 41.) Ср.: Милюков П. Любовь у «идеалистов тридцатых годов». – Из истории русской интеллигенции. Сборник статей и этюдов. СПб., 1902. С. 80.

40

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 14 октября 1833 г. – Переписка... С. 55–56.

41

Станкевич Н. В. Подвиг жизни, 1833 г.

42

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 8 августа 1833 г. и 14 октября 1833 г. – Переписка... С. 46, 56.

43

Из письма Станкевича Н. В. Неверову Я.М. 19 октября 1833 г. – Переписка... С. 58.

44

Заключительные слова драмы В. А. Жуковского «Камоэнс» (1839).

45

Миром управляет всеблагая премудрость (у Станкевича – Миром управляет премудрая благодать((нем.)).

46

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 19 сентября 1834 г. – Переписка... С. 98.

47

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 11 декабря 1834 г. – Там же. С. 116.

48

Станкевич Н. В. Красову В.И. 20 августа 1835 г. – Там же. С. 145–146.

49

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 16 октября 1834 г. – Там же. С. 101. В тексте письма «поставили душу выше благ мира сего».

50

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 24 января 1835 г. – Там же. С. 121–122.

51

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 30 марта 1834 г. – Там же. С. 87.

52

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 19 октября 1833 г. – Там же. С. 58–60.

53

Там же. С. 157, отд. пагинация.

54

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 6 августа 1835 г. – Там же. С. 143–144.

Ранее П. Милюков приводил характерное письмо Н. В. Станкевича М. А. Бакунину от 9 января 1838 г.: «Любовь у меня всегда была прихоть воображения, потеха праздности, игра самолюбия, опора слабодушия – интерес, который один мог наполнить душу, чуждую подлых потребностей, но чуждую и всякого истинного, субстанционального (говоря языком философским) содержания. Действительность есть поприще настоящего, сильного человека – слабая душа живет в jenseits [потустороннем], в стремлении – и стремлении неопределенном; ей нужно что-то (потому что в ней самой нет ничего определенного, что бы составляло ее натуру и потребность); (но,) как скоро это неопределенное сделалось etwas [чем-то] определенным, душа опять выбивается за пределы действительности. Это моя история; вот явная причина всей беды» (Милюков П. Любовь у «идеалистов тридцатых годов...». С. 81).

55

Ср.: Милюков П. Любовь у «идеалистов тридцатых годов...». С. 80.

56

Станкевич Н. В. Грановскому Т.Н. 29 сентября 1836 г. – Переписка... С. 197.

57

Там же. С. 222–223, отд. пагинация.

58

Станкевич Н. В. Грановскому Т.Н. 20 мая 1838 г. Там же. – С. 250.

59

Станкевич Н. В. Грановскому Т.Н. 20 мая 1838 г. – Там же.

60

Станкевич Н. В. Фроловым Е.П. и Н.Г. 13 июня 1838 г. – Там же. С. 255. Имеются в виду сочинение К.-А. Менцеля «Geschichte der Deutschen» (1815–1823) и роман Ж. Санд «Леон Леони» (1835). «История Германии» (вернее – «История немцев») Менцеля упоминается также в письме Т. Н. Грановскому 20 мая 1838 г. – Там же. С. 250.

61

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 11 октября 1837 г. – Там же. С. 233–234.

62

Станкевич Н. В. Фроловым Е.П. и Н.Г. 13 марта 1840 г. – Там же. С. 322–323. Фах – Fach (нем.) – ремесло, специальность.

63

Станкевич Н. В. Фроловым Е.П. и Н.Г. 19 марта 1840 г. – Переписка... С. 325.

64

Воспоминания И. С. Тургенева о Н. В. Станкевиче. Записка И. С. Тургенева. – Публ. Л. Майкова. – Вестник Европы. 1899. № 1. С. 5–18.

65

Там же. С. 13.

66

Белинский В. Г. Боткину В.П. 1 марта 1841 г. – Пыпин А.Н. В. Г. Белинский. – Опыт биографии // Вестник Европы. 1875. № 2. С. 599.

67

Станкевич Н. В. Фроловым Е.П. и Н.Г. 7 апреля 1840 г. – Переписка... С. 342.

68

Там же. С. 219–220.

69

П. В. Анненков писал: «Причина полного, неотразимого влияния Станкевича заключалась в возвышенной его природе, в способности нисколько не думать о себе и без малейшего признака хвастовства и гордости невольно увлекать всех за собой в область идеала». «В Станкевиче отразилась юность одной эпохи нашего развития: он как будто собрал и совокупил в себе лучшие нравственные черты, благороднейшие стремления и надежды своих товарищей» – Переписка... С. 235, 236, отд. пагинация.

70

Глава четвертая. Т. Н. Грановский. Глава создана на основе статей – Гершензон М. История одной дружбы (Грановский, Герцен, Огарев) // Научное слово. 1903. кн. VIII. С. 75–95; кн. IX. С. 48–58; Памяти Т. Н. Грановского (1813 г. – 4 октября 1855 г.) // Ежемесячный журнал для всех. 1905. № 10. С. 624–627.

71

Кудрявцев П. Н. Воспоминание о Тимофее Николаевиче Грановском (Посвящено ученикам его). Отечественные записки. 1855. № 11. С. 89: «В ответ на его речь отзывались в душе каждого самые чистые инстинкты человеческой природы, и это было не только действие его изящного слова, но и того глубокого сочувствия, которого сам он исполнен был ко всем великим явлениям исторической жизни».

72

Уважение к высоким нравственным качествам, душевному складу, дарованиям Грановского, понимание его исторических заслуг сочеталось у Гершензона с отношением к нему как личности пассивной. Это нашло отражение в письме к родным от 15 апреля 1904 г.: «В воскресенье был я у Герье: его жена – воспитанница А. В. Станкевича, живого, брата того, о котором я хочу писать. Я на прошлой неделе через Герье просил ее узнать от Станк<евича>, не покажет ли он мне фамильный архив, и вот пришел узнать ответ. Ответ – отказ; при сем мне была прочитана нотация за недостаточно почтительное отношение к Грановскому в «Истории одной дружбы». Для них Гр<ановский> – кумир; А. В. Станк<евич> написал известную биографию его и был лично его другом. М-ме Герье говорит, что они были огорчены моей статьей; Герье возил показать ее Чичерину, уже больному;

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
Станкевич собирался отвечать мне, но тут Чичерин, его друг, опасно заболел и пр. Как я решился написать, что Грановский был натура пассивная! – Да таково, говорю, мое убеждение; чем же вы докажете его активность? – В 55 году, говорит она, он – больной, известный профессор, ученый – сказал, что война эта, то есть Крымская, есть преступление, но, как стоит дело, он сам пойдет добровольцем на войну. Так ведь, говорю, не пошел, да и наверное не пошел бы. – Это уже совсем возмутило м-те. – Конечно, говорит, его не пустили бы, но разве не довольно того, что он решился на это? – Я все больше молчал, а потом сказал, что позволяю себе по всем пунктам остаться при своем мнении. Вот мертвые люди! Их оскорбляет все молодое, смеющее думать по-своему, смеющее не просто благоговеть перед их идолами» (Гершензон М. О. Письма к брату. 1927. С. 161).

В. И. Герье в книге «Тимофей Николаевич Грановский». М., 1914. С. 43–44 полемизирует с мнением Гершензона.

73

Далее ученый говорит: «Высшая польза истории заключается, следовательно, в том, что она сообщает нам разумное убеждение в неминуемом торжестве добра над злом. Поддерживаемый этим убеждением человек приобретает новые силы для борьбы с искушениями жизни, для исполнения назначенного ему Провидением скромного долга или великого призвания» (Грановский Т. Н. Сочинения. Т. II. М., 1892. С. 461).

74

Грановский Т. Н. Сочинения в 2-х тт. Т. II. М., 1856. С. 320.

75

Грановский Т. Н. Сочинения. Т. II. М., 1856. С. 254.

76

Станкевич Н. В. Переписка... С. 37, 38, отд. пагинация.

77

Станкевич Н. В. Моя метафизика. – Там же. С. 24.

78

См.: Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX века. М.–Л., Academia, 1930.

79

«Старь рушится, меняется эпоха, Жизнь новая встает из-под руин» (нем.). Неточная цитата из драмы Шиллера «Вильгельм Телль» (1804), действие 4, сцена 2.

80

Белинский В. Г. Боткину В.П. 13 июня 1840 г. – Пыпин А.Н. Белинский. Опыт биографии // Вестник Европы. 1874. № 12. С. 531–532.

81

Станкевич Н. В. Неверову Я.М. 1 июня 1835 г. «душа моя тебе открыта...» – Переписка...С. 138.

82

Гершензон М. История одной дружбы // Научное слово. 1903. кн. VIII. С. 79 (далее: История одной дружбы. VIII). Ифика – этика (от греч. *phikos*).

83

Белинский В. Г. Станкевичу Н.В. 19 апреля 1839 г. (Пыпин А. Н. Белинский, его жизнь и переписка. Т. I. С. 289). Близкое высказывание в письме В. Г. Белинского М. А. Бакунину <12–24 октября 1838 г.>.

84

Герцен А. И. Былое и думы. London. 1861. С. 276. В тексте «веру в него».

85

Там же.

86

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
Гершензон М. История одной дружбы. VIII. С. 79–80.

87

Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 282.

88

Герцен дал оценку курса университетских лекций по средневековой истории Франции и Англии в статьях «Публичные чтения г. Грановского» (Московские ведомости. 1843. № 142. 27 ноября), «О публичных чтениях г. Грановского» (Москвитянин. 1844. № 7), в письме к Н. Х. Кетчеру от 2 декабря 1843 г. и в дневниковых записях от 24 и 28 ноября 1843 г. (Герцен А. И. Сочинения в 10 тт. Т. I. Спутник – Валье – Lyon. 1875. С. 149, 150–151.

89

Герцен А. И. Былое и думы. Т. 2. С. 263.

90

Огарев Н. П. <Т.Н. Грановскому> («Твое печальное посланье»), 1843 г., 6 апреля.

91

Герцен А. И. Сочинения. Т. I С. 22. Дневник 1842 г. Июнь месяц, 28.

92

Там же. С. 188. Дневник 1844 г. Март месяц, 27.

93

А. И. Герцен Н. П. Огареву и Н. М. Сатину 1–10 января 1845 г. (Русская мысль. 1891. № 7. Из переписки недавних деятелей. С. 22). См. также – Герцен А. И. Сочинения. Т. I. Дневник 1844 г. Март месяц, 27. С. 188; Июль месяц, 23. С. 219; Декабрь месяц, 16. С. 251.

94

Герцен А.И. Сочинения. Т. I. С. 251. Дневник 1844 г. декабрь месяц, 16.

95

Там же. С. 252.

96

Герцен А. И. Сочинения. Т. I. С. 158. Дневник 1843 г. декабрь месяц, 31. В тексте «В решительных минутах», «всматриваюсь».

97

Пушкин А. С. Элегия («Безумных лет угасшее веселье»), написано в 1830 г., напечатано в 1834 г. Грановский Т. Н. – Мюльгаузен Е. Б. 16–19 июня 1841 г. – Грановский Т. Н. Переписка в 2 тт. Т. II. М., 1897. С. 239.

98

Грановский Т. Н. Грановской Е.Б. 29 июня 1844 г. – Там же. С. 261.

99

Грановский Т. Н. Фролову Н.Г. 17 октября 1845 г. – Там же. С. 420.

100

Грановский Т. Н. Вердеру К. 4 октября 1843 г. – Там же. С. 441, по-немецки; Т. I. С. 123, пер. по-русски.

101

Грановский Т. Н. Фроловым Е.П. и Н.Г. 21 октября 1844 г. – Там же. С. 418.

102

Гершензон М. История одной дружбы..., VIII. С. 86.

103

Там же. С. 87.

104

Там же.

105

Там же.

106

Там же.

107

Там же.

108

П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835–1885 годов. СПб., 1892. С. 102.

109

Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 389.

110

См.: Гершензон М. История одной дружбы..., VIII. С. 90.

111

См.: «Наше время перестало верить в бессмысленное владычество случая. Новая наука, философия истории, поставила на его место закон, или, лучше сказать, необходимость» – Грановский Т. Н. Сочинения. М., 1892. Т. II. С. 276.

112

Гершензон М. История одной дружбы..., VIII. С. 91.

113

Грановский Т. Н. Грановской Е.Б. 4 августа 1844 г. – Грановский Т. Н. Переписка. Т. II. С. 270.

114

См.: «Грановский, сильно сочувствуя тогдашнему научному направлению, не имел ни любви, ни таланта к отвлеченному мышлению. Он очень верно понял свое призвание, избрав главным занятием историю. Из него никогда не вышел бы ни отвлеченный мыслитель, ни замечательный натуралист. Он не выдержал бы ни бесстрастную нелицеприятность логики, ни бесстрастную объективность природы; отрешаться от всего для мысли или отрешаться от себя для наблюдения он не мог; человеческие дела, напротив. Састно занимали его» – Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 279–280.

115

Грановский Т. Н. Грановской Е.Б. 25 июня 1844 г. – Грановский Т. Н. Переписка. Т. II. С. 260.

116

Герцен А.И. Сочинения. Т. I. С. 47. Дневник 1842 г. Октябрь месяц, 26.

117

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
Гершензон М. История одной дружбы..., VIII. С. 93.

118

Там же. С. 93–94.

119

Там же. С. 95.

120

«О дилетантизме в науке» – 1843 г., «Письма об изучении природы» – 1845, 1846 гг., «Из сочинения доктора Крупова» – 1847 г., «По поводу одной драмы», первая статья цикла «Капризы и раздумье» – 1843 г.

121

Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 402.

122

Герцен А. И. Сочинения. Т. I. С. 199. Дневник 1844 г. Май месяц, 17. В тексте «превращают силы в яд».

123

П. В. Анненков и его друзья... С. 106.

124

Герцен А. И. Сочинения. Т. I. С. 256. Дневник 1844 г. Декабрь месяц, 18. Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 389. В тексте «Былого и дум» – «Камиля Демулен'». В тексте Дневника – «Камиля Де-Мулена!».

125

Анненков П. В. Замечательное десятилетие, гл. XXVII (Впервые – Вестник Европы. 1880. № 4. С. 467–472); Панаев И. И. Литературные воспоминания, гл. V (Впервые – Современник. 1861. № 10. С. 466–467); Воспоминания Т. П. Пассек. 1840–1845 г. (Впервые – Русская Старина. 1877. № 7. С включением воспоминаний Т. А. Астраковой. С. 466–467).

126

Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 397.

127

Там же. С. 398.

128

Там же. С. 398–399. В тексте «возразил Грановский, слегка изменившись в лице», «Славно было бы жить на свете», – сказал я.

129

Там же. С. 399. В тексте «Точно кто-нибудь близкий умер, так было тяжело...»

130

Огарев Н. П. Искандеру («я ехал по полю пустому»), 1846 г., осень.

131

См.: Герцена И. Былое и думы. Т. II. С. 282–283. Грановский Т. Н. Герцену А.И. 25 августа 1849 г.

132

Грановский Т. Н. Герцену А.И. 1847 г. – Грановский Т. Н. Переписка. Т. II. С. 445–446.

133

Гершензон М. История одной дружбы // Научное слово. 1903. кн. IX. С. 52 (далее: История одной дружбы... IX).

134

Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 282. В тексте «если время доказало».

135

Там же. С. 286. В тексте «этот человек!».

136

Огарева-Тучкова Н. А. Воспоминания. Глава VI (впервые – Русская Старина, 1890. Кн. X).

137

Гершензон М. История одной дружбы... IX. С. 53–55.

138

Грановский Т. Н. Переписка. Т. II. С. 449.

139

Там же.

140

Гершензон М. История одной дружбы... IX. С. 56.

141

Огарев Н. П. Мертвому другу («То было осенью унылой») <1858(?)>. См. также: Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 286–289.

142

«Много смеялись мы его рассказам, но не веселым смехом, а тем, который возбуждал иногда Гоголь. <...> Юмор Галахова не имел ничего светлого, это был юмор человека, живущего в разладе с собой, со средой, сильно жаждущего выйти на покой, на гармонию – но без большой надежды» (Герцена.И. Былое и думы. Т. II. С. 268). Огарев написал стихотворение «К И.П. Г<алахову>» («Я был один и мысль во мне таилась»), 1839, 5 февраля.

143

В работе «Н. П. Огарев и его любовь» (1907) Гершензон назвал первый брак Огарева, выделявшийся своей яркой типичностью среди личных драм того времени, одним из самых характерных эпизодов умственного движения в обществе, которое Анненков окрестил именем «идеализма 30-х годов». На нем, может быть, «наилучше можно изучить не только одну важную сторону мировоззрения, выработанного этими «идеалистами», – именно, их взгляды на любовь и брак, – но и самый процесс возникновения этих взглядов из живого личного опыта. То поколение было призвано пересмотреть все устои нравственного быта; общественная жизнь обновлялась, – но, как всегда бывает, ареною, на которой решалась эта историческая задача, на которой новое боролось со старым и побеждало, было личное чувство и личное сознание. Драма, которая произойдет здесь перед нашими глазами, не была ни случайной, ни единичной. В истории того времени мы знаем много таких столкновений, где на одной стороне стояла непосредственная сила чувства, «Naturgewalt» по тогдашней терминологии, на другой – стремление внести в любовь и брак разумность и свободу» – Гершензон М. Н. П. Огарев и его любовь. – Вестник Европы. 1907. № 10. С. 650.

144

Герцен А. И. Капризы и раздумье. По поводу одной драмы. – Отечественные Записки. 1843. № 8. С. 96.

145

Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 268, 269.

146

Гершензон М. И. П. Галахов... С. 488.

147

Там же.

148

Там же. С. 488–489. В тексте «Вестника Европы» «и я с ним».

149

В опубликованной Гершензоном заметке Огарева, адресованной, по его мнению, Герцену в 1846 г., в частности говорится: «Полный аккорд кажется что-то сам по себе; а он только отрицание диссонансов. Музыка, то есть гармония, не может существовать без диссонансов и их отрицания. И жизнь делает то же. Если бы у нас все шло как по маслу – нечего было бы делать. Полный аккорд сам по себе, без диссонансов, дает только мертвую гармонию. Без диссонансов пропадает всякое эстетическое чувство. А мы требуем от жизни покоя!» – Гершензон М. Русские писатели в их переписке. Герцен и Огарев. – Русская мысль. 1902. Кн. XI. С. 148.

Другое выражение обнаружено в письмах Станкевича Грановскому 23 апреля 1838 г. и 11 июля 1838 г.: Станкевич Н. В. Переписка... С. 243, 262.

См. также часть первую поэмы «Юмор» (1840–1841 гг.), где Огарев писал:

Куда б ни ехать – все равно,
Везде с собою сами в споре,
Мученье мы найдем одно,
Аккорд нам полный, господа,
Звучать не станет никогда.

150

Гершензон М. И. П. Галахов... С. 489.

151

Там же. С. 489 – 490.

152

Там же. С. 490.

153

Там же.

154

Там же. С. 490 – 491.

155

Там же. С. 491.

156

П. В. Анненков дал такую характеристику Марии Львовны: «Марья Львовна Огарева принадлежала к тому типу русских женщин, тогда еще очень многочисленному, которые никогда не умели разобраться в своих чувствах. По различным и противоположным отзывам о ней ее современников уже можно заключить, что она представляла из себя амальгаму возвышенных стремлений и пустых наклонностей, чередовавшихся в ее душе с необычайною быстротой. Догадка эта подтверждается всем тем, что мы знаем из ее жизни. Жизнь эта протекала у нее в беспрестанных переходах из строгих воззрений на свое призвание к позорным падениям, большую частью еще и неожиданным. Она не оставила после себя никаких привязанностей, хотя и не скупилась на жертвы для их приобретения. Иначе и не могло быть по условиям ее ума и природы. В пылу благородных увлечений она мечтала о прелести беззаветного существования и, спускаясь в низшие порядки жизни, призывала утерянный рай высших идеальных стремлений; философская пропаганда, утопические и радикальные мнения, которых она сделалась обязательною слушательницей и свидетельницей по выходе замуж, окончательно сбили ее с толка. Она приобрела от них привычку смешивать влечения страстей и врожденных инстинктов с основами морали и принципами независимого мышления.

Сущность ее характера однако ж была не очень сложна: основным тоном его было врожденное влечение к шуму, приключениям, чувственным наслаждениям и умственному раздражению, которое было только видоизменением их» – П. В. Анненков и его друзья... С. 92.

157

Гершензон М. И. П. Галахов... С. 492.

158

Там же.

159

Там же. С. 492 – 493.

160

Там же. С. 493.

161

Там же.

162

Там же. С. 493 – 494.

163

Там же. С. 494.

164

Там же.

165

Там же.

166

Там же. С. 495.

167

Там же. С. 496.

168

Там же. С. 497–498. В тексте «Вестника Европы» «Прекрасно, – это условие принимаю», «между двух людей».

169

Гершензон М. И. П. Галахов... С. 498.

170

Там же. С. 498–499.

171

Там же. С. 499.

172

Там же.

173

Там же. С. 500.

174

Там же.

175

Там же. С. 501. В тексте «Вестника Европы» «в их мысль и чувство», «В нас бьется», «путем традиционных принципов».

176

Герцен А.И. С того берега. I. Перед грозой. (Разговор на палубе) – датировано 31 декабря 1847 г., впервые напечатано на немецком языке в издании 1850 г., затем во французском переводе в 1850 г.

«В последний раз я встретился с ним осенью 1847 года в Ницце. Итальянское движение закипало тогда, он был увлечен им. Вместе с взглядом, исполненным иронии, он хранил романтические надежды и все еще рвался к каким-то верованиям. Наши долгие разговоры, наши споры навели меня на мысль записывать их. Одним из наших разговоров начинается «С того берега». Я читал его начало Галахову, он был тогда очень болен, видимо таял и приближался к гробу. Незадолго до своей смерти он прислал мне в Париж длинное и исполненное интереса письмо. Жаль, что у меня его нет, я напечатал бы из него отрывки» – Герцен А. И. Былое и думы. Т. II. С. 274–275.

177

Глава создана на основе статей – Гершензон М. Н. П. Огарев и его крепостные. – Научное слово. 1903. кн. IV. С. 82–107; История одной дружбы (Грановский, Герцен, Огарев) – Научное слово. 1903. кн. VIII. С. 75–95; кн. IX. С. 48–58; Лирика Огарева – Вестник Европы. 1903. № 9. С. 293–312; Н. П. Огарев и его любовь – Вестник Европы. 1907. № 10. С. 650–681; № 11. С. 5–74; № 12. С. 457–497.

В Отделе рукописей РГБ в фонде М. О. Гершензона хранится значительное число материалов, относящихся к Н. П. Огареву. Отметим, в первую очередь, такие, как «Стихотворения Н. П. Огарева. Из старых тетрадей». Публикация. 1902. Печатный оттиск из журнала «Русская мысль» (1902, кн. III). 6 лл. (ОРРГБ. ф. 746. М. О. Гершензон, 6, 1); «Герцен и Огарев». Публикация из цикла «Русские писатели в их переписке». 1902. Печ. 12 лл. (ОР РГБ. ф. 746, 6, 2); «История одной дружбы (Грановский, Герцен, Огарев)». Статья, окончание. 1903. Печ. 6 лл. (ОРРГБ. ф. 746, 6, 3); «Н. П. Огарев и его любовь». Вступительная заметка к публикации писем Н. П. Огарева М. Л. Рославлевой. 1907. Печ. 2 лл. (ОР РГБ. ф. 746, 6, 8); «Первая женитьба Н. П. Огарева» (неизданные письма под ред. и с примечаниями М. О. Гершензона). 1908. 125 лл. Автограф наборной рукописи, корректура, списки публикуемых документов (ОРРГБ. ф. 746, 6, 9); Материалы к исследованиям об А. И. Герцене и Н. П. Огареве (1900–е гг.). Автограф. 13 лл. (ОРРГБ. ф. 746, 6, 20); Хронологическая канва жизни Н. П. Огарева с 1838 по 1845 гг. (1900–е гг.). Автограф. 1 л. (ОРРГБ. ф. 746, 6, 21).

28 января 1900 г. Гершензон писал родным, что отправил Н. А. Огаревой-Тучковой письмо, в котором просил ее содействия для работы и предлагал приехать для переговоров в Саранск (Гершензон М. О. Письма к брату. 1927. с. 121). А 7 февраля он извещал их, что вчера получил благоприятный ответ (Там же. С. 122). 22 февраля 1900 г. исследователь посылает близким ночью с вокзала триумфальное сообщение: «Увожу несколько сот писем 40-х и 50-х годов – одного Огарева фунта два, затем Грановского, Герцена, Некрасова, Кавелина, Чаадаева, Варнгагена фон Энзе и пр. – все из Акшена, где провел двое суток, разбирая тысячи писем» (Там же. С. 125). Более подробно о пребывании у Огаревой-Тучковой он рассказывает в письме от 25 февраля – получено фунтов 15–20 важнейших писем, вдова поставила только одно условие: если Гершензон не будет писать биографию Огарева, то чтобы их вернул (Там же. С. 134). Следующая поездка в Акшен состоялась в апреле 1902 г.

На основе этого эпистолярного материала появились и такие публикации, как например: Русские писатели в их переписке. Герцен и Огарев. – Русская мысль. 1902. № 11. С. 143–166; Н. П. Огарев. Первая женитьба. – Слово. 1908. кн. I. С. 41–110.

178

Гершензон М. Н. П. Огарев и его крепостные... С. 85.

179

Там же. С. 85–86.

180

Там же. С. 86.

181

Там же.

182

Там же. С. 86–87.

183

Там же. С. 87.

184

«Приезд во Владимир Ог. с женой М.Л. – Герцен. Т. I. С. 333; Былое и думы. Герцен. Т. IX. С. 11–12; Т. XXII. С. 15, 16, 17, 18, 19–21, 22. Уехали марта 19.

«Эти дни мы провели дивно, превосходно»; «четырёхдневное, светлое, ясное, святое свиданье!» – Т. XXII. С. 16, 17. – Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1812–1850. М., 1974. С. 195.

185

Герцен А. И. Огареву Н.П. 21 марта – 27 апреля 1839 г. Приписка рукой Н. А. Герцен. – Русская мысль. 1889. № 10. С. 9.

186

Там же.

187

Гершензон М. Н. П. Огарев и его крепостные... С. 88.

188

См.: ОР РГБ. Ф. 69. Герцен А. И. Огарев Н.П. X. 81 – Приговор Верхне-Белоомутского сельского схода (Зарайск. уезда, Рязанск. губ.) о вынесении Н. А. Огаревой благодарности за ее дар – портрет Н. П. Огарева. Рукоп., 22 x 35. 1901, 22/VII, 4 лл. (1 ч.); X, 82. Огарева Наталия Алексеевна. Телеграмма от Верхне-Белоомутского общества. 1902, мая 31. 1 л.

189

См.: ОР РГБ. Ф. 69. Герцен А. И. и Огарев Н. П. 27, 8–12. (Документы, связанные с церемонией перенесения праха Н. П. Огарева из Англии в СССР в 1966 г. 2 марта 1966 г. прах Н. П. Огарева был перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве).

190

Огарев Н. П. Господин (Повесть). Глава первая. (Середина или конец 1840-х гг.)

191

Огарев Н. П. Господин (Повесть).

192

Гершензон М. Н. П. Огарев и его крепостные... С. 95.

193

М. О. Гершензон сообщал родным 31 января 1901 г.: «Сегодня нашел писанный собственноручно Огаревым план «политехнической» школы для крестьян, которую он думает устроить у себя – страшно интересный, но в России его невозможно напечатать» (Гершензон М. О. Письма к брату. С. 150).

Беловая рукопись этого плана хранится в ОР РГБ. Ф. 69. (Герцен А. И. и Огарев Н. П.), VII, 112. Ecole Polytechnique Repopulate. 2 лл., 4 стр. 22 хо 14,5 (См.: Аскарянц А. В. Описание рукописей Н. П. Огарева. М., 1952. С. 63).

«Черновик начала проекта был обнаружен жандармами при обыске в Старом Акшене в 20-х числах марта 1850 г. и отправлен в III Отделение. Обыск был произведен по распоряжению пензенского губернатора А. А. Панчулидзева, который стремился получить хоть какие-либо доказательства виновности Огарева, после того как последнему удалось при аресте 24 февраля 1850 г. скрыть все свои бумаги. <...>

Беловая рукопись была послана Е. Ф. Коршу в июле или августе 1847 г. с письмом, в котором Огарев обращался к Е. Ф. Коршу и Т. Н. Грановскому с просьбой подыскать учителя для проектируемой школы» (Огарев Н. П. Избранные социально-политические и философские произведения. В 2 тт. Т. II. М., 1956. С. 556).

194

Герцен А. И. Огареву Н.П. 3 августа (22 июля) 1847 г. Приписка Н. А. Герцен. – Гершензон М. Н. П. Огарев и его крепостные. С. 104–105.

195

Огарев Н. П. Астракову С.И. 26 января 1854 г.: «Мое пребывание на фабрике навело меня на разные размышления. Во-первых, как была бы выгодна фабрика на ассоциации труда, для всех участвующих лиц, а во-вторых, как крепостничество портит русского работника. Уверенный, что его никак нельзя прогнать за тунеядство, он не хочет делать все, что может и едва ли способен на это, даже при ассоциации труда. Косность невероятная. <...> Когда нет стремления жить лучше, – о, что же остается? – возмутительная мера – власть, или уничтожение фабрики» (Полярная звезда. 1881, февраль. С. 29).

196

Огарев Н. П. Деревня. (Повесть), 1847, первая половина. Не окончена.

197

Огарев Н. П. Фантазия («Свеча горит. Печальным полусветом»), <1841 г.>.

198

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
Фет А Шепот, робкое дыханье, 1850 г.; Никогда. Предположительно датируется
январем 1879 г.

199

Фет А. Фантазия. Изд. в 1850 г., без заглавия.

Миг еще.. и нет волшебной сказки,
И душа опять полна возможным.

200

Фет А. Только в мире и есть, что тенистый..., 1883 г., 3 апреля.

201

Лермонтов М. Ю. Желанье (1832 г.). Автограф второй редакции, состоящей всего из
восьми стихов, сохранился в рабочей тетради поэта среди стихотворений 1832 г.
Здесь стихи 5–8, завершающие стихотворение, читаются так:

Чтоб я с ней по синю поляю
Ускакал на том коне.
Дайте волю – волю – волю –
И не надо счастья мне!

Не смейся над моей пророческой тоскою (1837 г.). В тексте «Но я без страха жду
довременный конец».

202

Пушкин А. С. Борис Годунов (1825). В тексте: «Ничтожность мирских сует» (монолог
Пимена).

203

Огарев Н. П. я помню робкое желанье. 1842 г., 24 февраля.

204

Огарев Н. П. Воспоминания детства. II. Лес, 1857 г., 2 мая – 14 октября.

205

Огарев Н. П. Вечер («Когда настанет вечер ясный»), <1841 г.>.

206

Огарев Н. П. Поэма «Юмор». Часть первая, опубл. в 1857 г.

724

Гершензон имеет в виду книгу: Станкевич Николай Владимирович. Переписка его и биография, написанная П. В. Анненковым. М., 1857, а также: Н. В. Станкевич. Стихотворения. – Трагедия. – Проза. М., 1890.

725

Станкевич Н. В. Стихотворения. – Трагедия. – Проза. М., 1890. С. 176–182.

726

Боткин В. П. Белинскому В.Г. 20–23 марта 1842 г. // Пыпин А.Н. Белинский, его жизнь и переписка. Т. II. Спб., 1876. С. 142.

727

В письме от 13 сентября 1844 г. Огарев писал: «...есть границы слабости и силы... Право, чувство границ, зависимость от случая тревожит меня болезненнее всего на свете» и т. д. – Гершензон М. История одной дружбы... VIII. С. 95.

728

Гершензон М. История одной дружбы... IX. С. 53.

729

Имеется в виду: Влазнев Вас. Материалы для историко-статистического очерка бывших «Государевых Дворцовых рыбных ловцов сел: Белоомута, Ловец, Любичи и Дединова». – Труды Рязанской ученой архивной комиссии. 1894 год (десятый). Рязань, 1895. Том IX. Вып. 2. С. 103–136.

730

Мендельсон Николай. Н. П. Огарев в воспоминаниях его бывшего крестьянина. – Под знаменем науки. Юбилейный сборник в честь Николая Ильича Стороженка. М., 1902. С. 657–663; Воспоминания писателей-самородков. – Русская мысль. М., 1902. Кн. XI. С. 116–117.

731

См.: Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. В 2 тт. Т. II. Крестьянский вопрос в царствование Императора Николая. СПб., 1888. С. 227–231.

Влазнев Вас. Материалы для историко-статистического очерка... Приложения к описанию Н. Белоомута. Копия с отпускного акта г. Н. Огарева. – Труды Рязанской ученой архивной комиссии. 1894 год. Том IX. Вып. 2. Рязань, 1895. С. 103–136, 124–128.

П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835–1885 годов. СПб., 1892. С. 71–74; С. 113–115.

Повалишин А. Д. Свободные хлебопашцы в Рязанской губернии. – Труды Рязанской ученой архивной комиссии. 1892 год. Том VII. № 3. Рязань, 1893. С. 34–36.

732

В примечании от редакции говорилось: «Но это освобождение не доставило крестьянам тех благ, какие бы можно было ожидать. Огарев уступил им свои владения (напр., у села Белоомут на Оке, с 4000 душ) за небольшую, сравнительно, сумму, но эта сумма была внесена местными кулаками, которые и извлекли из этой покупки значительные выгоды, тогда как остальная масса стала в зависимость от кулаков и, как говорят, скоро оказалась без земли, разорилась – и многие пошли по миру» (Из писем людей сороковых и пятидесятых годов). (Сообщение Е. Ф. Корша.) – Помощь голодающим. Научно-литературный сборник. М. Издание «Русских ведомостей». 1892. С. 527.

733

Из писем Н. П. Огарева к Е.Ф.К. 28 июня (1847 г. из Саранского уезда); (1847 г.) 20 августа. Аксино; Евг. Ф.К. и Тимофею Ник. Грановскому (1847 г.) – Там же. С. 521–528.

734

В примерно указанный исследователем временной период такого сообщения не обнаружено. Но «Пермские губернские ведомости» в принципе уделяли большое внимание вопросам просвещения, народного образования, учебным заведениям для

Гершензон М. Избранное. Молодая Россия filosoff.org
простых классов. В рубрике «По Пермскому краю» практически постоянно
публиковалась информация, аналогичная той, которую дает Гершензон.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!